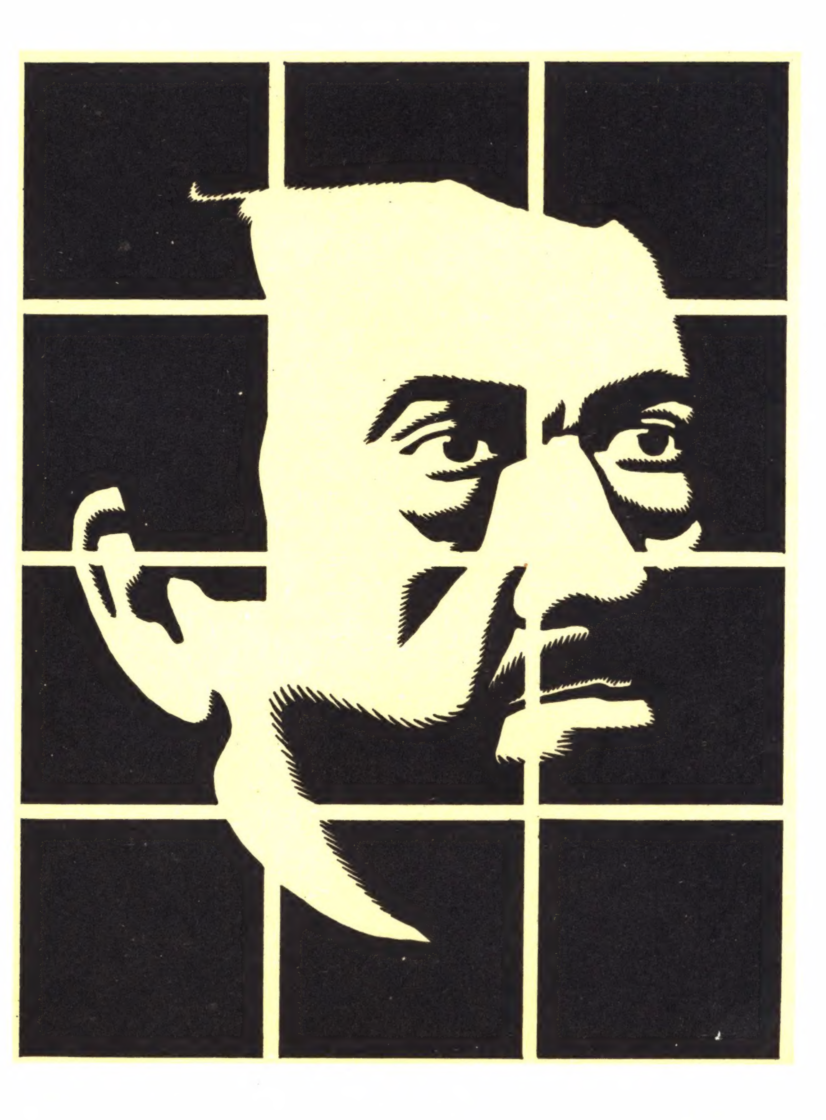
НАТАН ЭЙДЕЛЬМАН

ПЕРВЫЙ ДЕКАБРИСТ









НАТАН ЭЙДЕЛЬМАН

ПЕРВЫЙ ДЕКАБРИСТ

Повесть
о необыкновенной жизни
и посмертной судьбе
Владимира Раевского

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1990

ББК 84Р7
Э30

Натан Эйдельман работал над этой книгой до последних дней своей жизни. В ней — его раздумья об истории и современности, органично сплавленные, неразделимые.
Судьба одного из самых загадочных и сложных дворянских революционеров, офицера, поэта, кишиневского приятеля Пушкина Владимира Раевского стала темой повествования. Арестованный почти за четыре года до восстания на Сенатской площади, он выдержал длившиеся много лет тяжелейшие политические процессы и был сослан навечно в Восточную Сибирь. Автор раскрывает неизвестные страницы в истории декабризма, протягивая нити в современность, ведя читателя по следам своих разысканий. Известный историк и писатель, автор многих книг об истории и литературе XVIII—XIX веков ощутимо приблизил к нам далекие годы, создал повесть актуальную, нужную сегодня, рассчитанную на самого массового читателя.

Э $\frac{0503020300-263}{079(02)-90}$ 148—90

ISBN 5—250—00837—2

ББК 84Р7 + 63.3(2)47

ЧАСТЬ I

Тюрьма что могила:
всякому место найдется.

Поговорка

ДУРНЫЕ НОВОСТИ

Раевский: «1822 года февраля 5-го в 9 часов пополудни кто-то постучался у моих дверей. Арнаут *, который стоял в безмолвии передо мною, вышел встретить или узнать, кто пришел. Я курил трубку, лежа на диване.

— Здравствуй, душа моя! — сказал мне, войдя весьма торопливо и изменившимся голосом Александр Сергеевич Пушкин.

— Здравствуй, что нового?

— Новости есть, но дурные. Вот почему я прибежал к тебе.

— Доброго я ничего ожидать не могу... но что такое?

— Вот что: Сабанеев сейчас уехал от генерала. Дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но, слыша твое имя, часто повторяемое, признаюсь, согрешил — приложил ухо. Сабанеев утверждал, что тебя непременно надо арестовать; наш Инзушко, ты знаешь, как он тебя любит, отстаивал тебя горою. Долго еще продолжался разговор, я многого недослышал, но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано, что ничего открыть нельзя, пока ты не арестован.

— Спасибо, — сказал я Пушкину, — я этого *почти* ожидал! Но арестовать штаб-офицера по одним подозре-

---

* Арнаут — турецкое наименование албанца.

ниям отзывается какой-то турецкой расправой. Впрочем, что будет, то будет».

Арестовывают человека, майора, дворянина (прибавим — поэта). Забирают не в султанской Турции, а в Российской империи, где уж сто лет, как распахнули окно в Европу...

Окончательный же приговор вынесут 15 октября 1827 года, через 2077 дней.

Долгий политический процесс, в мире и России не первый, не последний.

Так было и когда первобытное племя изгоняло или побивало каменьями нарушившего обычай; случалось, спрашивали о мере наказания первого встречного (незнакомого с «подсудимым»), и как он скажет, так поступали. В другие эпохи подвергали остракизму виднейших афинских политиков, сжигали Джордано Бруно; осуждали именем короля, а после самих монархов — именем народа (Карла I, Людовика XVI, Николая II).

Кратких исторических известий о расправах за *мнения* сохранилось куда больше, чем стенограмм, протоколов политических процессов. В России одно из древнейших — «Судное дело» Максима Грека, богослова, писателя, эрудита; он проводит молодость в Греции и Италии и отправляется на поиски высшей духовной истины в православную Москву. Крупный авторитет, один из советников великого московского князя Василия III, он в конце 1520-х годов обвинен в разных идеологических и политических преступлениях, но, ловко и твердо защищаясь, требует от противников серьезных, доказательных аргументов. Сохранившийся (и в середине XIX века напечатанный) текст обрывался на «самом интересном месте», там, где суровейшие обвинения столкнулись с изощренной защитой...

Окончание «Судного дела» нашлось при совершенно фантастических «обстоятельствах времени и места» (мы еще не раз увидим нечто подобное и в той истории, о которой ведем рассказ). Открытие было совершено в последней трети XX столетия в горно-алтайской глуши однокурсником и другом автора данной работы Николаем Николаевичем Покровским. Ныне он член-корреспондент Академии наук СССР, но в 1957—1958 годах был подсудимым на одном из весьма тенденциозных политических процессов, затем шесть лет провел в лагерях. Лишь благодаря огромным усилиям академиков М. Н. Тихомирова и М. А. Лаврентьева попал на работу в новосибирский Академгородок. Там он начал экспедиции за древними манускриптами, наладил контакты со старообрядцами и среди многочисленных древних книг, полученных в глухих скитах, обнаружил полную рукопись политического процесса Максима Грека.

Это было открытие мирового класса, отделенное четырьмя веками от самого процесса и несколькими тысячами километров от Москвы, где суд происходил...

Максим Грек был заточен, затем переведен в монастырь, где прожил до глубокой старости, читая, сочиняя и принимая посетителей, среди которых был и молодой царь Иван Грозный.

От царствования же Ивана «отчетов» о политических процессах почти не осталось: лишь обширные списки казненных...

В следующем, XVII веке власть и официальная церковь, патриарх Никон среди других, осуждают неистового протопопа Аввакума,— тот же запишет: «И царь на меня кручиновать стал: не любо стало, как опять я стал говорить; любо им, как молчу, да мне так не сошлось. А власти, яко козлы, пырскать стали на меня и умыслили паки сослать меня с Москвы»...

Еще через несколько лет собрание православных патриархов осудит главного врага Аввакума патриарха

Никона (что отнюдь не означало реабилитации протопопа: Аввакума вскоре сожгут).

Судопроизводство, очень далекое от того, что принято считать нормальным в XIX—XX веках,— «турецкая расправа».

За век до ареста майора Раевского Петр I учинил следствие и суд над своим сыном; приговор царевичу Алексею подписали десятки «птенцов гнезда Петрова»,— и сверх того, было зафиксировано мнение нескольких неграмотных офицеров и чиновников; после же вынесения смертного приговора царевича в присутствии отца еще допрашивали и пытали (случай, кажется, уникальный в мировой истории): забыли выяснить некоторые пункты и посему учинили «большой застенок»...

Смерть Алексея (вероятно, удушенного или отравленного) сделала ненужным публичное исполнение казни.

XVIII век: процессы Волынского, Миниха; последний (в начале царствования Елизаветы Петровны) охотно подсказывал затруднявшимся судьям самые правдоподобные лживые показания на самого себя — ведь все равно приговор заранее предопределен.

В 1764 году был процесс Мировича, пытавшегося возвести на престол заточенного в Шлиссельбурге члена царской фамилии Иоанна Антоновича; рассказывали, что Алексей Орлов, один из ближайших сподвижников Екатерины II, кричал на государственного преступника, приговоренного к отсечению головы: «Чего ты хотел?» Мирович же хладнокровно отвечал, что желал бы только одного: находиться на месте Орлова и вопрошать приговоренного Орлова: «Чего ты хотел?»

Скорое, простое судопроизводство — без адвокатов, присяжных (английское средневековое изобретение). Государство самодержавное, значит, главный закон — слово самодержца; но все же — *закон:* в России любили повторять, что самодержец собственные законы исполняет, пока сам их не отменит, деспот же — Тамерлан, Надир-

шах, Иван Грозный — даже собственные законы нарушает.

Государство самодержавное, но все же дворцовый обиход европеизируется, в 1762 году издан закон о вольности дворянской, а за восемь лет до того Елизавета Петровна отменила смертную казнь, опередив в этом отношении все крупные государства.

Отмена казни означала, что ни один суд империи не имеет права приговорить к смерти, и лишь при чрезвычайных обстоятельствах специально созванный высший суд может вынести чрезвычайный приговор, который, однако, вступает в силу только после собственноручной царской подписи.

Так, Екатерина II подписала «четвертование» Пугачеву, но притом послала секретное предписание — сразу отрубить голову и лишь потом руку, ногу: уступка «веку просвещения» (многие дворяне, собравшиеся на площади, возмущались и хотели жаловаться на палача, проявившего неожиданную *гуманность*).

Конечно, множество крестьян и солдат засекали до смерти без всяких приговоров, и майор, герой нашего повествования, об этом хорошо знает, против этого восстает; но притом — «арестовать штаб-офицера по одним подозрениям отзывается какой-то турецкой расправой». Все-таки Россия — не Турция!

Проспер Мериме в своем предисловии к «Хронике времен Карла IX» (написанном примерно тогда же, в 1829-м) замечает об одном из своих «бесцеремонных» современников: «Мехмет-Али, у которого мамлюкские беи оспаривали власть над Египтом, в один прекрасный день приглашает к себе во дворец на праздник их главных военачальников. Не успели они войти, как ворота за ними захлопываются. Спрятанные на верхних террасах албанцы расстреливают их, и отныне Мехмет-Али царит в Египте единовластно. Что же из этого? Мы ведем с Мехметом-Али переговоры, более того: он поль-

зуется у европейцев уважением, во всех газетах о нем пишут как о великом человеке»; писатель прибавляет, что многие французские министры охотно поступили бы так же со своими противниками, но — «убивать — это уже не в наших нравах».

В последней фразе ключевое словечко — «уже». Раньше, лет 250 назад, во Франции была Варфоломеевская ночь и прочее; российский майор-поэт в 1822 году тоже надеется, что султанские зверства и беззакония — «уже не в наших нравах». Надеется, но не уверен...

Итак, на исходе первой четверти XIX века в цивилизующейся Российской империи, на одной из ее окраин, в Кишиневе, случается история, которую считаем и самой обычной и совершенно необыкновенной.

С 6 февраля 1822 года майор Раевский становится незримым братом по судьбе тех миллионов, что в разные века, в разных странах не избежали тюрьмы.

«Сколько же лет заключения вмещают в себя 1957 лет от рождества Христова!» — шутил (в соответствующем году) польский острослов Станислав Ежи Лец.

«Тюрьма что могила: всякому место найдется».

ОТЦЫ ПРОТИВ ДЕТЕЙ

«Наш Инзушко... отстаивал тебя горою... Но из последних слов Сабанеева я ясно уразумел, что ему приказано, что ничего открыть нельзя, пока ты не арестован.

— Спасибо...— сказал я Пушкину.— Что будет, то будет».

Раевский просит француженку-гадалку предсказать судьбу: «Пики падали на моего короля. Кончилось на том, что мне предстояли чрезвычайное огорчение, несчастная дорога и неизвестная отдаленная будущность...

Возвратясь домой, я лег и уснул покойно. Я встал рано поутру, приказал затопить печь. Перебрал наскоро все свои бумаги и все, что нашел излишним, сжег...

Дрожки остановились у моих дверей. Я не успел взглянуть в окно, а адъютант генерала Сабанеева, гвардии подполковник Радич, был уже в моей комнате.

— Генерал просил вас к себе,— сказал он мне вместо доброго утра.

— Хорошо, я буду!

— Но, может быть, у вас дрожек нету, он прислал дрожки.

— Очень хорошо. Я оденусь.

Я приказал арнауту подать трубку и позвать человека одеваться. Разговаривать с адъютантом о генерале было бы неуместно, хотя Радич был человек простой и добросовестный. Я оделся, сел с ним вместе на дрожки и поехал.

Этот роковой час 12-й решил участь всей остальной жизни моей. Мне был 27-й год».

В описанных сценах на стороне арестуемого действуют Александр Сергеевич Пушкин, а также столь известный нам по биографии поэта генерал Инзов, «наш Инзушко». Главный же противник 26-летнего майора Владимира Федосеевича Раевского — 50-летний генерал-лейтенант Иван Васильевич Сабанеев (вместе с теми, кто способен ему приказать).

Раевский и Сабанеев, двое, столь разного возраста и чина — один из отцов, другой — из детей,— начинают длительный, на несколько лет, поединок, и он-то будет в центре нашего внимания; а посему находим полезным, необходимым начать сопоставление двух персонажей и надеемся этим способом отыскать, доказать кое-что существенное.

Итак, Иван Васильевич Сабанеев, 1772 года рождения, Владимир Федосеевич Раевский, 1795-го... Оба дворяне,— добавим, из старинных фамилий: предок генерала мурза Сабан Алей пришел в XV веке из Золотой Орды к великому князю Василию Темному, однако креститься не пожелал, и еще несколько поколений этого рода упорно держались мусульманства; лишь при царе Алексее Михайловиче прапрадед генерала принял православие и сделался ярославским дворянином Сабанеевым...

Предки Раевского пришли в Россию примерно в ту же пору, что и мурза Сабан Алей, но с противоположной стороны, из Дании и Польши. Фамилия Раевских размножилась, растеклась по разным губерниям; по одной линии, через князей Глинских, они были свойственниками Ивана Грозного, по другой, через Нарышкиных,— Петра Великого. Наиболее известная «отрасль» Раевских — та, что связана с именем генерала Николая Николаевича Раевского и его детей; однако родители нашего майора уже не могли считаться родством со знаменитым генералом и только знали, что — очень дальние...

Сравнение продолжится после: сначала познакомимся с каждым в отдельности.

1772 — 1795

Отец, ярославский помещик, по обычаю, записал Ивана Сабанеева в гвардию: в 15 лет юноша уже сержант Преображенского полка, где сама императрица — полковник. Пока чины идут заочно, можно отсидеться в родовом имении или использовать время более плодотворно. Поскольку семейный архив не сохранился, мы не ведаем, по собственной ли воле или под влиянием родителей сержант, прежде чем явиться в полк, записывается в Московский университет.

Может быть, не хватило средств для Шляхетского корпуса или других закрытых привилегированных дво-

рянских заведений, где карьера шла побыстрее: университет был в ту пору отнюдь не самым престижным местом, и его здание, что находилось в «Аптекарском доме» на Красной площади, соединяло в лучшем случае несколько десятков студентов. Правда, в свое время здесь посещал лекции сам Григорий Потемкин,— но, как известно, сила его была не в том.

С другой стороны, преображенец Сабанеев в Московском университете — это как-никак «доверие к прогрессу»: ответ на призывы Петра I и Екатерины II — учиться, просвещаться.

Не случайно в эту же пору или чуть позже среди московских студентов — Жуковский, Ермолов, Инзов, братья Тургеневы; почетными гостями являются в «Аптекарский дом» Карамзин и Крылов: можно сказать, целое поколение просвещенных людей — отцы, старшие родственники будущих декабристов.

Среди них — юноша, отлично владеющей французским, с прекрасной памятью, невысокий («не более двух аршин трех вершков» — 169 см), рыжий, несколько странный, беспокойный; один из современников вспомнит, что Иван Сабанеев был «умница и образованный»; мы уверенно утверждаем, что он, как и все другие, начал с философского факультета, откуда лишь через три года можно было выйти на юридический или медицинский. Впрочем, философией, то есть общим образованием, ученая карьера преображенского сержанта, по-видимому, ограничилась. 1791 год: университет «для себя» окончен; наступает час настоящей военной службы. Можно, конечно, отправиться в гвардию, в столицу, но есть другой путь, тем более для столь уже взрослого 19-летнего военного. Идет война с Турцией: есть случай отличиться или голову сложить...

Разумеется,— на войну; гвардии сержант преобразуется в капитана Малороссийского гренадерского полка. В Причерноморье, где уже четвертый год гремят по-

беды Суворова, Потемкина, Ушакова, Репнина, война приближается к концу,— как бы не опоздать!

Не опоздал: 28 июня 1791 года при *Мачине* понюхал пороху в последнем крупном сражении той кампании.

Тридцать тысяч русских против 80 тысяч турок, возглавляемых великим визирем. Генерал Николай Васильевич Репнин неожиданно атакует превосходящие силы неприятеля и одерживает блистательную победу.

Вскоре война оканчивается, северное Черноморье — за Россией. Вслед за тем рыжего капитана отправляют на западную границу, где в 1794-м он под командой Суворова действует в нескольких сражениях и при штурме Варшавы.

Опять Сабанеев среди победителей; после третьего раздела Польша на долгие десятилетия исчезает с карты Европы.

Меж тем капитану уже предлагается совершить длинное путешествие с Вислы на Каспийское море, куда Екатерина II на закате своего царствования бросает войска во главе с Валерианом Зубовым. Дорога, которой ехал на свою третью войну 23-летний уже офицер, проходила невдалеке от Хворостянки, того черноземного имения, где весенним днем 28 марта 1795 года раздается первый крик Владимира Федосеевича Раевского — наиболее страшного, почище любых *басурман,* будущего противника Ивана Васильевича Сабанеева.

1795 — 1812

В русской военной и гражданской истории XVIII и более ранних веков, как уже говорилось, немало Раевских. Вообще очень любопытно в хронике событий при Иване Грозном, в Смуте начала XVII века, при подавлении восстания Степана Разина или в петровских походах

вдруг встретить воеводу Волконского, дьяка Грибоедова, полковника Раевского и других дедов, которых мы склонны полюбить отчасти благодаря внукам.

И снова — почти полное отсутствие архивов, лишь изредка случайные известия, подробности...

Чудом сохранились, например, фотографии, сделанные в конце XIX века с исчезнувших ныне портретов отставного майора Феодосия Михайловича Раевского и Александры Андреевны Раевской (урожденной Фениной) — родителей нашего героя.

Конечно, недостаток или почти полное отсутствие документов мы можем отчасти компенсировать общими соображениями: если Владимир Раевский родился в марте 1795-го, значит, ему было полтора года, когда Екатерину II сменил Павел, а не успел мальчик отпраздновать шестилетие, как Павла не стало, и на престоле царь Александр, в царствование которого случатся главные события в биографии ничего пока не подозревающего малыша.

«Слобода Хворостянка Старо-Оскольского уезда Курской губернии»: старинные справочники сегодня читаются как сочинения научно-поэтические, совершенно непохожие на строгие, официальные энциклопедии нашего времени. Даже в начале XX столетия в знаменитом «Брокгаузе — Ефроне» можно в статье «Португалия» среди годовых температур и численности населения вдруг отыскать строки, что португальские женщины лицом не столь хороши, как испанские,— зато обладают «роскошными волосами, оживленными лицами, блестящими глазами».

В составленном Афанасием Щекатовым многотомном «Словаре географическом Российского государства» нас привлекает близость появления книг (1801—1809 гг.) к рождению и детству нашего героя. Слободы Хворостянки в словаре, правда, нет, но сколько любопытного вокруг!

Составитель сообщает, что много веков на месте Старо-

Оскольского уезда было «дикое поле», с обширными островами дубовых лесов, сильно вырубленных к XVIII столетию; несколько раз были атаки крымских татар; «вольница», «голытьба», ходившая за самозванцами во время Смуты, постепенно оседает на плодородных черноземах, и тут же появляются богатые владельцы — Орловы, Давыдовы, Кочубеи, Бобринские, Трубецкие, Скалоны, Шереметевы; во втором-третьем ряду за ними среднепоместные Раевские. В 1779-м, за 16 лет до рождения Владимира Федосеевича, Старый Оскол наконец объявлен уездным городом: «Жителей 2500, улиц лучших три, малых 28, герб — в красном поле ружье и в зеленом поле золотая соха; от Санкт-Петербурга 1396 верст, от Москвы — 668. В уезде же по четвертой ревизии (в 1795 году!) — 26 162 души, дворян же, проживающих в селениях, в деревянных домах,— 108, да, сверх того, 18 в службе; в огородах садят капусту, огурцы, свеклу, репу, морковь, редиску, горох и бобы. В реке Оскол вода весьма здорова и чиста, рыба ловится всякого сорта, в том числе белизны, вырезубы, вьюны, лещи и раки. Климат губернии, понеже расположена она на полдень Российской империи, есть теплее московской стороны. В некоторых местах имеется железная руда, по причине чего и грозы в здешней стороне бывают весьма сильны».

Нелегко позднейшим языком комментировать неповторимый штиль старых географов. Не удержимся только отметить одно из первых упоминаний огромных курских руд (Курская магнитная аномалия), удивляющую потомков «весьма здоровую» чистую рыбную реку, а также отсутствие среди овощей неведомого еще картофеля...

Не по сравочникам, но из немногих семейных бумаг знаем, что у отставного майора Феодосия Раевского было 11 детей, а Владимир — третий.

Среди них позже кого только не найдем: революционеров и пьяных крепостников, просвещенных девиц и жадных стяжателей, добрых и гнусных, обычных и странных... Зная кое-что об одном брате, который много пропьет, проиграет в карты, зная о двух сестрах, которые не постесняются присвоить долю наследства, причитавшуюся брату Владимиру,— никак не можем вообразить в Хворостянке яркий очаг просвещения. Однако, приглядевшись к отцу большого семейства, к нескольким вполне достойным «Федосеевичам», не имеем права зачислять владельцев Хворостянки и в темные крепостники — казалось бы, столь обычные в курских черноземных барщинных углах, да еще в гоголевское время, всего в сотне-другой верст от Ивана Ивановича, Ивана Никифоровича, Ивана Федоровича и его тетушки...

Догадываемся, между прочим, что для курского имения Раевских, так же как в свое время для ярославского поместья Сабанеевых, центром притяжения была Москва, в частности Московский университет. Восьмилетнего Владимира Федосеевича в 1803 году помещают в Благородный пансион при университете, где находится немало как московских, так и провинциальных недорослей; за несколько лет они должны кое-чему выучиться и сделаться студентами либо отыскать другой путь.

Мы, конечно, не упустим заметить, что курский мальчик в какой-то степени повторяет московское университетское прошлое пока незнакомого ему бывшего студента Ивана Сабанеева. Во время прогулок по Москве, на публичных гуляниях по необыкновенно зеленому допожарному городу, может быть, во время приезда Александра I в 1809 году, когда дворянская Москва высыпала навстречу,— в эти дни и месяцы Владимир Раевский — очень вероятно — встречал, не зная и не узнавая, множество своих будущих знакомых: например, младшего несколькими годами Александра Пушкина, которого эскортировал в московских прогулках крепост-

ной дядька Никита Козлов; или посетителя университетских лекций, старшего двумя годами смоленского недоросля Ивана Якушкина...

В сущности, о целом периоде этой московской пансионной жизни сохранилось всего несколько строк из письма нашего героя, написанного 60 лет спустя!

Строки умные, странные и позволяющие лишь кое о чем догадываться: «Любил ли меня отец наравне с братьями Александром и Андреем — я не хотел знать, но что он верил мне более других братьев, надеялся на меня одного,— я это знал. Он хорошо понимал меня и в письмах своих вместо эпиграфа начинал: «Не будь горд, гордым бог противен»; в моих ответах я начинал: «Унижение паче гордости»... Я воспитывался с братьями вместе, братья не были дружны между собой, но оба они искренне любили меня; и когда мать наша посылала нам деньги на конфекты в пансион, и всегда мне менее, нежели каждому из них,— они делились со мною поровну и как бы стыдились за мать. Я не просил никогда у отца денег, даже выигранные мною в карты в Хворостянке отдавал ему».

Гордость, невозможность унизиться: позже, в самые тяжкие месяцы и годы, это выявится с необыкновенной, можно сказать, сверхчеловеческой силой...

Угадываем особые, доверительные отношения с отцом — и непонятное пренебрежение матери (как у Пушкина в детстве!). Однако не знаем и, может быть, никогда не узнаем ничего большего; мы, живущие в конце XX века, очень часто недооцениваем быстроту, легкость исчезновения даже недавнего прошлого: писали мало, очень многое пропадало, и нам, к примеру, даже неизвестно, когда Раевский лишился матери (это произошло довольно рано, потому что позже он адресуется исключительно к отцу).

Пока отметим только способность, напористость, образованность молодого Раевского, кажется напоминающие повадку прежнего Сабанеева.

Но где он теперь, *старший*, в годы младенчества и московского учения своего будущего врага?

При Павле I Сабанеева почти не видно, но в одном из позднейших его писем находим: «Мысль, будто бы государь желает выправки и единообразия (солдат) с пожертвованием всех священных обязанностей наших, есть оскорбление Величества... Полюбуйтесь приказами генерала Желтухина: они дышат крагами, киверами и проч. Великий боже, ужели в целой империи не найдется человека, который хотел бы и мог открыть пред государем истину, которую рабы-льстецы пред ним затмевают. Нельзя без сердечного сокрушения видеть ужасное уныние измученных солдат».

Суворовский взгляд, который сильно укреплялся именно в павловские палочные годы; юный офицер Сабанеев вынес из той эпохи омерзение к солдатским мучителям во славу смотра и парада. Многие, так же думавшие,— Ермолов, Николай Раевский, Багратион, Кутузов, Милорадович, десятки других (еще офицеров, но скоро генералов!) мечтали о войне, во время которой солдатам *много легче* (эту истину знали и поборники палок, сетовавшие — «ничто так не портит солдата, как война»).

И вот счастье началось! Четвертой кампанией, в которой участвует Сабанеев, становится Итальянский поход Суворова.

1799 год, быстрое движение русского корпуса через Австрию в Италию; на этот раз противник — лучший в Европе и мире, боевые армии Франции, сохраняющие свободу и энергию французской революции.

Капитан Сабанеев хорошо действует со своими егерями в знаменитых сражениях при Нови, Тортоне; вступает в Милан, движется к Альпам — и вот уж он майор.

Как не вспомнить тут, к слову, что в момент ареста Владимиру Раевскому быть тоже 26-летним майором, и тоже в егерском полку!

В начале Альпийского похода, под Муттеном, Суворов поручает толковому офицеру труднейшую должность начальника передовых постов. С каждым днем обстоятельства все труднее: сзади австрийцы, с которыми отношения ухудшаются, слева блестящий французский генерал Массена, справа непроходимые Альпы, которые придется пройти.

В одной из схваток Сабанеева ранят; Суворов посылает в Петербург ходатайство о награждении его Анной 2-й степени и чином подполковника.

Все это позже будет получено — но как быть сейчас? Поход столь труден, что раненые в нем участвовать не могут. И тогда генералиссимус прибегает к способу, в общем известному в те века, хотя, признаемся, не очень привычному для нашего ожесточенного времени.

Суворов оставляет раненых в одном из селений вместе с письмом к противнику, генералу Массена, которого просит обойтись с пленными по правилам чести.

Французский генерал, будущий маршал Наполеона, на высоте: раненым оказали помощь и отправили во Францию, где обращались с ними довольно хорошо. Проведя больше года в городе Нанси, Сабанеев поправляет здоровье, пополняет образование и между прочим внимательно приглядывается к французскому военному и гражданскому устройству; потом в России напишет толковый отчет о том, что видел...

Меж тем почти на глазах Сабанеева и других пленных генерал Наполеон Бонапарт берет власть во Франции и становится первым консулом. Павел I в далекой России первым угадывает, что новый правитель хоть и клянется еще именем революции и республики, но куда более — «свой брат», диктатор, завтрашний император: «Он делает дела, с ним можно делать дело».

В конце 1800 года отношения России с Францией сильно улучшаются, готовится совместный поход в Индию,

причем Павел настаивает, чтобы общее командование взял именно генерал Массена; мир и дружба сопровождаются, естественно, обменом пленных.

Сабанеев возвращается из Нанси в Россию, где его, конечно, встречают самым лучшим образом: один из очевидцев запомнит подполковника: «Ловкий, умный, пламенный в ощущениях»...

Поход в Индию не состоялся: Павла I убивают; новый же царь предписывает Сабанееву отправиться на службу к югу, на Кубань, где горцы и лихорадка...

Долгая дорога, снова через Курск, вблизи Раевского,— затем длинная, скучная служба на Северном Кавказе.

Прошение об отставке Александр I охотно удовлетворяет, и, едва перевалив за тридцать, Иван Сабанеев полагает, что карьера окончена! Ну что же, четыре кампании, рана, полковничий чин, впереди обычная помещичья жизнь в Ярославской губернии, может быть, найдется время и семьей обзавестись.

Позволим себе предположить, что, проезжая через Москву, полковник посетил *альма-матер,* поглядел на новую поросль студентов и пансионеров, сказал или подумал что-нибудь в том роде, что вот уж и смена подходит.

Молодые же с восхищением встречали и провожали героев последней кампании; перед поднимающейся звездой Наполеона были настроены возбужденно-патриотически и думали как будто совершенно одинаково со старшими.

Среди молодых университетских — Николай Тургенев, Грибоедов, завтрашние декабристы Бурцев и Крюков; Владимир Раевский...

Не такое, однако, время, чтобы засидеться в родовых имениях. Наполеон громит русских и австрийцев под Аустерлицем, одним ударом выводит из строя Пруссию, приближается к русским границам. Объявлено опол-

чение, и в Ярославской губернии этим делом занимается, конечно, полковник Сабанеев. Вскоре он уж опять на войне со своими егерями и сразу попадает в несчастную для России битву при Фридланде, которой Наполеон победоносно завершает кампанию 1807 года. Военные знают, что отличия и награды в сражениях проигранных даются куда более скупо, чем за выигранные. Поэтому Сабанеев особенно гордился золотым оружием, полученным за Фридланд: он повел там своих егерей против всесокрушающего французского вала — и получил штыковую рану в лицо.

Сто лет (после Нарвы и Прутского похода) Россия не проигрывала войн; поражение же 1807 года и Тильзитский мир рассматриваются как национальный позор и сильно влияют на формирование гордых, независимых, своеобычных личностей — тех, кто вырабатывает свое собственное мнение о судьбах отечества, независимо от того, как меняется политика наверху и с кем сегодня дружит и не дружит император.

В пятилетие между Тильзитским миром и Отечественной войной особенно заметны такие люди, как Ермолов, Лунин, Денис Давыдов — храбрецы, шутники, люди чести. О Ермолове рассказывали, как он в чине полковника столь дерзко разговаривал со многими генералами, что они буквально выпросили и ему генеральский чин: тогда уж не столь обидными покажутся насмешки этого гиганта.

Владимир Раевский хоть и сильно ненавидел в позднейшие годы Сабанеева, но не раз повторял, что уж в пресмыкательстве пред начальством этого генерала никак не обвинишь...

Сабанеев был из той когорты, которая в начале наполеоновских войн имела старший офицерский чин, а к 1812-му — вышла в генералы. Эти люди переходили

из одной кампании в другую, кажется, быстрее, чем Раевский и его однокашники из одного класса гимназии в следующий.

В 1808—1809 годах война со Швецией, где Барклай-де-Толли ведет войска через Финляндию по льду Ботнического залива. Сабанеев получает высокий для офицера орден Георгия 3-й степени и третью рану в придачу.

После окончания войны, на 37-м году жизни, он уж генерал-майор (десять лет назад был майором!).

Едва подлечил рану и отпраздновал генеральство, как снова с севера на юг: в который раз, опять через Москву мимо родного университета — на Балканы, где кипит очередная война с Турцией, и как не вспомнить боевое крещение 20 лет назад, в этих же краях...

При главнокомандующем Николае Михайловиче Каменском Сабанеев, как говорили, делал все и более того; в сражении при Шумле, когда было весьма неясно, чем кончится дело, Иван Васильевич проявляет обычную энергию и сообразительность. В результате полная победа, генерал получает Анну 1-й степени, еще одну золотую шпагу за храбрость и тысячу наградных рублей. Самая же высокая оценка способностей «рыжего генерал-майора», может быть, заключалась в том, что новый главнокомандующий против турок Михаил Илларионович Кутузов назначает его дежурным генералом: должность важная и ответственнейшая.

Вскоре эти хитрые генералы удачно уговаривают Турцию подписать мир: Россия получает Бессарабию, то есть тот край, где десять лет спустя и развернутся трагические для Владимира Раевского обстоятельства; но еще важнее — что этот мир заключен как раз накануне вторжения Наполеона в Россию: французский император был вне себя от злости, даже разбил дорогую вазу, узнав о неожиданном окончании войны на Балканах.

Вот-вот начнется новая кампания, которая стоит всех предшествующих; но мы ненадолго остановимся, чтобы приглядеться к нашим героям чуть внимательнее.

Главная черта этих людей — стремление к личной свободе, независимости; если власть будет уважать,— они готовы на свободный союз с нею. Многие же из генералов 1812 года побывали в немилости при Павле I, иные (Ермолов) даже посидели в тюрьме; но при Александре I союз лучших людей с властью вначале сохраняется, и в этом блоке с тогдашней *интеллигенцией* — один из главных источников успеха и побед этой власти.

Иван Сабанеев — «среднестатистический» прогрессивный, просвещенный генерал: он *за* эту власть, но не так, как его деды при Петре. Он вполне лоялен, но требует взамен права на личное достоинство: «Честь превыше всего!»

В начале царствования Александра I любимый учитель царя Лагарп советовал проводить реформы, опираясь в немалой степени на молодых просвещенных офицеров. Для 1801 года, когда Лагарп давал советы, этими молодыми офицерами были Сабанеев, Ермолов, Денис Давыдов. Но время проходит, юные офицеры 1801 года становятся зрелыми генералами 1812-го, и, стало быть, если следовать Лагарпу, нужно приглядеться к новой молодежи: прапорщику лейб-гвардии Литовского полка Павлу Пестелю (чин присвоен 14 декабря 1811 года — за полгода до войны и ровно за четырнадцать лет до восстания на Сенатской площади); к прапорщику (с октября 1810 года) Сергею Трубецкому; вместе с ними вступают в 1812-й год корнет Василий Давыдов, гвардейский подпрапорщик Якушкин, поручик Михаил Орлов, штаб-ротмистр Михаил Лунин, ротмистр Сергей Волконский. Позже они «подтянутся в чинах», но нам, привыкшим, что Пестель и Трубецкой полковники, а Волконский генерал, непросто вообразить их в начале службы...

Так же, как будущего майора Раевского, который 16-летним переводится в так называемый *Дворянский полк* при 2-м кадетском корпусе в Петербурге, чтобы побыстрее выйти в офицеры.

Время бежит: только что 19-летний Сабанеев отправлялся из университета в полк и на войну; теперь 17-летний Раевский готовится к тому же. Волею случая или закономерности — у него в эту пору находится друг-собеседник Гавриил Степанович Батеньков, который позже вспомнит: «С (Раевским) проводили мы целые вечера в патриотических мечтаниях, ибо приближалась страшная эпоха 1812 года. Мы развивали друг другу свободные идеи, и желания наши, так сказать, поощрялись ненавистью к фронтовой службе. С ним в первый раз осмелился я говорить о царе, яко о человеке, и осуждать поступки с нами цесаревича».

Цесаревич, наследник престола Константин, часто бывал груб даже со старшими офицерами, а молодежь не собиралась с этим мириться, следуя примеру луниных, ермоловых, сабанеевых (позже, впрочем, Константина полюбят).

Вспоминая о том времени много лет спустя, Раевский признается, что среди «отцов» их привлекали свободные, независимые люди, вроде его будущего врага: «Власть Аракчеева, ссылка Сперанского, неуважение знаменитых генералов и таких сановников, как Мордвинов, Трощинский, сильно встревожили, волновали людей, которые ожидали обновления, улучшения, благоденствия, исцеления тяжелых ран своего отечества...»

Славные отцы, хорошие дети. Ко всем их достоинствам прибавим еще одно, наиважнейшее: умели дружить! «Для дружбы все, что в мире есть!» — эту поэтическую строку Жуковского велел выгравировать на перстне один из молодых декабристов — Николай Панов; всего

несколько месяцев прожили вместе в одном корпусе Владимир Раевский и Гавриил Батеньков; а потом — походы, служба, трогательная переписка, неудачные попытки увидеться. Батеньков приехал за несколько тысяч верст в Хворостянку, но, увы, не застал там друга; пути пересеклись лишь однажды, в Кишиневе; позже новые тяжелые обстоятельства — восстание, тюрьма, ссылка. В следующий раз встретились почти через полвека!

Но встретились так, будто расстались вчера...

21 мая 1812 года, за двадцать дней до начала войны, прапорщик Владимир Раевский назначается в 23-ю артиллерийскую бригаду и отправляется к месту службы.

В эти же дни генерал-майор Сабанеев, оканчивая дела на Балканах, также ожидает нового назначения. Незадолго перед тем мелькнула неожиданная возможность большой карьеры: подозрительный царь, разочаровавшись во многих своих генералах, вдруг собрался сделать Сабанеева военным министром; в последнюю минуту, однако, сработала подводная интрига: Александру I доложили, будто Сабанеев пьяница (хотя генерал, как всем было известно, не столько пил, сколько *выпивал*). Царь пьяниц не любил, да и свободных, дерзких побаивался, вследствие чего Сабанеев остался «во фронте» — и, кажется, к немалому собственному удовольствию.

Май, за месяц до войны: как легко 1812 год заменяется тут 1941-м: молодой выпускник, завтрашний лейтенант радостно едет в полк, не подозревая (как, впрочем, и куда более опытный генерал), что удобнейшими днями для коварного нападения являются двадцатые числа июня, время самых длинных дней и самых коротких ночей.

22 июня 1941 года нападет Гитлер; 24 (12) июня 1812 года огромная армия Наполеона переходит Неман...

«БАРКЛАЙ, ЗИМА ИЛЬ РУССКИЙ БОГ...»

В войну прапорщик и генерал вступают в разное время: старший довольно поздно, юный же, начальствуя над двумя пушками, очень скоро окажется в самом пекле.

Артиллерия в русской армии была, как известно, очень хороша — и в этом немалая заслуга Алексея Андреевича Аракчеева.

Зверь, «змей», равно ненавистный и Сабанееву и Раевскому, губитель множества солдат и военных поселян,— но артиллерийских заслуг никак не отнять; любил генерал пушки, понимал довольно хорошо их значение как наиболее передового вида военной техники. Точно так же, как полтора века спустя какой-нибудь солдафонски ограниченный генерал или маршал будет вкладывать душу в компьютеры, электронику!

Аракчеев, вслед за своими предшественниками (начиная с Петра I), старается отбирать в артиллерию наиболее смышленых. Любопытно, что при пушках в XVIII веке состояли очень многие Ганнибалы и Пушкины: не исключено, что «артиллерийская фамилия» во многом определила военную специальность, но, как знать, не родилось ли еще в XIV—XV веках прозвание «Пушкин, Пушкины» у лиц, склонных к этой новейшей технике?

В артиллерии Пушкины, Ганнибалы, Раевские...

Сабанеев же страшным летом и осенью 1812 года остается на юге, в украинских и молдавских степях. Он прикрывает южные пределы империи и впервые за

многие десятилетия — не в сражениях. Кутузов, прежний его главнокомандующий, в августе 1812 года уж принимает армию в 200 верстах от Москвы, а Сабанеев лишь с опозданием на неделю и больше узнает о Смоленском сражении, о Бородине, о потере и пожаре Москвы, о начале наполеоновского отступления, о славных делах на Калужской и Смоленской дорогах, где действует 17-летний, никому почти не известный офицерик при своих пушках.

Сколь простой кажется история 1812 года задним числом, когда мы знаем, чем дело кончилось: сначала неприятеля заманили, потом — прогнали...

Если б заранее знали ответ исторической задачи, можно было бы, кажется, без всякой боязни, без лишних сражений отступать хоть за Урал, в Сибирь; французы растеряются, сами уйдут...

Но, не зная, что будет завтра или через месяц, отступавшие стыдились каждого французского успеха, скорбели о каждом потерянном городе; раненый Багратион не пережил известия о потере Москвы,— а ведь всего через месяц потеря обернется победой!

В этих обстоятельствах величие, суеверие, героизм, подозрение, реальность, фантастика — все вместе. И вдруг важным историческим фактором становится нерусская фамилия Барклая, который будто бы изменнически ведет французов в Москву, и еще немного — войско взбунтуется. Но тут является Кутузов, восклицает: «Как можно отступать с такими молодцами!» — и продолжает тактику Барклая.

Пройдет четверть века, и Пушкин, отдавая должное предшественнику Кутузова, скажет: «Народ, таинственно спасаемый тобою...» В «секретной» X главе «Евгения Онегина» задан вопрос о главном победителе: «Барклай, зима иль русский бог?»

Поэт чувствует тайну, сложнейшую тайну той войны. Со стороны кажется удивительным и странным, как

даже самые умные «действующие лица» истории видят лишь на ход вперед (что уж говорить про людей простых, бесхитростных!). На ход вперед видит и прапорщик Раевский, и младшие офицеры Чаадаев, Пестель, Якушкин, братья Муравьевы-Апостолы, и генерал Сабанеев. Может быть, лишь Кутузов просчитывал игру на два-три хода, но опасался слишком подробно делиться с окружающими: достаточно с них хотя бы убеждения, веры, что старик знает нечто им недоступное...

Тайна подобной войны, которую дано выразить лишь великим художникам.

Первым был, наверное, Карамзин, который в конце августа 1812 года, когда Москва готовилась к эвакуации и многие пали духом, не брались предсказывать даже ближайшее будущее,— Карамзин, согласно воспоминаниям очевидца, произнес пламенную речь: «Мы испили до дна горькую чашу — зато наступает начало *его* и конец наших бедствий». «В Карамзине,— продолжает мемуарист,— было что-то вдохновенное, увлекательное и вместе с тем отрадное. Он возвышал свой приятный, мужественный голос; прекрасные его глаза, исполненные выражением, сверкали, как две звезды в тихую, ясную ночь. В жару разговора он часто вставал вдруг с места, ходил по комнате, все говоря, и опять садился. Мы слушали молча».

Много лет спустя Владимир Раевский заметит, размышляя о прошлом: «Верю с Шекспиром, что в мире есть тайны, которых никакой мудрец не видит и не понимает у себя под носом».

Карамзин, Пушкин первыми эту тайну почувствовали,— Толстой, вероятно, первым эту тайну понял. Закономерно, что понимание явилось гениальному человеку, который в кампании 1812 года не участвовал, родился 16 лет спустя,— но еще не успел от нее слишком удалиться. «Война и мир» была начата через 51 год

и окончена через 57 лет после Отечественной войны. Прежде этого срока все было слишком близко, слишком сильна была ревность ветеранов, нередко противопоставлявших свой личный опыт историческому пониманию событий. Однако если бы Толстой «опоздал», то в 1870—1880-х годах его роман, думаем, вообще не был бы написан: слишком уж далеким становился 1812-й, слишком — история...

Подобная же тайна, несомненно, существует и для великой войны 1941—1945 годов. Многим кажется, будто все ясно; отступали, потом победили... Но если глубоко вдуматься — как и что произошло, как из 1929—1937-го возник 1941-й, а позже 1945-й,— тогда тайна, порою фантастика, «безумная логика» истории ощущаются достаточно сильно, и с годами все сильнее. Наиболее глубокое приближение к этой тайне мы находим, с одной стороны, в некоторых искренних, порою бесхитростных военных мемуарах, а с другой — в лучших художественных откровениях: таких, как «Василий Теркин», как повести Василя Быко́ва, как «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана.

И тем не менее мы лишь на подступах, тайна еще не «взята»; может быть, как для 1812 года — главное слово за тем гением, кто еще не родился в военные годы, но притом не слишком от них удален. По формуле «Войны и мира» время еще есть: 57 лет, отделяющих роман Толстого от той Отечественной войны,— это будет 2002 год для этой Отечественной.

И если так, значит, *Автор* уже среди нас, может быть, в школу или институт ходит, пробует или еще не пробовал пера...

Среди поразивших человечество непонятностей 1812 года были и странные «правила» той кампании: прежде

армии обычно сходились в генеральном сражении — Маренго, Аустерлиц, Йена, Фридланд, Ваграм,— и дело окончено. Победа в сражении равнялась выигрышу войны. Здесь же все не так, и непонятно — как...

В формулярном списке «О службе и достоинстве» майора 32-го егерского полка Владимира Федосеевича Раевского находим:

Вопрос. «Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был».

Ответ. «1812 года в Российских пределах при отражении вторгнувшегося неприятеля; против французских и союзных с ними войск августа 7-го под селением Барыкином, 26-го под селом Бородином и за отличие в коем награжден золотою шпагою с надписью «За храбрость».

Бородино. Артиллерист Иван Радожицкий запомнит: «Наступила ночь; биваки враждующих сил запылали бесчисленными огнями кругом верст на двадцать пространства; огни отражались в небосклоне на темных облаках багровым заревом: пламя в небе предзнаменовало пролитие крови на земле».

Еще и еще отрывки, впечатления, воспоминания.

«Блеск сабель, палашей, штыков — от лучей заходящего солнца...»

Граната, пробивающая бок лошади и взрывающаяся внутри...

За 12 часов сражения русская артиллерия делает 60 тысяч выстрелов, около сотни на каждое орудие.

«Ужасная канонада из пушек, гаубиц, единорогов. Выстрелы были так часты, что не оставалось промежутка в ударах. Образовалось искусственное землетрясение; солнце совершенно закрыто дымом»...

Раевский: «Я составлял единицу в общей численности. Мы, или, вернее сказать, все, вступали в бой с охотою

и ожесточением против этого нового Аттилы. О собственных чувствах я скажу только одно: если я слышал вдали гул пушечных выстрелов, тогда я был не свой от нетерпения, и так бы и перелетел туда... Полковник это знал, и потому, где нужно было послать отдельно офицера с орудиями, он посылал меня. Под Бородином я откомандирован был с двумя орудиями на «Горки». Под Вязьмою также я действовал отдельно, после Вязьмы — 4 орудия... Конечно, я получил за Бородино золотую шпагу с надписью «За храбрость» в чине прапорщика; Аннинскую — за Вязьму; чин подпоручика — за 22 сентября и поручика — за авангардные дела. Тогда награды не давались так щедро, как теперь. Но я искал сражений не для наград только, я чувствовал какое-то влечение к опасностям и ненависть к тирану, который осмелился вступить в наши границы, на нашу родную землю».

Семнадцать лет, четыре пушки, радость жизни — и десятки тысяч тел, оставшихся на Бородинском поле.

«Я бы спросил, что чувствовал Наполеон, когда после Бородинского сражения 40 тысяч трупов и раненых, стонущих и изнемогающих людей густо покрывали поле, по которому он ехал? А сколько тысяч семейств оплакивали преждевременную потерю отцов, детей, братьев, мужей, любовников, опору семейств, и все эти несчастья от произвола, от жажды владычества одного. По расчету самому точному, 3 миллиона в продолжение его владычества... погибли в войнах и походах. Почему человека, гражданина за убийство... своего младенца наказывают смертию... а смертоубийство массами называют победою?»

Зная, на чьей стороне правда, Раевский не забывает, однако, и другой стороны исторического действа: «...была народная война со всеми ужасами и варварством... Народ русский зверски рассчитывался за пожары, насилие, убийства, свою веру».

Выходит, нужно думать и об изгнании неприятеля и о способах изгнать потом зверство из самих себя.

Но война продолжается. В послужном списке Раевского 11 сражений, два чина, военный орден, рана... 17-летний прапорщик — подпоручик — поручик гонит неприятеля своими двумя, потом четырьмя пушками. И вот уж Смоленск, Борисов: «Не только деревень, домов уже по всей дороге не было — одна зола и трубы от печей кое-где стояли... Направо и налево от дороги сидели и валялись кучи умерших и умирающих французов, немцев, поляков, итальянцев и даже испанцев».

Тут время появиться генерал-майору Сабанееву. Он подчиняется теперь адмиралу Чичагову, который поздней осенью 1812-го движется с Украины в Белоруссию, к Березине, чтобы отрезать пути наступления Наполеону.

Между Чичаговым и Сабанеевым возникает спор, от которого зависят, может быть, судьбы Европы. Генерал убеждает старшего начальника, что их задача окружить, захватить Наполеона; Чичагов иначе трактует полученные инструкции и медлит.

Именно в эту пору записывает во фронтовом дневнике молодой офицер Александр Чичерин (которому быть бы декабристом, если б вернулся с войны): «Я всегда жалел людей, облеченных верховной властью. Уже в 14 лет я перестал мечтать о том, чтобы стать государем; теперь я даже страшусь высокой власти. Обязанность прислушиваться к желаниям тысяч людей, придерживающихся самых различных мнений, угождать всему свету, когда никто на свете не мыслит одинаково».

Если бы Чичагов перехватил Наполеона при Березине...

Тогда вроде бы война окончилась сразу и не было бы нужды в кампаниях 1813—1814 годов?

Или, наоборот, пленение, гибель императора удеся-

терили бы сопротивляемость Франции; униженный, прижатый к стене неприятель сделался бы чрезвычайно опасен?

До сих пор спорят, каково было мнение самого Кутузова. Умнейший старик серьезно опасался разбитого Наполеона; как известно, вообще возражал против вступления русских войск в Западную Европу. Может быть, и в самом деле тайно противился завершению кампании при Березине,— и не оттого ли инструкции Чичагову были не слишком отчетливы?..

Так или иначе, основная армия (где и Раевский) не стала молотом, а войска Чичагова и Сабанеева — наковальней, меж которых расплющился бы Наполеон.

Бросив множество пленных, французский император умчался в Париж собирать новое войско; Чичагов сделался объектом критики и насмешек, попал даже в басню Крылова («Щука и кот»); авторитет же Сабанеева, который спорил с Чичаговым, наоборот, возрос.

Так или иначе, оба русских войска слились, и теперь генерал Сабанеев с поручиком Раевским одновременно достигают российской границы.

Андрей Раевский — старший брат Владимира Федосеевича, тоже находившийся в действующей армии,— описывает торжественный момент: «Переехав мост, я простился с Россией. Двуглавый орел остался на высоких утесах с той стороны... Смотритель таможни поднял шлагбаум и пожелал нам счастливого возвращения».

В эти же новогодние дни 1813 года генерал Лавров поучает юного Чичерина, что для его собственного блага необходимо повидать чужие земли, ибо только там научится он любить свое отечество. «Я не стал спорить с ним,— вспоминает Чичерин,— только сказал, что уже довольно люблю отечество и не нуждаюсь в новых впечатлениях, чтобы укрепить свою привязанность».

Поручику Чичерину вернуться в свое отечество не суждено; поручику Раевскому — суждено. К тому же

у него огромные, хоть и смутные планы, которые несколько позже будут изложены в стихотворном послании заветному другу Гавриилу Батенькову:

Когда над родиной моей
Из тучи молния сверкала,
Когда Москва в цепях страдала
Среди убийства и огней,
Когда губительной рукою
Война носила смерть и страх
И разливала кровь рекою
На милых отческих полях,—
Тогда в душе моей свободной
Я узы в первый раз узнал
И, видя скорби глас народной,
От соучастья трепетал...

Последняя строчка, несомненно, лучшая в благородном, но поэтически довольно среднем сочинении. Стихи написаны задолго до того, как Раевский вступит в тайное общество, но — будто предчувствует: «в первый раз» связал свою судьбу с народной,— и конечно, будут еще случаи и поводы для *соучастия* и *трепета.* Правда, подобные пророчества мы без труда отыщем и у тех, кто позже успокоится, в заговоры не вовлечется.

Тем интереснее. И непонятнее...

Пока же поручик Раевский и генерал-майор Сабанеев вступают в Европу.

1813—1814

Имя Сабанеева звучит громко: он правая рука Барклая; в послужном списке множество битв и штурмов — Торн (за что пожалован орден Александра Невского), Бауцен, Кульм, Лейпциг, Бриенн, Арси-сюр-Об, Париж.

Снова, как в 1800 году, Сабанеев во Франции, причем именно в Нанси, но уж не пленный — победитель! Он жалуется старинному боевому другу Закревскому: «Государь ко мне не благоволит. Ну да бог с ним, я ему все-таки служу верою... Кто бога боится, тот никого не боится...»; однако при всем при том — получает генерал-лейтенанта и 30 тысяч рублей, его портрет через несколько лет появится в знаменитой Военной галерее Зимнего дворца. К тому же, оканчивая свою восьмую войну, генерал (имеющий среди приятелей кличку *Лимон* — может быть, за въедливый характер?) совсем не стар: 42 года, образован, умен, энергичен, холост. Правда, на последнем поприще чуть-чуть не проиграл важного сражения, в чем признавался все тому же Закревскому: «Ну, брат, чуть было не попался к бабе в когти. В Нанси был смертно влюблен, и подлинно чудесная женщина... Но время, все истребляющее, истребило и страсть мою. Слава богу!»

В общем, и с царем уладил и с возлюбленною: будущее за ним.

Поручику Раевскому в Париж не вступать: ему, поэту, достается военная проза. Больше года, с сентября 1813-го по ноябрь 1814-го, несет гарнизонную службу в занятых русской армией польских областях. Впрочем, по немногим сохранившимся сведениям, не тужит, «вкушая плоды разнообразных удовольствий».

Победители торжественно возвращаются из Парижа; из Варшавы тоже возвращаются, хоть и менее торжественно.

Раевский вскоре уволится от службы «за ранами». На 22-м году жизни отставной боевой штабс-капитан — образован, умен, энергичен, холост. Будущее за ним...

Но что же все-таки делать?

Один фронтовик нашей, *второй Отечественной* несколько лет назад рассказывал, как встретил после войны

своего прославленного начальника, маршала бронетанковых войск Рыбалко: тот прибыл в Москву для прохождения каких-то курсов.

— Товарищ маршал, на кого же можете выучиться, если вы уже маршал?

Старательно оглядевшись, Рыбалко ответил: «Наверное, на царя».

12 мая 1814 года, через полтора месяца после победы, генерал-лейтенант Сабанеев пишет из Франции своему приятелю генералу Петру Корнилову (в архиве последнего, в Отделе рукописей ленинградской публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, старинный листок сохранился): «Провидение, ведшее нас от Москвы до Парижа, чудесами не оскудело. Говорят, что затевается несколько царских свадеб, и если сбудется, то все европейские династии царей составят одно доброе семейство. Настанет золотой век, если еще не для нас, то для детей наших... Пусть я ошибаюсь, но лучше ошибаться обманчивою, но приятною надеждою, чем беспокоиться о будущих несчастиях, коих и в виду нет».

Занятное письмо! Два века назад царские свадьбы как будто играют роль, равноценную будущей ООН и другим современным способам установления мира на земле. И конечно, всегда приятен оптимизм просвещенного человека, верящего, что особых несчастий, кажется, «в виду нет».

Раевский же, вопреки вечно распространяемому мнению о беспечной молодежи,— в ту пору куда грустнее.

Все в том же стихотворном послании другу Батенькову вопрошает:

Скажи, ужель увеселял
Тебя трофей, в крови омытый,

Ужель венок, корыстью свитый,
Рассудка силу заглушал?..

Родина Батенькова — Сибирь, и Раевский готов там искать истины, если здесь — тоска.

Туда, где Лена, Обь волной
В гранитные брега плескают
И по седым во мгле лесам
К Гиперборейским берегам,
Во льдах волнуясь, протекают,
Где все в немых пустынях спит,
Где чуть приметен блеск природы,
Но где живут сыны свободы,
Где луч учения горит!..

Знал бы Раевский, что самому себе пророчит; что со временем навсегда, и не по своей воле, попадет туда, «к Гиперборейским берегам»; он многого не знает — но опять предчувствует, и кажется, будто все время оспаривает оптимистическую уверенность Сабанеева:

Могу ль покоем обладать?
Пловец над пропастью бездонной
В отчизне милой, но безродной...

Молодой, внешне вполне преуспевший, талантливый человек, но — «безродный в милой отчизне», в то время как сам «от соучастья трепетал».

Генерал-оптимист, чей оптимизм в ближайшие годы будет немало поколеблен — и неразумным устройством государства, и внедрением аракчеевских порядков; и офицер-пессимист, который думает о многом сходно со своим генералом, но лишь в будущем надеется отыскать *родину в родине.*

Два прогрессивно мыслящих, просвещенных человека — один из отцов, другой из детей: бог даст, объеди-

нятся, легко найдут общий язык, составят союз порядочных людей и преобразуют Россию...

Они ведь и так связаны — общей армией, общими походами, дворянством, просвещением...

Кинофильму Сергея Бондарчука «Война и мир» предпослан эпиграф: «Ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто».

Эпиграф взят из эпилога к роману (действие которого происходит в декабре 1820 года!). Пьер говорит Наташе эти слова после острого разговора с друзьями о необходимости тайного союза.

Прекрасные слова, которым Толстой конечно же сочувствует... Однако нельзя их брать эпиграфом ко всему произведению, как главную, «сквозную» мысль автора. Все-таки эти слова говорит Пьер, хоть и любимый герой Толстого, но несколько раз в течение романа искренне менявший «жизненную программу»: сначала (в первой сцене первого тома книги — в салоне госпожи Шерер) он воспевает Наполеона; затем ищет ответа у масонов; после — разочарование во всем этом; 1812 год, Платон Каратаев открывает, что самоцелью является сама жизнь, простые человеческие радости; но проходит еще несколько лет — и Пьер снова устремляется в общественную деятельность, на этот раз в тайное общество декабристов.

Толстой очень любит своего Петра Кирилловича, сочувствует, знает, что через пять с небольшим лет Безухову вместе с друзьями-заговорщиками идти в Сибирь, а Наташе ехать за ним; но притом — для автора романа это еще не окончательный итог «всей мудрости земной», а лишь один из шагов к ней по очень извилистой, не всегда различимой дороге.

Насчет единения всех хороших людей Пьер говорит жене, Наташе, она же, слушая, не слышит.

«— А ты что хотела сказать?

— Я так, глупости.

— Нет, все-таки.

— Да ничего, пустяки,— сказала Наташа, еще светлее просияв улыбкой,— я только хотела сказать про Петю: нынче няня подходит взять его от меня, он засмеялся, зажмурился и прижался ко мне — верно, думал, что спрятался. Ужасно мил. Вот он кричит. Ну, прощай!— И она пошла из комнаты».

У Наташи своя истина, не мешающая той, что излагает Пьер,— но другая...

Несколькими же страницами ранее Толстой замечает:

«В настоящей русской литературе, от гимназиста до ученого историка, нет человека, который бы не бросил своего камушка в Александра за неправильные поступки его в этот период царствования...

В чем состоит сущность этих упреков?

В том, что такое историческое лицо, как Александр I... не то что не было добродетельно (за это историки не упрекают), а не имело тех воззрений на благо человечества, которые имеет теперь профессор, смолоду занимающийся наукой, то есть читанием книжек, лекций и списыванием этих книжек и лекций в одну тетрадку.

Но если даже предположить, что Александр I пятьдесят лет тому назад ошибался в своем воззрении на то, что есть благо народов, невольно должно предположить, что и историк, судящий Александра, точно так же по прошествии некоторого времени окажется несправедливым в своем воззрении на то, что есть благо человечества».

Толстой, как мы знаем, верил не столько в объединение хороших людей, сколько во внутреннее, духовное освобождение каждого отдельного человека (в старости, например, смеялся над обществами трезвости: *не пить* следует в одиночку, а если уж собираться — то лучше *выпить*...). Поэтому (повторим) неверно считать главнейшей мыслью романа «Война и мир» слова Пьера — «что

ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое».

Тем более что «честные люди» куда хуже умеют объединяться — чем разъединяться... И уж Николай Ростов, хороший, благородный человек, споря с шурином, толкует вполне «по-сабанеевски»:

«— Я вот что тебе скажу,— проговорил он, вставая и нервными движениями уставляя в угол трубку и, наконец, бросив ее.— Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно и что будет переворот; я этого не вижу; но ты говоришь, что присяга условное дело, и на это я тебе скажу: что ты лучший друг мой, ты это знаешь, но, составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев итти на вас с эскадроном и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду. А там суди, как хочешь».

Конечно, в разные века, в разных краях, случалось, объединялись для доброго дела почти все лучшие люди. К несчастью, в России — очень и очень редко. Знаменитый деятель XVIII века Артемий Волынский заметил: «Нам, русским, хлеба не надо: мы друг друга едим и тем сыты бываем».

В 1818 году 23-летний офицер Владимир Раевский вступает в Союз благоденствия, тайное общество, столь же легко и естественно, как Пьер: просто никак нельзя иначе — и только непонятно, отчего же все в него не вступают?

Но что же должно было произойти, чтобы через восемь лет после общей победы генерал, отнюдь не худший, отнюдь не Аракчеев (скорее уж, повторим, Николай Ростов, только старше летами и чином выше),— чтобы такой генерал велел арестовать и сам возглавил

следствие над человеком, которого должен бы, кажется, признать, уважить.

«— Здравствуй, душа моя! — сказал мне, войдя весьма торопливо и изменившимся голосом Александр Сергеевич Пушкин.

— Здравствуй, что нового?

— Новости есть, но дурные. Вот почему я прибежал к тебе...»

Так началась длинная, причудливая история, которая займет большую часть нашего повествования...

«СЧАСТЛИВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ»

После французской революции — чем позже, тем больше, и особенно много в нашем суеверно-пугливом XX веке, — рассуждают и пишут о знаменитых пророчествах Жака Казотта, который в 1788 году будто бы довольно точно предсказал, что будет в 1789—1794 годах — и позже...

Одни безусловно верят в возможность подобных пророчеств, другие сомневаются, доказывая, что Казотту приписали великую пророческую мудрость задним числом; третьи восклицают, что, предвидя будущее своей страны и Европы, Казотт, кажется, не рассчитал, что в 72-летнем возрасте, 25 сентября 1792 года в 7 часов вечера, взойдет на эшафот как «враг революции».

Известный историк русской армии Г. С. Габаев в 1920—1950-х годах собирал материалы об этой мистической истории (наряду с документами о солдатах-декабристах, о планах восстания 14 декабря 1825 года и др.). Габаеву было нелегко работать, так как его регулярно высылали и возвращали в Ленинград (во время одной из ссылок он почему-то находился в Курской области, недалеко от места рождения очень интересовавшего его Владимира Федосеевича Раевского). «В удалении от библиотек, — сетовал Габаев, — не удалось уточнить дан-

ные о всех лицах, связанных с историей «казоттовых пророчеств». Записи ученого об этой истории, сохранившиеся в его архиве (Отдел рукописей Публичной библиотеки в Ленинграде), завершаются фразой: «Если выдумка,— то талантливая».

Мы обычно скорее склонны верить таким историям, потому что, во-первых, сами с переменным успехом постоянно пророчествуем, а во-вторых, знаем исход крупнейших исторических событий; прошлое (снова повторим) задним числом кажется столь простым и обязательным, будто иначе и не могло быть...

После окончания войны с Наполеоном многие, очень многие верили, что обязательно должна наступить хорошая, счастливая жизнь, реформы, послабления...

Точно так же, как при окончании Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, когда миллионы людей думали, что отныне отпадает необходимость в арестах, терроре, жестоких лишениях во имя грядущих сражений.

В 1814 году на Александра I очень надеялись:

«Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество!* Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него какая была минута!»

Если бы в этот момент царь с решимостью Петра Великого взялся за «коренную перестройку» экономической и политической жизни страны, ослабил бы деспотизм, отменил крепостное право, наверное — сумел бы...

Не сбылось.

Сие требует пояснений, относящихся еще к тому времени, когда Раевский не был офицером, а Сабанеев генералом.

Мы опять отступаем в прошлое, чтобы пропустить вперед самую важную персону Российской империи и довольно важного героя нашего повествования.

Царь на пять лет моложе Сабанеева, но на 18 лет старше Раевского и, стало быть, относится к поколению *отцов*...

Издательский рефлекс — печатать сочинения, посвященные только «положительным людям»,— сложился давно и не случайно. Очевидно, это инстинктивное недоверие к читателю, который вдруг да полюбит «нехорошего человека». Рассказывают, будто один автор принес в редакцию серии «Жизнь замечательных людей» сочинение о Тамерлане; ему стали объяснять, что тиран XIV века не может быть отнесен к «замечательным людям». «Как же так?— возмущался автор.— В основе слова «замечательный» идея — «заметить, заметный». Разве Тамерлан не был заметен на весь мир?»

Автор этой книги хорошо помнит, как ему удалось напечатать любопытные письма начальника III отделения генерала Дубельта, только замаскировав их бодрым заглавием «После 14 декабря».

Попытки рассмотреть какого-либо царя, правившего после Петра Великого, не агитационно-разоблачительно, но чисто исторически обычно встречали отпор.

Без царя Александра нам, однако, на сей раз не обойтись. Поэтому повторим небезызвестные, но все же требующие повторения и размышления факты.

Александр — старший сын Павла, любимый внук Екатерины, которого она готовила к царствованию; его учитель Лагарп — выдающийся швейцарский просветитель и государственный деятель — обучал принца по последнему слову педагогики: воспитывал хорошо, очень хорошо, может быть, даже слишком хорошо.

Екатерина II, добившаяся власти и удержавшая ее самыми разнообразными средствами, в том числе тем-

ными, лицемерными, кровавыми,— царица, подобно многим грешникам разных сословий и веков, мечтала, чтобы любимый внук никогда не знал той грязи, через которую ей пришлось пройти; чтобы он жил и правил «отменно, благородно».

Но легко ли управлять столь *грубой* империей, получив столь утонченное, чувствительное, деликатное образование?

Просвещение дало плоды еще в бабушкино царствование. В то время как Екатерина размышляла о способах замены нелюбезного сына Павла любезным внуком Александром, этот самый внук спорит с Лагарпом: учитель доказывает, что России нужен просвещенный монарх, ученик же отстаивает республику. Доводы Александра известны: слишком многое определяет случайность рождения. Знаем и аргументы Лагарпа: страна в течение многих веков привыкла к монархической форме и не понимает никакой другой; к тому же и в республиках, при демократии, очень часто являются дурные правители.

Принц, однако, упрямо повторяет вычитанное во французских книгах: чем случайнее, тем народу хуже.

— Ваш характер, государь,— конституция вашей империи, а ваша совесть — ее гарантия!— так воскликнет позже знаменитая писательница мадам де Сталь, и примерно так же убеждал Лагарп.

Александр: «Если бы это и было так, то я был бы только счастливой случайностью!»

Александр не желал в 1796 году принимать престол вместо отца, но не решался перечить бабушке, готовившей провозглашение его своим преемником. Манифест о замене сына внуком, по всей видимости, был составлен, но не объявлен. Екатерина II не успела — апоплексический удар настиг ее за несколько недель или даже дней до перемены наследника. Александр же и думать не желал о том, чтобы чинить какие-нибудь пре-

пятствия отцу: благородный отказ от бабушкиного наследства плюс его собственное нежелание царствовать плюс — страна, которая не готова к замене Павла Александром (точно так, как в 1825-м все знали явного наследника Константина и почти никто не подозревал о тайном наследнике Николае).

7 ноября 1796 года на престоле Павел, Александр объявлен его наследником по всем правилам, и вскоре, как известно, просвещенное дворянство в ужасе: Павел для них неистовый, безумный тиран и деспот.

Оставим в стороне вопрос, кем он был на самом деле. В моей книге «Грань веков» я старался доказать, что безумия никакого не было, а была определенная система, которую можно назвать «консервативной утопией». Идеи Павла — это мощная централизация, царь-рыцарь во главе возрожденной средневековой рыцарской системы, при ограничении личных прав дворянства, слиянии самодержавия и церкви...

Тогда-то, в 1797 году, в Москве во время коронации Александр I и его близкие друзья в первый раз задумывают уже не отречение и бегство, но — конституцию, которая когда-нибудь (возможно, очень скоро!) ограничит деспотизм.

Затем были еще проекты.

Наконец гвардейский дворянский заговор уничтожает Павла, с ведома Александра, надеявшегося — по словам Герцена,— что отца убьют, но «не до смерти»...

Нервный, подозрительный, меланхоличный Александр вступает на трон через труп отца; он предается отчаянию и слышит окрик лидера заговора генерала Палена: «Будет ребячиться! Идите царствовать!». Пален утешает нового монарха тем, что хорошее продолжение заставит забыть страшный пролог.

Все дворяне, за редчайшим исключением,— все сабанеевы, раевские — единодушно радовались новому монарху, обещавшему в манифесте править «по заветам бабки».

Мысль, что можно замолить грех, осчастливив Россию,— мысль временами очень искренняя, но порою — «слова, слова, слова...».

Осчастливить как будто очень просто, и Александр это знает, и молодые друзья императора, занявшие ряд важных постов, знают, и, наконец, Лагарп, дающий новые советы ученику, тоже знает.

Петр пробил окно в Европу, преемники Петра, особенно Екатерина II, расширили просвещение, дворянские вольности. Теперь нужен следующий шаг, ослабляющий рабство в разных формах.

Политическое рабство можно умерить твердыми законами, конституцией, обновленным судом, наконец, парламентом (Думой или Земским собором), который должен ограничить самовластие монарха.

Социальное рабство — крепостное право; половина нации покупается и продается. Сверх того, 25-летняя рекрутчина («в России половина людей живет по жребию»).

Между 1801-м и 1812-м Александр сделал первые попытки. По совету Лагарпа и молодых друзей он отнюдь не опирается на народ, который, конечно, радостно устремится к свободе, но «все разрушит и сам себя еще хуже закабалит». Лагарп подчеркивал (как уже говорилось), что главная надежда — молодые и просвещенные офицеры: в 1800-х годах сабанеевы, позже раевские.

В ту пору, когда Сабанеев сражался с французами, шведами, турками, а Владимир Раевский одолевал науки,— в ту пору царь торопился расширить число сторонников; по совету Лагарпа развивал просвещение. Большая часть старых русских университетов и других высших заведений была основана или возобновлена именно

при Александре: университеты в Дерпте, Вильне, Казани, Петербурге, Харькове; лицеи в Царском Селе, Одессе, Нежине... В эти же годы чуть-чуть ограничено крепостническое бесстыдство: запрещены газетные объявления о продаже людей, издан закон о вольных хлебопашцах; тем помещикам, которые сами пожелают, он облегчает способы отпускать крестьян на волю. Однако все это лишь «подступы». Главные реформы, связанные с именем Сперанского, ожидались в 1810 году.

1 января этого года был торжественно открыт Государственный совет; лишь немногие — узкий, но влиятельный круг — знали, что это «айсберг», часть огромного замысла, основной массив которого еще не виден. Государственный совет был первоначально задуман как вторая палата — «палата лордов» русского парламента. Предполагалось, что 1 мая 1810 года будут назначены выборы в «палату общин» — Государственную думу, где примут участие дворяне, купцы, мещане, однодворцы и государственные крестьяне. Разумеется, избирательный закон был так расчислен, чтобы дворяне имели крепкое большинство: податные сословия должны избирать своих депутатов по системе многоступенчатой (волость—округ—губерния). Крепостные пока что не голосуют, но одновременно должно начаться постепенное их освобождение с землей, и в конце концов они тоже получат гражданские и политические права...

Итак, 1 мая выборы, 1 сентября 1810 года Государственная дума сможет собраться, и в это же время царь серией декретов введет элементарную законность, суд присяжных...

Двухпалатный парламент. В 1810-м, а не в 1905-м!

Ограничение и постепенная отмена крепостного права. С 1810-го, а не в 1861-м!

И тогда все выпускники новых университетов, лучшие люди страны, свою великолепную энергию отдадут

коренным реформам, тогдашней перестройке, одобренной свыше; и тогда раевские, сабанеевы, ермоловы — новые люди новой России!

Однако 1 сентября 1810 года Государственная дума не открылась. Этого не произошло и в следующие месяцы, годы, десятилетия.

19 октября 1811 года царь и Сперанский явились на открытие Царскосельского лицея. Мы точно, конечно, не знаем, но догадываемся, какие мысли и сомнения занимали главнейших деятелей государства, когда они благосклонно рассматривали тридцать резвящихся подростков — то ли участников будущего обновления, то ли вероятных винтиков традиционной бюрократии.

В марте 1812 года Сперанский внезапно арестован, выслан; позже — прощен, но уже теряет прежнее значение первого министра.

Несколько лет спустя Сперанский — по-видимому, искренне — назовет ошибкою свои прежние планы: слишком «разогнался»; россиянам этого не надо — достаточно все той же самодержавной системы, смягченной просвещением.

Парадокс, однако, был в том, что Александр, прогнавший Сперанского и заморозивший реформы, не соглашался с покаянными идеями своего министра.

Про себя царь был, по-видимому, убежден в необходимости важных перемен. К тому же старые павловские раны не заживали; мечта — компенсировать свое участие в заговоре благодетельными законами — оставалась мечтою. Меж тем каждая годовщина восшествия Александра на престол была ведь и годовщиной гибели отца. Больнее нельзя было задеть императора, чем напомнить об этом обстоятельстве. Наполеон, когда из Петербурга его упрекнули в захвате и расстреле члена фамилии Бурбонов герцога Энгиенского, объявил на всю

Европу, что хорошо бы понял русского царя, если б он захватил и казнил убийц своего отца...

Когда началась война 1812 года и русские отступали, суеверный, все более склонявшийся к мистике Александр, конечно, видел в этом божье наказание за *Главный грех*. Однако неожиданно — победили, и царь усматривает в этом некую зловещую иронию судьбы, которая еще обернется своей трагической стороной...

В разгар побед взятый в плен французский генерал Вандамм, услышав обвинение, высказанное царем, что он плохо обращался с русскими пленными, бросил в ответ, что, по крайней мере, не убивал собственного отца. Александр схватился за шпагу, но дал себя удержать и увести.

Идея грандиозного храма Христа Спасителя на Воробьевых горах — одна из экзальтированных попыток примириться с небом, искупить земной грех. Современники о том догадывались; Герцен писал: «Император Александр... всегда наклонный к мистицизму и сумрачному расположению духа, в котором многие видели угрызения совести, он особенно предался ему после ряда побед над Наполеоном».

Дело, конечно, не только и не столько в отцеубийстве: Александр достаточно осведомлен о тяжкой доле деревни, «черной неправде» в судах и т. п. Реформы действительно нужны, хотя бы ради самосохранения,— и теперь, после войны, дан приказ снова их приготовить.

Ситуация как будто много благоприятнее, чем прежде, при Сперанском: Бонапарт уже не «у ворот», а на Святой Елене; авторитет Александра-победителя огромен. «Русский царь — глава царей»,— запишет Пушкин. «Александр — диктатор Европы, диктатор Вселенной»,— запишет генерал Михайловский-Данилевский. К тому же, учитывая опыт «чрезмерной болтовни» вокруг реформ 1801—1812 годов,— теперь все будет делаться в тиши, канцелярской тайне...

17 мая 1815 года тот же генерал Михайловский-Данилевский слышит в Вене слова Лагарпа, старого учителя Александра, что «государю должно будет ознаменовать царствование свое свободою народа, без сего не окончит он достойным образом великих дел, им начатых и частию содеянных».

В те самые годы, когда Сабанеев мечтал о гармонии, о долгом или вечном мире между народами, когда Раевский «от соучастья трепетал» и грустил, не находя рычага, которым можно повернуть мир,— в это самое время по приказу Александра I приготовлены два простых проекта: конституция и освобождение крестьян.

Конституцию составляли в Варшаве по указаниям фактического правителя Польши, друга-единомышленника царя еще с молодых «реформаторских мечтаний» — Николая Николаевича Новосильцева.

Россия в ту пору, как известно, присоединила уже некоторые земли, обладавшие, по мнению Александра, европейскими традициями и цивилизованностью. Финляндии, завоеванной в 1809 году Сабанеевым и другими, дарован законодательный сейм; то же самое получает Польша, где на открытии сейма в 1818 году царь благодарит поляков за то, что они в ближайшем будущем научат «свободам» Россию. Российское дворянство обиделось, но это разговор особый; пока же заметим, что польский сейм был опять же надводной частью «айсберга» — как Государственный совет (так и оставшийся всего лишь Государственным советом, а не второй палатой).

Подводной идеей была *конституция Новосильцева* уже не для Польши, а для всей России, тогда же написанная и глубоко, «до востребования», запрятанная. Снова — идея Государственной думы; выборы, разумеется, ограниченные, цензовые; царю предлагают от

каждого округа трех депутатов, и он сам из них должен отобрать одного. А на дворе 1817 год, не 1905-й...

Крепостным правом в то же самое время занимался не кто иной, как Алексей Андреевич Аракчеев.

Снова повторим, что отнюдь не собираемся высветлять мрачного, кровавого временщика, как могут подумать читатели, помнящие о его успехах в артиллерии. Однако правда истории существует для всех. Аракчееву велели составить проект освобождения крестьян, он и написал... То есть не он, а подчиненные, секретари. Приказали бы Аракчееву произвести массовые расстрелы — расстрелял бы; пытать — пытал бы; расправиться с противниками своего государя, как Мехмет-Али с мамлюками,— расправился бы; поджарить их на медленном огне — поджарил бы...

Есть причудливая польза от такой всеготовности: это российская возможность использовать, при случае, самых черных министров для прогресса; им «все равно» — был бы приказ; однако не будем и преувеличивать подобную возможность, не будем...

Тем не менее крестьянский проект был сочинен: Александр повелел Аракчееву (1818 год) сочинить документ об освобождении помещичьих крестьян «с учетом интересов помещиков». В аракчеевском проекте планировалось при освобождении крестьян оплатить их владельцам убыток из казны (как оно случилось позже, в 1861 году). При этом на каждую ревизскую душу предполагалось дать по две десятины земли, цена же — в зависимости от местности. Значительную часть документа занимала финансовая сторона — как и откуда добыть денег на всю эту операцию.

Царь в общем проект одобрил; мы же не можем не заметить, что Аракчеев назначал каждому крестьянину примерно столько же земли, сколько позже в своих тайных проектах обещал декабрист Никита Муравьев.

Прямо хоть кричи: «Ай да Аракчеев, ай да...»

Много лет спустя, когда готовилась реформа 1861 года, один из виднейших ее деятелей, Николай Милютин, изучил старинные, полувековой давности, проекты и сопроводил аракчеевский документ замечанием, что, кажется, крестьяне могли быть освобождены при Александре I, «если б не воспрепятствовали тому политические обстоятельства...».

Проект 1818 года припрятали. Дело ограничилось освобождением прибалтийских крестьян без земли, что в России не вызвало никакого энтузиазма и желания подражать...

Одновременно был проведен страшный эксперимент с военными поселениями.

По-настоящему история их еще не написана. Известно, что это были ужас и зверства; что немалую часть крестьян сделали «по совместительству» солдатами, и двойной гнет вызвал двойной отпор — восстания, расправы: река Волхов, красная от аракчеевских экзекуций; чугуевские казни на Украине...

Известно также, что у царя и Аракчеева была мысль «филантропическая»: соединив сельскохозяйственное производство с солдатчиной, не отрывая солдат от дома,— им же лучше сделать. Да вышло хуже...

Однако была в этом деле еще одна, очень замаскированная, почти никому не доступная утопия.

Крепостной крестьянин, забритый в рекруты, уходит в армию, а оттуда, если вернется (возвращался один из двух, половина умирала), оттуда он приходил все же не крепостным; помещик не может его теперь продать, заложить и т. п. Но что, если потихоньку, постепенно в разных губерниях государство станет откупать у помещиков крестьян для обращения их в военных поселян? Помещики вряд ли очень обидятся: крестьянский труд, особенно в центральной полосе, не слишком прибыльный; в сущности, нет принципиальной разницы —

изъять в рекруты несколько крестьян, как было прежде, или забрить побольше. Таким образом, рядом с государственными крестьянами, обращенными в военных поселян, начнет расти слой откупленных бывших крепостных. С годами все больше и больше помещичьих рабов, пройдя через «очистительную купель» солдатчины, пусть хоть таким причудливым путем, но сделаются свободными. И не пройдет десяти—двадцати лет,— так мало останется помещичьих крестьян, что их уж легко будет разом перевести в государственные, освободить...

Таким образом, военные поселения могли вроде бы стать хитрым, замаскированным механизмом крестьянской свободы, если общий закон об освобождении крепостных, уже подготовленный Аракчеевым, не пройдет.

Итак, через несколько лет после войны два главнейших закона — о конституции и крепостном праве — приготовлены. Кое-что начато...

И что же?

И ничего.

Крестьянский проект отправлен в секретный архив почти на полвека. Конституция же Новосильцева так засекречена, что даже следующий царь, Николай I, о ней вроде бы не знал; во всяком случае, позже утверждал, будто Александр I с ним не поделился — и мы, зная скрытность старшего из Павловичей, готовы в это поверить.

Николай I утверждал даже, что, если б знал о братнином проекте, иначе оценил бы конституционные планы декабристов, отнесся бы к заговорщикам «мягче». Во время польского восстания 1830—1831 годов были захвачены секретные бумаги Новосильцева и большим тиражом опубликована государственная «Уставная грамота» Александра; когда же Варшава была взята русским войском, Николай I писал главнокомандующему И. Ф. Паскевичу: «Чертков привез мне экземпляр проекта кон-

ституции для России, найденного у Новосильцева в бумагах; напечатание сей бумаги крайне неприятно; на 100 человек наших молодых офицеров 90 прочтут, не поймут или презрят, но 10 оставят в памяти, обсудят — и, главное, *не забудут*. Это пуще всего меня беспокоит. Для того, столь желательно мне, как менее возможно, продержать гвардию в Варшаве. Вели графу Витту стараться достать елико можно более экземпляров сей книжки и уничтожить, а рукопись отыскать и прислать ко мне, равно как и оригинальный акт конституции польской, который искать должно в архиве Сената... Начальникам велеть обращать самое бдительное внимание на суждения офицеров и стараться и словами и собственным примером доказывать, коликого презрения заслуживают те, кои подобным оружием нам вредить хотят».

1578 экземпляров «Русской конституции» были доставлены из Варшавы в Москву и сожжены на кремлевском арсенальном дворе.

Оценив николаевский страх перед александровскими мечтаниями, постараемся понять, отчего же не в Петербурге, а в Варшаве хранился проект александровской конституции?

Очевидно, по той же причине, по которой важнейшие законы не были положены на стол, не введены в действие.

Тут мы входим в зону таких глубочайших придворных тайн, в сферу деятельности столь высоких персон, что они почти недоступны даже для генерал-лейтенанта Сабанеева, не говоря уж о штабс-капитане Раевском.

Царские бумаги в Варшаве. Есть серьезные сведения, что Александр I думал объявить коренные реформы Российской империи именно в Польше: ведь в Петербурге сосредоточены высшие власти, бюрократия, аппа-

рат — те, кто в свое время убили Павла I (пусть за другие «грехи» — но убили); те, кто опрокинул Сперанского и сейчас готов на многое. Сохранилось несколько рассказов о том, что разные либеральные сановники подступались около 1820 года к царю, советуя срочно произвести гражданские реформы, Александр же встречал их недоброжелательно, отвечая: «Некем взять!»

Иначе говоря, нет людей, на которых можно опереться, некому поверить. Царь верит безоговорочно только двум лицам — Аракчееву и Карамзину; но и великий историк вспомнит чуть позже: «Я всегда был чистосердечен, он всегда терпелив, кроток, любезен неизъяснимо; не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им большей частию и не следовал... Не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца: ибо эта милость и доверенность бесплодны для любезного отечества».

Второй раз царь замирает перед «политическими обстоятельствами».

«ПО ЛАГАРПУ»

Престарелый Владимир Раевский на сорок первом году своей сибирской жизни написал длинное письмо младшей любимой сестре Вере Федосеевне, по мужу Поповой. Это краткие мемуары (к судьбе бумаг архива Раевского мы еще вернемся).

Исповедь Раевского проста, ясна; однако задним числом ему, возможно, все кажется много проще и понятнее, чем было полвека назад.

«Я из-за границы возвратился на родину уже с другими, новыми понятиями. Сотни тысяч русских своею смертью искупили свободу целой Европы. Армия, избалованная победами и славою, вместо обещанных наград и льгот подчинилась неслыханному угнетению... Уси-

ленное взыскание недоимок, увеличившихся войною, строгость цензуры, новые наборы рекрут и проч. и проч. производили глухой ропот... сильно встревожили, волновали людей, которые ожидали обновления, улучшений, благоденствия, исцеления тяжелых ран своего отечества...»

Ожидали — от кого? От Александра, но он молчит. От сабанеевых? Но многие из отцов уже успокоены — наградами, чинами, возрастом, страхом перед переменами.

Молодые же пока что — «...свободою горим, сердца для чести живы». Даже двух лет не могли вытерпеть.

9 февраля 1816 года в Петербурге образуется Союз спасения, где вскоре около 30 заговорщиков. Два года спустя — Союз благоденствия, более 200 членов.

Негодование молодых офицеров, на которых царю советовал опереться Лагарп, растет не по дням — по часам. Осенью 1817-го Якушкин вызывается убить Александра и сразу вслед за тем самого себя — «честная дуэль»; тогда же возникают проекты захвата или убийства царя, придуманные Луниным, Шаховским. Товарищи по тайному обществу их едва сдерживают: ничего не готово.

В 1820-м — целый тур европейских революций: Испания, Неаполь, Пьемонт, Португалия... Осенью — бунт Семеновского полка в Петербурге, и царь Александр подозревает просвещенных заговорщиков, которые «научили» солдат.

Царь уже имеет (как более или менее точно известно историкам) целую серию доносов и косвенных сведений о существовании тайных обществ.

Через три месяца после того, как Якушкин вызвался на цареубийство, Александр уже знал об этом.

Карьера декабриста Александра Муравьева была остановлена, так как царь знал о его видной роли в Союзе благоденствия.

Ермолов, проезжая через Москву, приветствует декаб-

риста Михаила Фонвизина, своего друга и бывшего адъютанта: «Поди сюда, величайший карбонари... Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он (царь) вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся».

Царь знает — и ничего или почти ничего не предпринимает?

Мы вступили в один из «подземных» эпизодов российской истории, который разыгрался за год-полтора до ареста Раевского Сабанеевым, в то самое время, когда пути молодого офицера и не старого еще генерала начнут пересекаться. В печать же некоторые подробности этого дела попадут более чем полвека спустя: когда в журнале «Русский архив» (1875 год) появится рассказ Александра Илларионовича Васильчикова, записанный со слов умершего отца Иллариона Васильевича Васильчикова — одного из ближайших к Александру I людей, начальника гвардейского корпуса, позже — председателя Государственного совета.

Вот некоторые отрывки из семейной хроники Васильчиковых: «Незадолго до возмущения семеновцев, уже после отъезда государя в Троппау (на конгресс Священного союза), однажды явилось к отцу лицо, служившее при гвардейском корпусе в гражданском чине. Оно объявило отцу, что имеет сообщить государственную тайну о политическом заговоре, которую просит довести до сведения государя. На это отец, остановив его на первых словах, отвечал, что принимать доносы не его дело и не входит в круг его военных обязанностей, что для этого есть особое ведомство и отдельное министерство полиции, куда ему и следует обратиться. NN (имя это нам известно по некоторым письмам, которые у нас имеются, но мы не считаем себя вправе его назвать) с чувством и с негодованием возразил, что он полицейским

агентом никогда не был и не желает быть, что он является к начальнику не как доносчик, а как верноподданный, убежденный в гибельных не столько для России, сколько для молодых людей, с коими связан он искреннею дружбою, последствиях этого заговора и, наконец, прося его довести о том до сведения государя императора. Такая категорическая постановка вопроса до крайности смутила Васильчикова. Он, однако, возразил, что все-таки не считает себя обязанным верить бездоказательным доносам и что это опять дело полицейское и не входит в ведомство командира гвардейского корпуса».

NN, мы знаем сегодня, кто это: Михаил Грибовский, член Союза благоденствия, библиотекарь гвардейского Генерального штаба.

Отметим, однако, любопытное отношение к NN Васильчикова-старшего (или, во всяком случае, его собственную, *семейную*, версию этой истории): генерал из поколения Сабанеева (на пять лет моложе), тоже участник ряда кампаний и сражений, просвещенный, широко мыслящий, упорно не желает марать себя разбирательством доноса. Однако NN передает начальнику какие-то доказательства и списки, умоляя все это проверить.

Васильчиков-младший продолжает: «Отец наш часто говорил, что никогда в жизни в течение 50-летней боевой и гражданской своей службы он не испытал такого тяжелого чувства, как в этот день. И действительно, все последующие для публики и даже для ближайших его окружающих лиц необъяснимые, загадочные распоряжения корпусного командира находились под косвенным, но подавляющим влиянием этой государственной тайны, которую он должен был до возвращения государя схоронить в своей душе. Писать государю за границу за неимением шифра Васильчиков не решился. Между тем по справкам, наведенным вследствие указаний NN, донос вполне подтвердился, и в числе лиц,

поименованных в списке, оказались многие офицеры, ротный командир Семеновского полка Муравьев-Апостол и несколько командиров армейских полков. В это время или очень скоро после вспыхнула Семеновская история и окончательно поставила Васильчикова в положение невыносимое».

Семеновская история, бунт знаменитого гвардейского полка, по убеждению Васильчикова, была связана с этим заговором (хотя сегодня мы знаем, что это было не так: бунт был стихийным, декабристы признавались позже, что «проспали» солдатское возмущение, и в лучшем случае пытались облегчить участь семеновцев, разделить с ними опалу). Меж тем в переписке с Васильчиковым царь гордится тем, что — «меры, мною принятые, самые человеколюбивые из всех тех, которые можно было бы принять. Полк не уничтожен, но сохранен, так же как его имя и мундир; никто не расстрелян, не прогнан сквозь строй, даже не тронут пальцем; надеюсь, что это довольно человеколюбиво».

Конечно, любопытно, что царь гордится нормальными, «европейскими», а не «турецкими» формами наказания; Васильчиков же по царским письмам и инструкциям догадался, что Александр, находясь на заграничных конгрессах Священного союза, своим путем тоже получил сведения о заговорщиках и знал обо всем не хуже своего генерал-адъютанта...

Наконец царь возвращается в Петербург — это было в конце мая 1821 года, за восемь месяцев до начала «раевской истории»: «Васильчиков поспешил при первом же докладе довести до сведения его величества тайну, уже столько месяцев угнетавшую его страшною ответственностью и которую он никому не считал себя вправе поверить. Тогда произошла следующая замечательная сцена. Это было в Царском Селе.

Васильчиков сначала докладывал о текущих делах. Государь сидел за письменным столом, Васильчиков

напротив. Окончив доклад, он сказал государю, что имеет передать ему донос о политическом заговоре, поданный ему таким-то, и вместе с тем вручил государю список, составленный и собственноручно писанный вышеупомянутым NN. Государь при этих словах, которые, по-видимому, не были для него неожиданны, долго оставался задумчивым и безмолвным, погрузившись в глубокое и тихое мечтание; потом произнес по-французски следующие слова, которые — по важному историческому значению их — передаю, как слышал их от покойного отца: «Мой любезный Васильчиков! Ты, который служишь мне с самого начала моего царствования, ты знаешь, что я разделял и поощрял все эти мечты и все эти заблуждения»; и после долгого молчания прибавил: «Не мне быть жестоким» (другой перевод этой фразы: «Не мне их судить»). Так-то разрешилась для моего отца эта тяжкая таинственная история».

Грибовский, оказывается, нашел путь к царю через генерал-адъютанта Бенкендорфа, который был не столь щепетилен, как Васильчиков.

Прочитав донос, где был довольно полный список заговорщиков, царь, однако, не только не благодарит, но гневается, и Бенкендорф на несколько лет впадает в полунемилость.

Позже, когда в бумагах умершего Александра I будет обнаружен донос Грибовского, Николай I недоумевает, так в чем же дело, отчего брат не принял меры?

Действительно, вообразим, что Петр I или Павел получили подобную бумагу: расправа была бы краткой и отчетливой. Но здесь...

Здесь царь сам «разделял и поощрял мечты и заблуждения». К тому же Александр, когда ему было 23 года, был ведь в заговоре против своего отца Павла, как эти молодые офицеры против него.

Он, Александр, обещал реформы, перемены, но сделал очень мало, *обманул*.

Проект конституции под спудом, план освобождения крестьян под спудом, дальняя филантропическая цель военных поселений никому не заметна, зато более чем очевидна их кровавая повседневность.

Старые мечты царь называет «заблуждением»; но ведь всего полтора года назад Чаадаев (как раз через Васильчикова) передал Александру смелое стихотворение Пушкина «Деревня», и Александр велел передать автору «искреннюю благодарность за выраженные в стихах чувства»:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

Автор стихов, впрочем, в 1820-м выслан из Петербурга; формула же «не мне быть жестоким» звучит благородно, однако — маскирует великий страх. Страх грядущего и уже начавшегося отмщения.

Прибавим, что Александр I видел перст судьбы и в отсутствии у него детей, и в многолетнем разладе с женой, и в неверности возлюбленной Марии Нарышкиной...

Страх заговора, повседневные опасения. Как у отца, Павла, имевшего, как мы знаем, для того немалые основания.

Но отчего бы не дать конституцию и не освободить крестьян хоть с малым наделом?

Как и при Сперанском, дело — в опасности «справа», в потенциальной угрозе со стороны высшего дворянства, бюрократии, аппарата, которые имеют средства остановить и убить самого абсолютного монарха...

Однако если ничего не давать — тогда угроза «слева»: план Якушкина, Семеновская история, европейские революции (царь подозревает их связь с русскими), тайные съезды заговорщиков, обширные списки влиятельных деятелей Союза благоденствия.

Более того, царь, кажется, уже не знает, кто справа, кто слева, нет ли причудливого единства действий *всех против одного?* В самом деле, декабристов возмутили большие уступки, сделанные Польше, они были обижены за Россию и готовы отомстить; но ведь через Польшу, через Варшаву Александр планировал провести освобождающие акты: но что же выходит — революционеры против либеральных реформ?

Одновременно против польских авансов Александра выступает и благородный консерватор Карамзин, которого нельзя заподозрить в связях с офицерским заговором.

Другой пример всеобщей путаницы: Бенкендорф подозрителен, потому что дружит со многими гвардейскими вольнодумцами, среди которых, например, декабрист Волконский. Академик М. В. Нечкина заметила, что в одной из ранних декабристских организаций действовал некий флигель-адъютант Б., в котором угадывается будущий шеф жандармов; мало того, Бенкендорф привез с Запада проект переустройства «высшей полиции». Мы не ведаем, как далеко граф продвинул свои идеи, но, без сомнения, познакомил с ними царя, министров. И не был одобрен. Инициативная полиция, которая должна была бы состоять (как утверждал Бенкендорф) из энергичных, молодых офицеров,— это ведь реальная власть; и Александр, кажется, заподозрил здесь попытку в декабристском духе — влезть, вторгнуться, просочиться в разные сферы общественной жизни: просвещение, экономику, государственное управление — и, таким образом, медленно, но верно завладеть всем.

Напомним любопытную по точности оценку, сделан-

ную позже Максимом Яковлевичем фон Фоком, видным полицейским деятелем, правой рукой Бенкендорфа: «Первоначально составленный ими (заговорщиками) *Союз благоденствия* был в нравственном отношении гораздо извинительнее последовавших замыслов и покушений; но в отношении государственном, политическом — гораздо оных опаснее... Тайное общество людей, полагающих или хотящих быть добродетельными, действующее тихо, медленно, но верно, под благовидными предлогами вооружающее против явных злоупотреблений, жертвующее общему благу собственным достоянием и проч., есть опасный внутренний нарост, который со временем, нечувствительно, без видимых потрясений, может задавить государственную жизнь или, сделавшись орудием злодейства, ниспровергнуть правительство, мало-помалу лишенное им уважения, доверенности и силы».

Возможно, это даже говорилось со слов самого Бенкендорфа; шеф жандармов так хорошо во всем разбирался, в частности, потому, что Александр I и его самого подозревал в потаенном замысле — «облагораживая» полицию, постепенно захватить ее, превратить в орган тайного союза. Не оттого ли он разгневался на Бенкендорфа, когда тот принес «список» Грибовского?

В этом же духе — и восклицание Александра насчет людей, способных «прокормить Смоленскую губернию»: казалось бы, что тут плохого? При Екатерине II, в начале александровского царствования, когда Сабанеев был молод, вряд ли высшая власть увидела бы здесь нечто дурное: наоборот, как хорошо, что просвещенные дворяне кормят, успокаивают целую губернию! В ту пору, повторим, общество и власть еще вместе — пусть со скрипом, взаимными обидами — но вместе. Дворянская интеллигенция в общем — за власть, хотя «их союз даже в XVIII столетии удивителен» (Герцен).

Люди, кормящие голодную губернию без царя,— это власть; но любопытно, что Якушкина, Фонвизина, декаб-

ристов-заговорщиков, единомышленников Раевского, хвалит за их инициативу, столь напугавшую царя, не кто иной, как генерал Ермолов — отнюдь не революционер, но мыслящий, благородный представитель отцов, ровесник и приятель Сабанеева.

Создается впечатление, что разные группировки, разные поколения готовы сомкнуться...

Как это было при Павле I.

Перед 1801 годом люди с конституционными замыслами соединились с военными и штатскими, которые ни о чем подобном не помышляли, но просто были недовольны режимом.

Александр I помнит о том могучем единодушии, которое снесло с престола его отца и вознесло его самого; помнит и опасается повторения. Один военный тонко заметил, что правительства всегда готовятся «к минувшей войне»; иначе говоря, в будущих событиях отыскивают контуры того, что уже когда-то бывало. Поэтому Александр I приглядывается и к якушкиным, раевским — и к ермоловым, сабанеевым. Приглядывается и не доверяет, подозревая сговор...

Что же предпринять монарху, столь ослабленному просвещением, сомнением, подозрением?

Лагарп убеждал его, что противников не так уж много. В самом деле — посчитаем.

Правящий слой обычно составляет один-два процента населения страны; применительно к России того времени — примерно полмиллиона человек; основная часть этого слоя — опора монарха, люди, субъективно ему преданные, но ожидающие за то и от самого царя взаимности, охраны крепостнических привилегий. Верхний, бюрократический пласт, разумеется в самом грубом приближении, обычно составляет в свою очередь «один процент от одного процента», то есть в 1820-х годах примерно пять-

шесть тысяч человек. Число как будто небольшое, всего несколько полков, но за каждым здесь — огромные силы, невидимые нити управления. Эти пять-шесть тысяч — министры, члены Государственного совета, губернаторы, генералы, дипломаты, высшее духовенство. Они концентрированно выражают интересы целого сословия, обладая огромной материальной и духовной силой.

Как самодержавному монарху лучше поладить, приспособиться или справиться с этими молчащими, кланяющимися, но хорошо знающими свой классовый, политический интерес людьми, которые в большинстве уверены, что с реформами *не надо торопиться?* Как регулируются отношения престола с аппаратом?

История знает несколько острых ситуаций, когда верховная власть, желая провести серьезные реформы, лучше понимала интерес своего класса, чем высшая бюрократия; ей, высшей власти, «сверху виднее»,— и, двигаясь вперед, она должна преодолевать консервативную, страшную угрозу справа.

Бывали случаи, когда прогрессивные деспоты преодолевали противодействие аппарата угрозою «снизу», поддержкой народа. Совсем недавно высшая бюрократия, генералы и офицеры, свергавшие Павла I, больше всего боялись, что царя защитят солдаты, очень преданные этому царю (при всей муштре они были довольны и улучшением «харчей», и растерянностью офицеров, изгоняемых, избиваемых царем). Народ, преданный абстрактному царскому имени, всегда готов разорвать министров и дворян, посягающих на императора; однако этот путь использования «разгоряченных масс» Лагарп своему ученику строжайше запрещал.

Перед ними был пугающий опыт французской революции, когда, по словам Гете, толпа стала тираном толпе.

Если «народный гнев» использовать рискованно, то можно обратиться к методам Петра Великого: реакцион-

ный аппарат — боярскую думу, приказную систему царь-реформатор преодолел созданием параллельного, второго аппарата: новые учреждения (гвардейские полки, Сенат, коллегии) существовали вместе с некоторыми старыми — и постепенно отбирали у них власть. Важную роль здесь сыграло и перенесение столицы, уход нового правительства в другой город, тогда как старый аппарат остался в Москве.

Александр I, как уже говорилось, думал об использовании опыта своего прапрадеда, собираясь объявить новые реформы не в Петербурге, а в Варшаве. Кроме того, царь поручал разработку разных законов некоторым министерствам и ведомствам, тщательно скрывая этот факт от других сановников.

Однако в начале XIX века аппарат был отнюдь не столь ветхим и слабым, как за сто лет до того; да и праправнук Петра не столь решителен, как предок, и вроде бы ослаблен петровским просвещением. Ведь если постараться перевести планы Александра на петровский язык, то следовало бы сделать вот что: царю («по инструкции Лагарпа») обратиться к молодым офицерам вроде Раевского; не забывая о разумных, прогрессивных полковниках и генералах, приблизить, скажем, Пестеля, Лунина, Волконского, Муравьевых, а также Ермолова, Воронцова, Сабанеева и других командиров «с густыми эполетами»; вслед затем царь мог бы «совершить государственный переворот», опираясь на декабристов и прогрессистов, и тогда бы вдруг открылось, что конституционный проект Новосильцева очень похож на конспиративные планы Северного общества, а личная свобода и две десятины земли, даруемые крестьянам «по Аракчееву», не так уж противоречат личной свободе и двум десятинам земли по Никите Муравьеву...

Утопия, чистая утопия. Впрочем, мыслящий майор Раевский незадолго до своего ареста как раз рассуждал

об удавшихся и неудавшихся «революциях сверху»: получилось у Петра Великого в начале XVII века и не получилось в Турции, где султан Селим III и его прогрессивный великий визирь были в 1807—1808 годах свергнуты и задушены.

Понятно, Раевский тут же занимается «переводом с турецкого на русский», но выводов не делает, только задает вопросы: насчет разного «расположения обоих народов» и других причин, «которые в обоих предприятиях, стремящихся к одной цели, произвели столь противоположные следствия».

Александра I остановил страх, ощущение опасности, угрожающей со всех сторон; как в сказке: «пойдешь направо — голову потеряешь», потому что убьют «слева», восстанут пестели, раевские. «Пойдешь налево — опять же голову потеряешь»: убьют те самые пять-шесть тысяч «верхних бюрократов» с согласия десятков тысяч крепостников...

Тут невозможно, однако, не вспомнить, что утопическая «александровская революция сверху» позже чуть не слилась с другой утопией, шедшей как бы снизу: несколько лет спустя Пестель, утомленный длительным ожиданием революции и противоречиями среди заговорщиков, задумал явиться к царю и открыться: представить всех заговорщиков в обмен на милость, реформы, прогресс...

Близко, как близко! И с царской стороны, и с революционной — дворяне, гвардейцы; еще чуть-чуть — и, по словам Пушкина (записанным в 1822 году), «желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы».

Однако ничего этого не произошло: пропасть шириною во много десятилетий оказалась непреодолимой.

Итак, у порога 1820-х годов Россия имела просвещенного императора — победителя Наполеона, тайно мечтавшего о реформах, но смертельно боявшегося их осуществления.

Россия имела сильную, реакционную дворянскую бюрократию, не желающую новой «европейской прививки» — освобождения крепостных.

Россия имела разветвленный заговор тех молодых людей, которых несколько лет спустя назовут декабристами; людей, готовых освободить народ и страну путем военного восстания.

Сверх того, русское общество включало сотни людей просвещенных, достаточно честных, которые не причисляли себя ни к одной из резко определившихся общественных групп — ни к революционерам, ни к «невеждам»: жили, служили, хотели добра и сами не знали, не предполагали, куда занесут их исторические ветры...

Теперь, определив в нашем длительном отступлении «обстоятельства времени и образа действия», мы можем возобновить рассказ о двух героях нашего повествования.

ВИТГЕНШТЕЙНОВЫ ДРУЖИНЫ

Но там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Тульчина,
Где Витгенштейновы дружины
Днепром подмытые равнины
И степи Буга облегли,
Дела иные уж пошли.

(Х-я сожженная глава «Евгения Онегина»)

Витгенштейн, в 1818 году заменивший на посту командующего 2-й армией знаменитого генерала Беннигсена

(одного из главных убийц Павла I), располагался вместе со штабом в маленьком городишке Тульчине, традиционном, начиная с Суворова, центре управления войсками на юго-западе империи. Армия в ту пору — самая большая воинская единица: кроме 2-й армии в России имелась еще только 1-я, а также ряд отдельных корпусов (Гвардейский, Кавказский, Литовский).

Вторая армия, сверх отдельных подразделений, прямо подчиненных командующему, делилась на два корпуса, 6-й и 7-й (нумерация корпусов по России была единая). В каждом корпусе — две или три дивизии, в дивизии — четыре полка, в полку — четыре батальона, в батальоне — четыре роты, а всего с кавалерийскими, вспомогательными и прочими частями в корпусе примерно 20 тысяч, в армии — 50 тысяч человек (в военное время — больше).

В мирное время 6-й корпус располагался на обширном пространстве — между Черным морем, Прутом, Днестром и Бугом; далее, к востоку и юго-востоку, у Днепра и в Крыму, раскинулся 7-й корпус.

Далеко от столицы, вблизи неспокойной турецкой границы, в экзотическом краю, лишь недавно присоединенном к империи.

Тысяча восемьсот лет назад здесь был северо-восточный предел Римской империи; теперь — юго-западный край Российской.

В «прифронтовом краю», на стыке российских и турецких владений, понятно, нужны боевые, опытные, деятельные генералы и офицеры — такие, которые своей самостоятельностью и энергией сильно беспокоили бы царя вблизи дворцовых крепостей Санкт-Петербурга.

Как уже говорилось, 23-летний Владимир Раевский попросился в отставку от ран, посетил курское имение отца, повидал братьев, сестер — и довольно скоро вернулся в службу. Отец посоветовал не останавливаться на майорском чине, чтобы хоть отца превзойти. К тому же черно-

земного имения на всех явно не хватает, в армии больше жизни, общения, энергии, духа.

Именно в эту пору майор начал кое-где печатать свои стихи, и опять же не сомневался, что в полках найдет больше ценителей, чем в Старо-Оскольском уезде...

К тому же — тайный союз, который требовал *дела*.

Странное, с виду бесполезное, а на самом деле весьма и весьма важное занятие — разгадывать, разыгрывать несбывшиеся исторические варианты.

Много лет нас учили, что историку негоже рассуждать, «что было б, если бы...». Подозреваем, что наставники таким способом прежде всего стремились нас убедить, что «все действительное разумно», а прочее — «от лукавого»: опасные сомнения в единственности того, что произошло. Скажем, коллективизации, тирании, террора...

Сегодня, наоборот, мы любим словечко «альтернатива», гадаем на прошлом, стараясь его оживить и даже исправить.

Споры о сбывшемся и несбывшемся легко переносятся в прошлое и позапрошлое столетия.

Что было бы, если б Наполеон отменил крепостное право...

Если б декабристы победили...

Конечно, знание того, что произошло, мешает нашему воображению, оказывая на него «обратное влияние». Мы столь привыкли к сосланным, разжалованным декабристам, что все же не очень легко представляем тех поручиков, капитанов, майоров — министрами или главнокомандующими.

Генерал-майор Михаил Федорович Орлов семнадцать последних лет жизни — в опале, под надзором, угасающий в мелких делах и пустых спорах:

Михаил Федорыч Орлов
И Петр Яковлич Чадаев

Громят из Клуба град Петров,
Витийствуя меж дураков,
Разбойников и негодяев.

Меж тем аристократ, племянник екатерининского фаворита Григория Орлова, а также Алексея Орлова (другого фаворита, убийцы Петра III), Михаил Орлов в 1814 году принимал капитуляцию Парижа; это российский рыцарь, задумавший на заре тайных обществ соответствующий рыцарский орден; потом заметное лицо в декабристских союзах, а также в литературном обществе *Арзамас*, где известен под кличкой Рейн. В январе 1821 года на Московском съезде тайного общества (как поведал точный мемуарист Иван Якушкин) Орлов вдруг, совершенно неожиданно для большинства сотоварищей, предложил «самые крутые меры»: «Во-первых, он предлагал завести тайную типографию или литографию, посредством которой можно было бы печатать разные статьи против правительства и потом в большом количестве рассылать по всей России. Второе его предложение состояло в том, чтобы завести фабрику фальшивых ассигнаций, чрез что, по его мнению, Тайное общество с первого раза приобрело бы огромные средства и вместе с тем подрывался бы кредит правительства.

Когда он кончил чтение, все смотрели друг на друга с изумлением. Я наконец сказал ему, что он, вероятно, шутит, предлагая такие неистовые меры».

Якушкин подозревал, что генерал искал повода — расстаться с заговорщиками: «Помолвленный на Раевской, в угодность ее родным он решился прекратить все сношения с членами Тайного общества; на возражения наши он сказал, что если мы не принимаем его предложений, то он никак не может принадлежать к нашему Тайному обществу».

Пройдут годы, и советский историк Семен Ланда обратит внимание на неизвестные или «хорошо забытые»

документы, которые свидетельствовали, что Орлов имел весьма серьезные намерения: вот-вот вспыхнет греческое восстание против турок, разные европейские страны накануне новых революций. «У нас,— писал Орлов одному из близких друзей,— что-то возгорается похожее на предвозвещение большого пожара».

Начав с помощи грекам, легко переложить ружье «с одного плеча на другое»: «Ежели б 16-ю дивизию пустили на освобождение, это было бы не худо. У меня 16 000 под ружьем, 36 орудий и 6 полков казачьих. С этим можно пошутить».

Особенно если пустить по России тысячи воззваний и фальшивые ассигнации...

Орлов готов на такие меры, которые другие декабристы по нравственным и тактическим причинам принять не могут. И нет никакого противоречия в генеральском: «Или соглашайтесь, или уйду в частную жизнь!»

Нам никогда не узнать, как пошло бы дело, если б на Московском съезде Якушкин и его единомышленники согласились, что с 16-й дивизией можно и должно «пошутить»; если б греческий бунт, начавшийся весной 1821-го, соединился с русским. Александр Ипсиланти с Михаилом Орловым...

Несбывшееся, которое, однако, в течение многих месяцев определяло планы и поступки многих людей. Подобно тому как самая фантастическая идея, суеверие, даже бред — это ведь нередко реальное мнение, из которого люди исходят: в этом смысле для истории они часто важнее самых правильных, объективных знаний и понятий.

Кишиневские заговорщики, «генерал-шутник», пока идея не совсем умерла,— нуждались в людях. Тех, кто в «час икс» возглавят полки, дивизии, армии.

Орлов расходится с товарищами на Московском съезде — но совсем бросить Дело не в силах.

Время ли молодому майору в курской деревне отсиживаться?

«Формулярный список о службе и достоинстве майора 32-го егерского полка В. Ф. Раевского, 1821 года:

Майор Владимир Федосеев сын Раевский. Ордена св. Анны 4-го класса кавалер и золотой шпаги с надписью «За храбрость», и в память 1812 года имеет серебряную медаль.

32 лет.

Из дворян Курской губернии.

Немецкому, французскому языкам; артиллерийскую и фортификационную науки знает.

В штрафах и по суду не бывал.

Холост.

К повышению достоин.

Подлинный подписали командир 32-го егерского полка полковник Непенин и дивизионный командир генерал-майор Орлов. С подлинным верно: генерал-лейтенант Сабанеев».

48-летний Иван Васильевич Сабанеев командует 6-м корпусом, его штаб в Тирасполе. Майор Раевский — в молдавских степях, затем в Кишиневе, в 70 верстах от корпусной квартиры. Он числится здесь с июля 1820 года.

Два месяца спустя в том же Кишиневе появляется переведенный сюда на службу к генералу Инзову, а по сути дела — сосланный 21-летний чиновник Александр Сергеевич Пушкин.

За полгода до того к Витгенштейну в Тульчин прислан начальник штаба армии молодой (32 года) просвещенный Павел Дмитриевич Киселев.

Кроме Орлова, командира 16-й дивизии (одной из двух, составляющих 6-й корпус), полковник Непенин, непосредственный начальник Раевского, тоже член декабристского Союза благоденствия. Здесь же в Кишиневе капитан Охотников, который неминуемо заслужил бы каторгу и ссылку в 1826 году, если б не скончался на два года раньше...

Главные действующие лица выстраиваются на своих местах, вступая в роковую драму, с которой мы начали наш рассказ и к которой почти вернулись.

БОГИНЯ АСТРЕЯ

Один из знаменитейших деятелей старшего поколения и главных «авторов» московского пожара 1812 года, граф Федор Ростопчин, вступает в заочный спор с Раевским.

Майор: «Назад тому года с два попалась мне в руки тетрадь «о необходимости рабства в России». Четкими словами имя Ростопчина, как сочинителя, было означено на обертке. Странно и досадно русскому читать такой сброд мыслей и суждений; если можно допустить, что сочинитель рассуждать умеет, то все, что можно было понять из этого хаоса литер и слов,— все состояло в том, что господские крестьяне пользуются всеми выгодами, каких и самый век Астреи не представляет нам.

Между тем как эти счастливцы в изорванных рубищах, с бледными, изнуренными лицами и тусклыми взорами просят не у людей, ибо владельцы их суть тираны, но у судьбы — пищи, отдыха и смерти».

Астрея — древняя богиня справедливости, и от нее не укроется, что «русские сделались рабами, и мы, чье имя и власть от неприступного Северного полюса до берегов Дуная, от моря Балтийского до Каспийского дает бесчисленным племенам и народам законы и права, мы, внутри самого нашего величия, не видим своего унижения в рабстве народном».

Майор не сомневается, что смог бы и монарха воспитать в своем духе: «Александр в речи своей к полякам обещал дать конституцию народу русскому. Он медлит, и миллионы скрывают свое отчаяние до первой искры. О, если бы его взоры могли обнять все мною сказанное, он не медлил бы ни минуты».

В Ленинграде, в Архиве Академии наук, сохранилась большая коллекция подлинных документов и копий, принадлежавших некогда историку и генералу Николаю Федоровичу Дубровину. Среди тех бумаг — немало любопытных текстов 1820-х годов.

Сабанеев — Киселеву (5 октября 1821 года): «Можете делать добро... Мы все пред вами мишурные цари. Что могу я сделать без помощи вашей? Что значит 33-летняя моя служба и четыре раны? Сколь мне такое уничижение чувствительно, столько вам доверенность царская должна быть приятна».

Павел Дмитриевич Киселев для Раевского чрезвычайно высокий начальник, а для Сабанеева — непосредственный (хотя Киселев еще генерал-майор, а Сабанеев давно генерал-лейтенант).

Недавно вступивший в должность начальника штаба 2-й армии, Киселев старше Раевского на семь лет, но на 16 лет моложе командира 6-го корпуса — едва не годится ему в сыновья.

Сначала старики, Витгенштейн и Сабанеев, приняли Киселева настороженно («знаем мы этих молодых!»); правда, он сражался и в 1807-м, и в 1812-м (имеет Анну за Бородино), но не понравился своему знаменитому шефу графу Милорадовичу; зато умел очаровать высочайших особ: сначала влиятельную прусскую королеву Луизу, которая благоволила к ней прикомандированному высокому, красивому, остроумному офицеру; затем — редчайшая вещь! — Киселев вызвал доверие самого Александра; молодой офицер был умен и догадался, как завоевать уважение высочайшего лица. Царь, например, предлагает Киселеву выгодную аренду и слышит в ответ: «Вы, государь, охотно даете аренды, но не уважаете тех, кто их берет». Записку о необходимости постепенного освобождения крепостных Киселев подал монарху как раз тогда (1816 год), когда Александр о том же размышлял.

Вслед затем Киселев «обаял» даже человека, еще не подозревающего, что ему быть следующим императором: во время помолвки великого князя Николая с прусской принцессой Шарлоттой (дочь «прекрасной Луизы»!) Киселеву было поручено сопровождать жениха, и меж молодыми людьми возникла если не дружба, то немалая приязнь...

Однако придворные успехи, большие столичные связи Киселева — это как раз и тревожит бывалых генералов южной армии; может быть, они уже знают рукописное стихотворение Пушкина, который знавал Павла Дмитриевича еще в Петербурге:

На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;
За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего.

Так или иначе, обиженный Витгенштейн секретным письмом просит царя об отставке, а верные друзья Киселева, генералы Закревский и Алексей Орлов, об этом узнав, тайком информируют самого Киселева и советуют ему «умерить свой нрав», не раздражать стариков; сверх того, Закревский извещает 32-летнего начштаба, что «Пестель, адъютант (Витгенштейна), все из него делает: возьми свои меры»; когда же Киселев ворчит, что «Лимон человек, конечно, честный, но эгоист отличный», Закревский очень и очень советует на «Лимона — Сабанеева» опереться, ибо — «пречестный человек»...

И вот несколько месяцев спустя Сабанеев уж явно расположен к молодому начальнику; у них обнаруживает-

ся много точек совпадения, в частности насчет *добра*, которое в армейской жизни прежде всего — добро к солдатам.

«В России военный класс составляет как бы отдельную часть *народа*. Другие законы, другие обязанности и совершенно другой образ мыслей отделяют его от *гражданина*... С 18 до 30 лет суть лета, когда человек известного роста и крепкого сложения принимается в службу военную. И в эти лета вдруг, оставя семейство, земледельческое состояние и навык к сей единообразной жизни, он клянется царю и службе на 25 лет сносить труды и встречать мученья и смерть с *безмолвным повиновением*. Клятва ужасная! Пожертвование, кажется, невозможное!»

Это запись Раевского.

25-летняя служба, после которой лишь один из двух здоровых молодых мужиков возвращается домой; и так полтора века, сотни миллионов солдато-лет...

Иначе, впрочем, эта империя не могла бы существовать: армию по домам не распустишь, дороги ужасные или просто отсутствуют, в случае войны потребуются месяцы для сбора — поэтому надо держать огромное войско в кулаке (может быть, наша советская всеобщая воинская обязанность — наследие «старинного обычая»: одновременная огромная армия кажется более надежной).

Зато — войско ненаемное, национальное и особенно — бескорыстно храброе.

«В 1821 г., при содержании караула в Аккермане, во время сильной вьюги я велел фельдфебелю всех кавалеров и сильно раненных сменить с часов и ставить на открытых постах молодых и крепкого сложения солдат. Один из 12 кавалеров пришел от имени прочих сказать, что они считают за стыд увольнение от службы. «Мы не лазаретные служители»,— сказал он, улыбаясь. И я с восторгом заметил все благородство прямодушных солдат».

Эх солдатское житье —
Горемычное вытье.

Хуже каторги оно:
Очень больно солоно.
Ты прощай, моя родня,
От сегодня навсегда!
Умереть тебе — пока я
Отслужу свои года!

(Песня)

Из 2-й армии нередко бегут от невыносимой службы в Турцию; случается, нарочно совершают преступления, чтобы уйти в ссылку, которая все равно лучше солдатчины.

Раевский: «Вот сравнительная и достоверная таблица наказаний, которые определяет воля капитана и сила законов.

По суду: за первый побег рекруту — 500 шпицрутенов. Старому солдату — 1000. За воровство, по воле капитана,— 50 ударов; за ошибку на ученье — 300... За то, что ремень не вычищен,— кавалеру 100 палок; за то, что усы не нафабрены,— избит часовой».

И тут легко обнаруживаем согласие корпусного командира с начальником штаба армии. И с майором Раевским.

Объезжая подчиненные дивизии и полки, генерал Сабанеев сначала отправляется в 17-ю дивизию, которой командует образцовый аракчеевец генерал Желтухин: убрать его нельзя, ибо имеет сильную заручку в столице — старшего брата, важную персону в военном министерстве. Путешествуя, Сабанеев постоянно делится впечатлениями с Киселевым:

«Какого ожидать успеха там, где сам дивизионный командир бьет солдат по зубам».

«Нельзя без сердечного сокрушения видеть ужасное уныние измученных учением и переделкой амуниции солдат».

«Все усилия честных начальников недостаточны: нужна законная система для управления войск. Пора, давно

пора! Ныне черный дух Семеновского полка осенит всю армию... Все сводится к наружности, учебному шагу, выправке и прочее».

«Желтухин-плакса надоел, занимается каким-то плоским ранцем и радуется его плоскости... Чудо-богатырь! Ахти, как мы, мол, готовы к войне!»

Сабанеев, конечно, не просто информирует Киселева, но надеется на его столичные, вельможные связи против лихого Желтухина; Киселев, впрочем, не очень торопится с донесением в Петербург (дипломат!), но специальной запиской извещает командующего армией, что «коренные военные учреждения наши должны быть пересмотрены людьми опытными и приспособлены к нынешнему положению вещей — просвещению XIX столетия».

Сабанееву, понятно, куда больше нравится положение в дивизии Орлова (хотя, естественно, не знает потаенной биографии и недавних речей генерала на Московском съезде). Впрочем, даже командира 16-й дивизии корпусной критикует «слева»: «Я, право, не понимаю Орлова. Говорит солдатам, что он запрещает их наказывать, и — жалеет того, кто их тиранил,— дело непонятное».

Речь идет о некоем офицере Ширмане, «охотнике палочного ремесла». Командир корпуса на месте Орлова беспощадно расправился бы с ним: «В течение службы моей я видел таких, которые дрались сильно потому только, что их самих драли... Я его не иначе разумею, как тирана, а тех ближайших командиров, где он служит, бабами, которые для своего спокойствия допускали Ширмана тиранить людей».

С ужасом и гневом корпусной командир воспринимает слухи о приближающемся большом царском смотре: даже у Орлова «много забот для смотра, мало что для истинной пользы»; а уж Желтухин сдерет еще по шкуре с каждого солдата: «Если не будет войны, так будет смотр. Лично для меня последнее хуже первого...»

Картина вроде бы ясная: боевой, опытный генерал

суворовско-кутузовского закала с трудом переносит новые порядки; кроет «шайку разбойников», «подлых рабов»; Аракчеев для него едва ли не ругательство. Сохранилось огромное количество писем, которыми в начале 1820-х годов обменивались боевые генералы 1812-го и более ранних лет — Закревский, Воронцов, Ермолов, Денис Давыдов, Сабанеев (недавно всю их совокупность изучил молодой историк М. А. Давыдов).

Начальника Главного штаба Петра Волконского друзья-генералы именуют Петроханом. Аракчеев чаще всего — Змей: «Не грустно ли видеть каждому благомыслящему человеку, какое влияние сей гнилой столб имеет на дела государственные?»

Аракчеев недоволен выправкою одного батальона — Сабанеев комментирует: «Раб и льстец осмеливается говорить государю, что не поверил бы, что в победоносной армии Его Величества есть такой слабый по фронтовой службе батальон, как будто фронтовая механика есть необходимость для победы? Кто служил, тот знает, что для победы нужно. Сей столь опороченный батальон, конечно, не обеспокоил бы собою победоносной армии, токмо не под начальством Аракчеева и Клейнмихеля». Генерал считает, что мало «таких молодцев» просто понизить: «Как говорил Суворов, недорубленный лес опять вырастает». Еще слово-другое — и, кажется, зазвучит призыв к революции!

В одном из самых злых, можно сказать, художественно сильных посланий Киселеву Сабанеев признается, что опасается «поверить бумагам мысль мою», однако тут же решается задеть *Самого:* «А как государь видит одну только наружность, то все прочие ни о чем другом не думают... Тиранство стало необходимым: учебный шаг, хорошая стойка, быстрый взор, (ружейная) скобка против рта, параллельность шеренг, неподвижность».

Дело доходит до того, что хитрый Киселев, не желая портить отношений с командиром 6-го корпуса, но опа-

саясь, что сиплый голос Сабанеева услышат в Петербурге,— 14 января 1821 года пишет секретное послание другу-начальнику Закревскому с просьбой приструнить *Лимона*, «который говорит и пишет, что ученье для него статья последняя и в военном деле не нужная и что он служит не для парадов и смотров... Все сие он может думать, но толковать офицерам не следует».

Закревский дружески Сабанеева одернул, но тот, не догадываясь о «полудоносе» Киселева, все же не оставил без возражения и самого дежурного генерала Главного штаба: «Писал, говорил, писать и говорить буду: первая мысль, будто бы государь требует доведения войск по фронту с пожертвованием их здоровья и украшения полков на счет их желудка, есть истинное оскорбление величества». Закревскому были посланы даже стихи, сочиненные одним бежавшим солдатом про своего фельдфебеля:

Хоть и сам того не смыслит,
А по зубам небось славно чистит.
Не за дело, а напрасно,
Со стороны смотреть ужасно.

Генеральские мысли о *Змее, гнилом столбе*, разумеется, подхвачены лучшими из офицеров.

Раевский: «Воронцов позволил обиженному прямо приходить к себе... уничтожил побои, и никогда Отдельный корпус в чужой земле (во Франции) не мог бы иметь лучшей дисциплины и быть в лучшем устройстве при самой палочной администрации!»

Преследование, «неуважение» знаменитых генералов — один из главных обвинительных «пунктов» против правительства.

Уважение, неуважение... За две с лишним тысячи лет до того философ Антисфен мыл овощи и вдруг уви-

дел Аристиппа рядом с тираном Дионисием: «Аристипп, если бы ты довольствовался такой пищей, как я, то тебе бы не пришлось следовать за тираном»; на что Аристипп возразил: «А если бы ты мог запросто беседовать с тираном, то не довольствовался бы такой пищей».

Две тысячи лет спустя Киселев — Витгенштейну: «В Риме господствующий народ наказывал диктаторов, консулов и сим оставлял право взыскивать с подчиненных их. У нас берегут вельмож, начальников и наказывают... подвластных им. Переменою правила сего многое в службе переменится, и я удержусь от примеров, которые привести могу в подпору истины сей».

Из офицерских анекдотов тех лет: один генерал «аракчеевско-желтухинского покроя» похвалил лошадь поручика; тот благодарил: «Действительно, Ваше превосходительство, наша репутация зависит от скотов!»

Итак, старшие и младшие недовольны; Сабанеев в любой момент готов в отставку, хотя средств, кроме службы, почти не имеет...

Сабанеев, Орлов, Киселев, Раевский — против Желтухина, Аракчеева; против генерала Вахтена, жестокого аракчеевца, поставленного начальником штаба при Сабанееве; к тому же в окружении Киселева — Пестель, Бурцев, Басаргин и другие заговорщики.

Общий язык...

Если он находится, то разгоряченные массы, от рыцаря до крестьянина, от паломников до мальчишек,— все идут в крестовый поход.

Или — в Англии XVII века, когда, за малым исключением, помещики, буржуа, ремесленники, земледельцы находят общий язык и легко свергают монарха; разумеется, у объединившихся всегда есть разнообразные противоречия, но мы почему-то толкуем о них куда больше, чем

о союзе (пусть временном) самых разных общественных групп.

Общий язык: каков он в России 1820 года? Гуманные, патриотически настроенные, прогрессивные генералы-*отцы* и офицеры-*дети*. К тому же все почти — товарищи по 1812 году, что, конечно, немало.

Если бы Орлов поднял весь Юг своею дивизией, если бы молодые офицеры взяли власть, тогда, конечно, многие из *сабанеевых* примкнули бы...

«Кто были ваши сообщники?» — спросил судья генерала Мале, пытавшегося свергнуть власть Наполеона. Генерал отвечал: «Вы и вся Франция, если бы я победил».

Много лет спустя весьма многознающий Александр Иванович Тургенев занесет в дневник: «Ермолов, (Алексей) Орлов, Киселев все знали и ожидали: без нас дело не обойдется».

До «полной перемены правления» оставалось, однако, не один-два года, как многие думали: побольше...

Пока что Сабанееву не велят в отставку идти, и надо отыскивать средства к уменьшению побегов, когда солдаты предпочитают турецкий плен желтухинскому. Средства вроде бы простые: меньше бить, судить по закону, не грабить; уметь с солдатами поговорить.

Сохранились любопытные наставления — «катехизис» для солдат, составленный Сабанеевым:

«Быть вежливу к деревенскому мужику делает честь ему самому и его родителям.

Быть бодрым прилично всякому: мы и в бабе похваляем бодрость, а солдату бодрость должна быть природна.

Вообще плен — бесчестье для солдат, но храбрых солдат в плену неприятель уважает, почитает и содержит хорошо.

Кто грабит во время сражения, тот подлец и каналья».

Генерал рвет бороду у поставщиков дурной провизии, грозит им Сибирью.

Киселев в это же время докладывает главнокомандующему: «Каждый без разбора, от фельдмаршала до капрала, может бить и убить человека, то есть, как весьма справедливо говорит генерал Сабанеев,— у нас убийца тот, кто убил в один раз,— но кто забьет в два-три года, тот не в ответе... Начало вредных экономических способов (которые кражею назваться должны) происходит от самого правительства... Несколько лет назад кавалерийский гусарский полк давался как ныне аренда для поправления расстроенных дел».

Тут пора напомнить, что и Раевский, и его начальники — выходцы из университетов и других «питомников просвещения»: все они верят, что мерзости солдатской жизни в основном — от дикости и непросвещенности. Так возникает идея, план элементарного лицея для совершенно темных юнкеров: завтра им быть офицерами, а они, дворянские недоросли, ничего не знают — ни географии, ни истории, ни грамматики, ни нравственности... Да и грамотных солдат не вредно бы иметь поболе.

Как раз в эту пору, в 1816 году, по высочайшему повелению были командированы за границу несколько студентов для изучения тех чудес, которые, по многочисленным отзывам, творил в Англии замечательный педагог Джозеф Ланкастер. Простая идея заключалась в том, что достаточно выучить одного, нескольких, а они научат следующих,— и в Англии в 1811 году уж насчитывалось около ста ланкастерских школ с 30 тысячами учащихся.

Отсюда началась цепь событий, приведшая со временем к появлению не в самом английском на свете городе Кишиневе Ланкастерской улицы...

Идея таких школ кажется особенно привлекательной для той страны, где так не хватает учителей; и вот уж Киселев записывает, что «предложение генерал-лейтенанта Сабанеева по сему предмету заслуживает уважения»; и вот уж разрабатывается целый проект обучения нижних

чинов: «Грамотные унтер-офицеры весьма собою облегчают все сношения по службе, к тому прибавить должно, что, по прекраснейшему постановлению нашему, каждый из них имеет пред собою способ достигнуть до всего».

Киселев намекает на то, что грамотному открыт путь уж и в офицеры, то есть в дворянство; совсем недавно в Сибири грамотных преступников (даже убийц!) назначали на очень важные должности, ибо других грамотеев в округе на тысячи верст не наблюдалось.

По сохранившимся отчетам Сабанеева видно, что он просто мечтает о корпусных лицеях, но — не верит, что это возможно осуществить при столь безразличных, ленивых офицерах.

И сколь же приятно просвещенному скептику, возглавляющему 6-й корпус, что энтузиасты вдруг находятся. В «кондуитном списке» майора Раевского: «Какие знает иностранные языки.— Немецкий и французский. Имеет ли знания в каких науках.— Математические науки, историю и географию».

Меж тем в 32-м егерском полку, как и в сотнях других,— «на господ юнкеров, будущих товарищей наших, надо обратить особенное внимание. Эти члены и столбы (так!) отечества у нас в самой низкой доле! Чего можем мы ожидать от юношей, погрязших в распутстве, невежестве, и, будучи повреждены в начале,— ничего больше не обещают в будущем... пагубы самим себе, стыда мундиру, бесполезного бремя другим и отечеству».

Удивимся на минуту: зачем это все майору Раевскому и генералу Орлову, если вот-вот ожидается революция и просвещать Россию придется уж иными средствами?

На это у членов союза, точно знаем, был не один ответ. Во-первых, просвещение та же пропаганда, способ вербовки новых заговорщиков; во-вторых, заветный час наступить может завтра, а вдруг — через годы; заговорщики на Московском съезде скорее одобрят женитьбу Орлова,

чем «шутки» 16-й дивизии, прокламации, фальшивые ассигнации; однако нельзя же руки сложить, *чего-то* дожидаясь...

Раевский решительно берется за дело и делится подробностями с любезным другом-единомышленником капитаном Охотниковым (который тоже «педагогствует»):

«Мы выписываем 2 иностранных журнала и все русские, выписываем ландкарты и рублей на 500 книг,— вот тебе отчет об успехах...»

«Учу по методе ланкастерской. Чрезвычайно успевают. *По письмам из России я вижу, что эту методу хотят уничтожить, дабы не дать просвещению так быстро распространиться.* Итак, любезный, спеши, пока время, дать какие-нибудь понятия юнкерам. Я убеждаю тебя, а *отечество и обязанные будут тебе благодарны»*.

«Спешите делать добро»: славный российский пессимистический оптимизм; как много лет спустя в чеховских «Трех сестрах»: «Работать, работать!»

Надо работать, пока дают!

«Только было взошел я на кафедру (перед 9-ю егерскою ротою) и во имя Демосфена, Цицерона и Красса загремел о подвигах предков наших, о наших собственных подвигах и будущих наших подвигах, о Румянцеве при Кагуле, о Кутузове при Бородине, и только было полетел с Суворовым от Рымника по верхам альпийским, как Михаил Федорович (Орлов) обрезал или перерезал мой полет приказом своим за №, кажется, 34, и я, как Икар в воду, с тем различием, что Икар не командовал ротою, а я принужден остаться теперь командиром 50 или 60 человек настоящего папского войска».

Однако Орлов лишь временно помешал — отвлек учеников «на службу»,— вообще же он, конечно, и сам за «алую розу» (шутка тех лет, напоминающая, что в Англии XV века была война *Алой* розы, т. е. Ланкастеров, и Белой, т. е. Йорков). Орлов и Раевский — Ланкастеры; командир корпуса вроде бы тоже; но не успел Ра-

евский хоть немного развернуться («Большие буквы пишутся в начале всех собственных имен: Владимир, Святослав, Кассий, Брут, Пожарский, Франклин, Квирога, Мирабо, Александр, Иоанн, Кутузов, Суворов, Бонапарте»), как является зловещий начальник корпусного штаба генерал Вахтен.

«Приказы Орлова, кажется, написаны *были на песке!* Вахтен при смотре *разрешил* не только унтер-офицерам, но и ефрейторам бить солдат палками до 20 ударов!!! И благородный порядок обратили в порядок палочный».

Несколько позже злопамятный Вахтен обрисует Киселеву колоритную сценку, где педагог Раевский выглядит более авторитетным лицом в полку, чем командир, полковник Непенин.

«Господин Раевский самой первой степени либералист, ибо он 9-й егерской роте, которою командовал, всегда твердил, что (строевое) учение не должно быть, и слова равенство, свобода, независимость всегда им объяснял. Я при осмотре, в прошлую зиму, учебную команду его на первом шагу остановил и заставил взять ему кивер в руки и стать у дверей и не прежде говорить, пока его не спрошу, а то он Непенину не дал ни слова говорить».

Не умолкает майор и при полковнике, и при генерале.

Не здесь ли, не в этот ли момент следовало корпусному командиру поддержать майора, как исповедующего его собственную противопалочную веру?

Оба, майор и генерал-лейтенант, действуя сходно, вдруг выходят к барьеру, за который, если преступить, начнутся совсем новые дела и отношения...

Раевский: «С начала царствования кроткий, либеральный Александр под влиянием Австрии и Аракчеева потерял и любовь, и доверие, и прежнее уважение народа. Россия управлялась страхом. Крепостное право (как он обещал) не было уничтожено. Об обещанной конституции и думать нельзя».

«Как он обещал... Обещанное».

В другой раз опять записывается, что «государь император медлит дать конституцию народу русскому и миллионы скрывают свое отчаяние до первой искры».

Таким образом, майор и его единомышленники желают как будто лишь то, что «сам царь обещал».

Разве Александр не согласился бы, прочитав в бумагах Раевского: в Бессарабии «природные жители молдаване все без изъятия *свободны* и пользуются почти теми же правами, какими пользовались некогда поселяне русские... Фабрики и заведения наши, приводимые в действие рабами, никогда не принесут такой выгоды, как вольными, ибо там воля, а здесь принуждение, там договор и плата, здесь необходимость, там собственный расчет выгоды и старание, здесь страх наказания только».

Меж тем в упомянутом доносе Грибовского, где перечислялись заговорщики, царю советовали (и он не забыл) присмотреться и к ланкастерским заведениям: «Научивши простой народ и нижних воинских чинов одному только чтению, скорее подействовали бы в духе и по смыслу их маленькими сочинениями, начав самыми невинными: сказками, повестями, песнями и пр., чтобы их заохотить, чему и были сделаны опыты».

И тут самое время предложить читателю загадку — когда были написаны нижеследующие строки: «Ведь необразованность при наличии благонамеренности полезнее умственности, связанной с вольномыслием»?

Отвечаем: эти слова афинского демагога Клеона записал великий древнегреческий историк Фукидид за 24 века до Александра I, Сабанеева и Раевского.

ПРОПИСИ

Пока еще неясно, как все пойдет. Раевского инспектируют, Вахтен им недоволен, но по приказу Михаила Орлова майора повышают: с августа 1821 года переводят

из полковой школы в дивизионную — учить нижние чины, улучшать офицеров. Сабанеев не возражает.

Тексты, которые Раевский сочинял теперь для диктантов и упражнений, частично сохранились. Все вполне благородно и нравоучительно.

«Александр Великий, стольких государей и народов победитель, побежден был своим гневом; он все имел в своей власти, кроме страстей своих.

Не наслаждайся удовольствиями, кои стоят слез твоему ближнему...

Государь должен быть милостив, но законы должны быть строги...

Спросили одного ученого, каким образом он приобрел столько познаний: я не стыдился спрашивать, чего не знал, у тех, кто меня в том научить мог».

Тетрадки по географии — страны, реки, среди которых опять немалое место занимают названия из будущей жизни Раевского (впрочем, может быть, просто желание — вспомнить край, откуда произошел любезный друг Батеньков): Сибирь, Байкал, Ангара, Енисей...

География еще не совсем похожа на нашу, XX века: «Вся земля делится на 5 частей: на Европу, Азию, Африку, Америку и Южную Индию».

Как раз в эти месяцы, когда Раевский преподает элементарные науки, экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева открыла южный материк, Антарктиду, но в Кишиневе о том пока не знают.

Еще и еще мудрые, полезные суждения: «*Европа* делится на разные империи, королевства, республики и княжества. В каждом государстве свой *образ правления.*

Правление разделяют: на *самовластное, или деспотическое,* где один человек, именуемый государем, или императором, или королем, управляет по своей воле или прихоти; на *монархическое,* где государь управляет народом по установлениям или законам; *республиканское,*

где народ выбирает сам себе начальников и сам для себя делает законы... Конституционное правление есть то, что народ под властью короля, или без короля, управляется теми постановлениями и законами, кои он сам себе назначил, и представители от народа охраняют святость своих законов. Это правительство есть самое лучшее новейшее».

Последние строки запомним, из-за них майор еще натерпится; но это в будущем,— а покамест он диктует, что желает:

«В России ежегодно людей более рождается, нежели умирает. По климату народ здоровый, острого ума, способен к войне и коммерции».

«Народы в России разделяются на разные классы, кои суть: *Духовенство, Дворянство, Военные, Купцы, Мещане*».

«Крестьяне делятся на казенных, однодворцев и господских. Казенные и однодворцы имеют право записываться в купцы, и, не будучи связаны налогами и работою, они в России весьма богаты.

Господские крестьяне есть самый несчастный и беднейший класс в целой империи».

Рискует майор; может даже показаться, что глупо рискует; не потому ли, что ожидает *событий?*

Легко угадываем, как согласно закивали бы, прочитав и услышав «раевские диктанты», Орлов, Пестель, Охотников, Муравьевы-Апостолы. Как посмотрели бы Аракчеев, Желтухин, Ростопчин — тоже нет сомнений.

Но что скажет Сабанеев?

Если б история была двухцветной (декабристы — Аракчеев), как было бы просто! И как, признаемся, внедрилось в наше сознание — «кто не с нами, тот против нас».

Хотя более двух тысяч лет мудрецы толкуют о многообразных путях к истине.

Хотя Будда на вопрос, отчего середина лучше крайностей, отвечал, что с одного края другой не разглядеть, из середины же оба видны...

«Ликующие, празднобoлтающие», всезнающие — они любят простые решения, в которых не запутаешься: для них что Аракчеев, что Сабанеев; что Киселев, что Ростопчин; а уж про любого царя — одни простые бесхитростные восклицания, обличающие и одновременно угрожающие (в иные десятилетия — уж и доносящие!).

Нам же (ничего не можем с собою поделать) все точки зрения, искренне и ярко выраженные, от самых левых до самых правых,— интересны и важны. Не будем путать равную ко всем *объективность* с невозможным равенством *сочувствия:* попытаемся понять, при случае и пожалеть.

Командир 16-й дивизии генерал Орлов снимает для себя и своих офицеров, можно сказать, целый квартал в центре Кишинева. Места для сходок более чем достаточно,— и чего только не произносится.

Один из пристрастных очевидцев, Филипп Филиппович Вигель, позднее запишет: «Два демагога, два изувера, адъютант Охотников и майор Раевский... с жаром витийствовали. Тут был и Липранди... На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных».

Разговоры свободные, будто *все разрешено* или — скоро все переменится.

Чиновник Павел Долгоруков: «Пушкин разгорался, бесился и выходил из терпения. Наконец полетели ругательства на все сословия. Штатские чиновники подлецы и воры, генералы скоты большею частию, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли».

Никто, впрочем, не донес; так же как 11 марта 1821 года, когда за обедом у генерала Бологовского Пушкин вдруг обратился к хозяину:

«Дмитрий Николаевич! Ваше здоровье».— «Это за что?» — спросил генерал. «Сегодня 11 марта»,— отвечал полуосоловевший Пушкин.

Вдруг никому не пришло в голову, но генерал вспыхнул, за столом было человек десять».

Ровно за 20 лет до этого обеда штабс-капитан Бологовский участвовал в убийстве Павла I и после (как многие другие заговорщики) предпочитал о том помалкивать...

Один же спор записан рукою самого майора Раевского: он только замаскировал реальную историю под беллетристический отрывок «Вечер в Кишиневе», а о себе пишет в третьем лице: «Майор Р. сидел за столом и разрешал загадку об Атлантиде и Микробеях... Он ссылался на Орфееву Аргонавтику, на Гезиода, на рассуждения Платона и Феокомба и выводил, что Канарские, Азорские и Зеленого Мыса острова суть остатки обширной Атлантиды.

Эти острова имеют волканическое начало — следственно, нет сомнения, что Атлантида существовала, прибавил он и вскочил со стула, стукнул по столу рукою и начал проклинать калифа Омара, утверждая, что в библиотеке Александрийской наверно хранилось описание *счастливых островов»*.

Атлантида, мечта о счастливых островах,— предмет, отнюдь не исчерпанный и в начале XIX, и на закате XX столетия.

Кстати, в то время, когда о «географических тайнах» толкуют в Кишиневе, Рылеев и Бестужев в столице начинают распевать громкие песни:

Ах, где те острова,
Где растет трынь-трава,
Братцы!

Там уж не искали Атлантиды, а просто воображали «острова» без парадов, великих князей, царей и прочих...

В Кишиневе же не сразу углублялись в политику, о географии и истории толковали всерьез. Рассуждали (мы точно знаем) о том, что 1200 лет назад арабский правитель сжег гигантское рукописное собрание в Александрии и что 40 тысяч лет назад Черное море, возможно, соединялось с Балтийским, а тут уж была смелость, нам сегодня почти непонятная; дело в том, что Раевского в университете и Пушкина в Лицее учили: «длина истории» составляет пять — семь тысячелетий; мало кто, правда, буквально верил, что мир сотворен «за 5508 лет до рождества Христова», но все же о десятках тысяч лет (не говоря уж о миллионах) толковать не отваживались. В Кишиневе, однако, не боятся и четырехсот веков...

От Атлантиды тот «вечерний разговор» метнулся к Колумбу, к мудрости пифагорейцев, наконец, к персидскому царю Дарию, который сражался примерно в этих причерноморских краях со скифами.

«Но согласитесь, что большая часть соотечественников наших столько же знают об этом, как мы об Атлантиде. Наши дворяне знают географию от села до уездного города, историю ограничивают эпохою бритья бород в России, а права...

— Они вовсе их не знают,— вскричал молодой Е., входя из двери.— Bonjour!» *

Судя по всему, майор Р. и его друзья предпочитают Русь «до бритья бород» — страну с вольным вече, незакрепощенным народом, ограниченной княжеской властью.

Спорят о правах, «правовом государстве».

Молодой Е. тут же разоблачается майором «насчет отсутствия или незнания прав»; далее, однако, заходит разговор о стихах некоего молодого поэта, которого защищает Е.: мы подозреваем, что именно сам Е.— этот молодой поэт, автор стихотворения «Наполеон на Эльбе»,

---

* Здравствуйте! (*франц.*).

сочиненного — опять же совершенно точно известно — юным Александром Сергеевичем Пушкиным.

«*Е.* (читает).

Я здесь один мятежной думы полн...
О, скоро ли, *напенясь под рулями* —
Меня помчит покорная волна.

Майор. Видно, господин певец никогда не ездил по морю — волна не пенится под рулем — под носом.

Е. (читает).

И спящих вод прорвется тишина.
Волнуйся, ночь, над Эльбскими скалами.

Майор. Повтори... (Е. повторяет). Ну, любезный друг, ты хорошо читаешь, он хорошо пишет, но я слушать не могу! На Эльбе ни одной скалы нет!

Е. Да это поэзия!

Майор. Не у места, если б я сказал, что волны бурного моря плескаются о стены Кремля или Везувий пламя изрыгает на Тверской! может быть, Ирокезец стал слушать и ужасаться — а жители Москвы вспомнили бы «Лапландские жары и Африканские снеги». Уволь! Уволь, любезный друг!»

Е., то бишь Александр Сергеевич Пушкин, сердится, но не обижается; эпизод довольно похож на другую сцену, которую зафиксировал в своем дневнике Иван Липранди (о, этот дневник, который писался более 60 лет и дошел до нас лишь в нескольких чудом уцелевших фрагментах,— он еще не раз будет цитироваться на наших страницах!).

«Один раз как-то Пушкин ошибся и указал местность в одном из европейских государств не так. Раевский кликнул своего человека и приказал ему показать на висевшей на стене карте пункт, о котором шла речь; человек тотчас исполнил. Пушкин смеялся более других, но на другой день взял «Мальтебрюна».

Мальтебрюн — известный французский географ, в его знаменитых атласах как раз легко было отыскать, что на острове Эльба скалы *имеются*, и чрезвычайно образованный (особенно по географической части) майор, скорее всего, об этом тоже знал: просто имел добродушное желание поддеть, показать недостаточно образованному поэту необходимость учения; призывал — сделаться серьезнее, может быть, и писать о более серьезных предметах!

В ту пору, как и сегодня (как и завтра!), были три взгляда на связь таланта и знания. Первый — строгий, сухой, занудный: в поэме, повести все должно быть основательно, правильно, точно. Второй — буйный, свободный: зачем гению обременять себя цепями эрудиции? Воспарим — и все педанты будут посрамлены, ибо воспарять не умеют...

Третий взгляд: истинный талант, гений, своим чутьем, интуицией сам поймет, какие знания ему нужны, а если он этого не чувствует, значит, *не перерос*, но еще *не дорос*. Пушкину грозила «вторая позиция», и Раевский был одним из тех, кто помог ему перейти в третью. Первый пушкинист Павел Анненков, изучая рукописи поэта, беседуя с его друзьями и современниками, вот что заметит: «Пушкин признавал высокую образованность, как известно, первым существенным качеством всякого истинного писателя в России».

Вот куда повели нас кишиневские шуточки...

Пока же запомним, что Пушкин, который никому не прощал малейшего покровительственного или унижающего словца, Раевского любил, при последней встрече норовил обнять (а майор верен себе: пародирует пушкинские стихи «Гляжу как безумный на черную шаль» и отвечает: «Я не гречанка»). Мало того, Раевский ведь сам поэт, и не скрывает этого; да уж и напечатался в некоторых журналах. Тиражи, как водилось, невелики — 200—300 экземпляров (при цене 25—40 рублей за книжку), но и грамотных-то в стране, дай бог, 3—4 процента:

впрочем, друзья, кишиневские спорщики, все прочитали и обсудили. Разумеется, критичный ко всем и к самому себе, майор сразу понял, что Пушкин значительно талантливее его; судя по всем имеющимся у нас сведениям и воспоминаниям, Владимир Федосеевич вовсе не думает завидовать: талант — дар божий; другое дело *эрудиция, направление.*

Пушкин пишет лучше, зато я, Раевский, более четко знаю смысл, цель жизни. Пушкин, правда, тоже написал «дельные стихи» — «Вольность», «Кинжал», «К Чаадаеву»,— но одновременно сочиняет много чуши, вроде «Волнуйся, ночь, над Эльбскими скалами».

Вообще — «все они поэты»...

Время было такое, эпоха такая. В других краях, например во Франции,— при всем значении зажигательных стихов — революционеры вдохновлялись все больше прозой, публицистикой Вольтера, Руссо, Дидро; в России же почти каждый декабрист пишет стихи, а многие к тому же печатают. Раевский с его суровым, математическим умом,— если и он поэт, то что говорить о других, более нежных и «приблизительных»!

Позже о Чехове некоторые критики станут вздыхать: «Такому таланту еще бы и направление!»

Нечто подобное, без сомнения, было сказано о Гомере, Овидии, Хайяме, Мандельштаме; подобное будет говориться и о тех поэтах, кто еще не родился и чьи прапрадеды еще не родились...

Спор меж своих, но спор серьезный.

Впрочем, самые серьезные споры и происходят только между своими: не с чужими же объясняться! Увы, мы не можем переменить прошлое, перемешать сыгранные роли; за столом у Орлова никак не соединить (разве что в романе, поэме!) его постоянных посетителей и оригинального, неординарного корпусного коман-


РЪ И
САМО
ГОДА
СКОНЧ.

дира: не было этого, не вечерял генерал Сабанеев с Орловым, Пушкиным, Раевским, Охотниковым, Липранди. И все же мы имеем приятную возможность услышать прямой диалог, где на одной стороне будет хоть и не Раевский, но его явный единомышленник, а на другой — человек, думающий, без сомнения, очень сходно с Сабанеевым. Если существуют на свете подобные треугольники, то бывают, наверное, и «подобные диспуты».

За майора будет говорить его генерал-майор.

ОРЛОВ

«Генерал... пользовался необыкновенной любовью, верованием солдат. Телесные наказания были воспрещены. Ласковое его обращение, его величественный вид, его всегда веселое лицо, его доступность для всех внушали солдатам доверенность, привязанность до восторженности. На смотрах, когда он подъезжал к фронту, солдаты, не дождавшись его приветствия «Здоровы, братцы!», встречали его громким «ура!»... Конечно, правительство это знало...»

Разумеется, Михаил Орлов — не майор из Курской губернии — его знают все и в свете, и в совете...

Но именно благодаря этой ситуации с ним переписываются и спорят разные лица, умеющие высказаться и считающие себя обязанными спорить.

Среди корреспондентов Орлова — несколько приятелей сабанеевского типа, хотя, разумеется, каждый со своими неповторимыми особенностями; многие — куда более культурные, литературно одаренные, чем командир 6-го корпуса. Один из них — генерал-майор Денис Давыдов, знаменитый поэт-партизан, герой многих «сабанеевских кампаний», человек лихой, яркий и глубокий.

Узнав от своих, что Орлов (вместе с другом и единомышленником генералом Дмитриевым-Мамоновым) дума-

ет восставать, поднимать своих солдат против царя и крепостного права, Денис Давыдов реагирует остро и интересно (в письме к Киселеву!):

«Как он (Орлов) ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть самовластие в России. Этот домовой долго еще будет давить ее, тем свободнее, что... она сама не хочет шевелиться»; затем, правда, поэт-партизан возражает и Киселеву: «Опровергая мысли Орлова, я также не совсем и твоего мнения, чтобы ожидать от правительства законы, которые сами собой образуют народ... Но рано или поздно поведем осаду и возьмем с осадою... войдем в крепость и раздробим монумент Аракчеева. Что всего лучше, это то, что правительство, не знаю почему, само заготовляет осаждающим материалы — военным поселением, рекрутским набором на Дону... и проч. Но Орлов об осаде и знать не хочет; он идет к крепости по чистому месту, думая, что за ним вся Россия двигается, а выходит, что он да бешеный Мамонов, как Ахилл и Патрокл (которые хотели вдвоем взять Трою)...»

Споры — и ладно бы схоластические, научные,— но тут вопросы жизни, решая которые человек оказывается по ту или иную сторону барьера. Кроме только что прозвучавшего монолога Дениса Давыдова, прислушаемся и к громовому голосу Алексея Петровича Ермолова, денисова кузена и приятеля Сабанеева. Узнав о приезде из дальних краев еще одного старинного приятеля, Михаила Семеновича Воронцова («брата Михайлы»), и получив от общего друга, генерала Закревского, сведения, что Воронцов стоит за отмену крепостного права, генерал Ермолов, острослов, вольнодумец, любящий солдат и презирающий Аракчеева, пишет Закревскому нечто совсем не в декабристском и даже не в воронцовском духе (5 декабря 1820 года).

«Мысль (брата Михайлы) о свободе крестьян, смею сказать, невпопад. Если она и по моде, но сообразить нуж-

но, приличествуют ли обстоятельства и время... Не думает ли брат Михайла сделать себе бессмертное имя? Ему надобно остерегаться, чтобы не оставить по себе памяти беспорядком и неустройствами, которые необходимым будут следствием несогласованного с обстоятельствами переворота. Небольшое счастье быть записану в еженедельное издание иностранного журнала».

Затем в письме начинаются материи еще более абстрактные, а для нас во многом таинственные.

Ермолов: «...у него ум за разум зашел! Не узнаю брата Михайлы... Мне не нравится и самый способ *секретного общества,* ибо я имею глупость не верить, чтобы дела добрые требовали тайны. Вижу, однако ж, большое влияние брата Михайлы, ибо успел он согласить людей порядочных и умных... Мне брат Михайло ничего подобного не сообщает».

Выходит, Михаил Воронцов, один из крупных военачальников и сановников, недавний командующий русским оккупационным корпусом во Франции, организовал нечто вроде тайного общества, да еще сумел туда привлечь нескольких «порядочных и умных»: из текста видно, что подразумеваются люди примерно одного круга, чина, опыта с Ермоловым, Закревским, Воронцовым.

Вот куда заносит в эти странные годы не только майоров, но и генералов! Мы ж довольно мало знаем об этих удивляющих планах.

Потаенная партия генералов-реформаторов; хотя Ермолов никакой конспирации вроде бы не приемлет (может быть, отчасти из обиды, что брат Михайла «не открылся»); хотя Денис Давыдов, Сабанеев тоже «не замечены» среди важных заговорщиков, но все-таки Воронцов — не майор Раевский; это — их, генеральские, дела; и тот же Ермолов, отругав Михайлу, у которого «ум за разум...», продолжает длинное письмо от 5 декабря 1820 года знакомыми *сабанеевскими* мотивами — насчет «любезных» военных поселений: «Охраняют меня горцы

от поселений... Здесь в некоторых местах будут они полезны впоследствии, но я боялся бы утеснительных правил, на коих они основаны, и здесь неудовольствие жителей может быть пагубным. У вас плети все решают, а здесь недовольным могут помочь неприятели... Если что подобное замыслят (на Кавказе) — вместе с приказанием присылай мое увольнение: не сделаешь ошибки!»

Вот каковы были генеральские разговоры в начале 1820-х — «плети все решают», лучше в отставку идти, чем военными поселениями командовать.

Недаром Раевский, Орлов надеются, что во время или после революции наиболее уважаемые генералы будут с ними; один из декабристов позже с откровенной наивностью обижался на Ермолова:

«Он мог играть ролю Валленштейна *, если б в нем было поболее патриотизма, если б он при обстановке своей того времени и какого-то трепетного ожидания от него людей ему преданных и вообще всех благородно мыслящих не ограничился каким-то непонятным равнодушием, увлекшим его в бездейственность, в какую-то апатию...

В командование Кавказским корпусом Ермолова всякая подлость, низость в самом начале подавлялись, а начальничьего идолопоклонства совсем не допускалось. Начальник его штаба генерал Алексей Александрович Вельяминов был его другом, и что́ эти два человека могли бы сделать, если б они не были в то же время страшными эгоистами, все-таки не сваривавши в желудке самодержавие и деспотизм, всегда столь ненавистный всем благомыслящим людям».

Повторим, что «благомыслящие генералы», на которых надеялись декабристы, действительно в случае внезапной победы, вероятно, служили бы новой власти, играли бы даже весьма заметную роль; однако задолго до *взрыва*

---

* Энергичный полководец XVII века, один из героев Шиллера. (*Прим. авт.*).

они как раз стремились его предотвратить смягчением режима в армии, ланкастерскими школами — и для того привлекали, естественно, передовых офицеров вроде Раевского.

Каждая группа ожидала от другой не того, к чему стремились «собеседники».

Достаточно, к примеру, сравнить два почти одновременных документа. Раевский, с должной осторожностью, пишет другу Охотникову о революции в Италии и надеется, что пьемонтские карбонарии, в отличие от Неаполя, продержатся достаточно долго: «Неаполитанские происшествия меня взбесили! Полагаю, пиемонтцы менее будут италианцами?!»

Сабанеев же в одном из писем к Киселеву хоть и многим недоволен на родине, но, прочитав, что австрийцы выслали *неблагонадежных* учителей-иностранцев, восклицает: «Пора бы и нам, давно пора схватиться за эту сволочь!»

Главные герои нашего повествования — Раевский и его «спутники» Сабанеев, Орлов, Киселев, Пушкин, наконец, Александр I — приближаются к роковой черте, которая их разделит, разъединит, может быть, навсегда. Одни это чувствуют; гениальный поэт видит себя и друзей «пред грозным временем, пред грозными судьбами...».

Однако даже ближайшее будущее было неясно (реформы «сверху», революция «снизу» — или все та же «тишина»?), и эта неясность может продлиться долгие годы, которые для истории мало заметны, но составляют весомую часть жизни.

Поэтому в тревоге и ожиданиях все названные «действующие лица» отнюдь не все время тревожатся и ожидают: живут, любят...

Ранее других женится Орлов: на старшей дочери генерала Николая Николаевича Раевского — того, с кем Владимиру Федосеевичу было трудно счесться родством.

Екатерина Николаевна Орлова-Раевская, с которой Пушкин, по его признанию, писал свою Марину Мнишек: сохранился чуть иронический, может быть, ревнивый рисунок поэта, изображающий чинно выступающую, благопристойную пару: лысый, огромный генерал и строгая, гордая дама. Может быть, поэт намекал или чувствовал, что этот брак повлияет или может повлиять на политическую активность Орлова (вспомним подозрения Якушкина, который в январе 1821 года, прощаясь в Москве с Орловым, «пародировал несколько строк из письма Брута к Цицерону и сказал ему: «Если мы успеем, Михайло Федорович, мы порадуемся вместе с вами; если же не успеем, то без вас порадуемся одни»).

Вскоре после того другой декабрист и генерал, Сергей Волконский, женится на Марии Николаевне Раевской, другой дочери генерала,— и после восстания Раевские будут упрекать Волконского за то, что не сдержал слова, данного отцу невесты,— удалиться от заговора (но об этом чуть позже).

Женится и 33-летний Павел Дмитриевич Киселев: Сабанеев, поздравляя начальника, в том же письме извиняется за некоторые военные подробности, «неинтересные жениху».

Наконец, и сам Сабанеев женится,— но как!

На одном из допросов Владимира Федосеевича Раевского следователь коснулся щекотливого сюжета, и майору пришлось ответить:

«Хотя вовсе против желания моего, но по обязанности ответчика должен я войти в нижеследующие обстоятельства: при корпусном гошпитале находился лекарь Шиповский, который имел жену Пульхерию Яковлевну, дочь бендерского попа Борецкого. Жил он с нею до 12 лет. Сия супруга его понравилась корпусному командиру, который ее отобрал у означенного лекаря. А лекаря перевели в какой-то дальний гошпиталь. А так как жена взята или отнята от мужа была с детьми, то сына поручил господин

корпусной начальник на воспитание Сущову. Хотя генерал Сабанеев, как говорят, и женился на означенной лекарше, но так как первый муж Шиповский не брал развода с нею, то и не смел я назвать ее генеральшей Сабанеевой. Ибо сие значило бы уличить столь сильного начальника в нарушении не только нравственных, духовных и гражданских законов, но даже некоторого рода в насилии и в презрении религии, чего уважение мое к столь сильной особе не дозволяло».

Уже в Сибири Раевский сделал более злую и откровенную запись:

«Генерал Сабанеев зазвал к себе на ночь жену доктора Шиповского и не отпустил ее обратно к мужу, которого перевел в другой корпус, а потом публично женился, тогда как она не имела развода с первым мужем. Вот как существуют в России церковные и гражданские законы для людей высокопоставленных».

Мы не беремся судить генерала: в его поступке есть и деспотизм, и страсть, и беззаконие, и своеобразная демократическая смелость. Судя по всему, брак был очень счастливым; среди разных описаний легкой, веселой атмосферы в доме Сабанеевых сохранился и рассказ, как хохотала Пульхерия Яковлевна над шутками Пушкина.

Генерал во всем этом деле рисковал, кажется, не меньше, чем под Муттеном или Фридландом: если бы лекарь пожаловался по всей форме, то Сабанеева затаскали бы по судам, потребовали церковного покаяния. Впрочем, не меньшую храбрость проявила и сама госпожа Шиповская, на глазах у всех перейдя к Сабанееву с детьми. При этом генерал по всем правилам чести требовал полного уважения к невенчанной супруге, в чем обгонял свой век. (Мы еще увидим, как он до конца будет биться за свою жену.)

Рядом с этими людьми, женихами и мужьями,— глубоко несчастный муж и любовник Александр I...

Однако обратимся к более младшим.

Пушкин слишком молод, чтобы жениться; в кишиневских письмах и воспоминаниях друзей — целая вереница прекрасных девиц и дам, которых поэт хоть краткое время любил и обессмертил: гречанка Калипсо, цыганка Людмила, она же Земфира, вслед за которой Пушкин отправляется в табор; сверх того, нескромные слова и чувства обращены к полковнице Соловкиной, генеральше Орловой и многим другим.

Наконец, Владимир Федосеевич. О женитьбе — ни звука, что можно объяснить суровыми декабристскими правилами майора. Впрочем, в письмах, стихах, там и сям, попадаются легкомысленные и даже вполне неприличные фрагменты. Поручику Приклонскому, товарищу по прежней гарнизонной службе, Раевский со знанием дела советует смело отправляться к некоей пани Подосской: «Будь счастлив и поезжай с надеждой point de peut-être! chaque est putain... etc.» *.

Тому же адресату сообщается: «Не привыкши ничего таить от друзей, подобных тебе, скажу: que je m'ennuie trop sans ma petite Karoline ** — вот что делает привычка!..»

Комментаторы новейшего собрания сочинений и документов Раевского точно знают, в чем дело, и мы цитируем: «*Каролина Протасевич*, возлюбленная В. Ф. Раевского, помещенная им для обучения в пансион Людвиги Гонзель (г. Немиров) под видом племянницы с 1 марта 1819 г., с платежом за каждый год по 180 руб. серебром».

Позднее о той же даме сердца пишется с нежностью вместе с долей цинической иронии: «Страсти часто перевешивают во мне владычество рассудка, но он изобретает (хотя поздно) средства к поправлению оных... Но ты так мало пишешь, так невнятно для сердца, что я *жалею, по-*

---

* Никаких «может быть»! Каждая — шлюха... и т. д. (*франц.*).

** Как я скучаю без моей маленькой Каролины (*франц.*).

чему письмо твое не было наполнено ею! Хотя она сама, madame и Mr Rosse ко мне пишут очень часто, но все они могут ли то сказать, что ты: ты видел ее, видел как victime de ma passion *, нашел ли перемену? Нашел ли ту нравственную черту скромности и стыдливости, которая должна определить жребий ее?»

Если перед Пушкиным майор еще играл роль сурового наставника и вряд ли демонстрировал свои слабости, то со старинным приятелем по тайному обществу Охотниковым откровенность вполне возможна: «Черт возьми! Здесь есть чудесные молдаванки, и я всегда забываю свою Психею, или Аглаю, или Галатею, когда смотрю на какую-нибудь Гракину, Аксенею или Настазию! Если бы ты был на моем месте, то сделал бы то же; не забыл бы, конечно, своего идеала, но твое всегда неограниченное воображение и фокус зрения в соединении лучей представили бы тебе Рим, Византию, Лукрецию, Корнелию...»

Как видим, майор даже тут, во фривольном контексте, не забывает о главной идее, о римских тенях.

Свобода и страсть, Рим и Молдавия; тем более молдавский язык римского корня — и, как знать, может быть, некая Аксенея (то есть Аксинья) — «отрасль какого-нибудь Гракха или Мария, или побочная натуральная и, вернее прочих, отрасль Овидия, который умер здесь, на берегах Тираса».

Страсти, гульба, юные полячки, чудесные молдаванки...

Вместе с Пушкиным —

Мы ж утратим юность нашу
Вместе с жизнью дорогой...

Снова и снова повторим, что прежде никогда не было в русской истории столь поэтического времени; никогда

* Жертву моей страсти (*франц.*).

любовный порыв столь легко и естественно не переходил в революционный.

Позже, в момент восстания и даже на следствии, декабристы говорили такими фразами, какие вполне могут быть отнесены к особого рода поэзии: Рылеев перед восстанием, все больше ощущая его безнадежность, произносит возвышенное: «А все-таки надо...»

Пестель в своих показаниях говорит едва ли не ритмической прозой: «...имеет каждый век свою отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России... То же самое зрелище представляет и вся Америка. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать».

Поэтичны даже сами названия декабристских объединений и обществ — *Священная артель, Союз спасения, Союз благоденствия, Общество соединенных славян...*

Подобно тому как декабристская проза легко «поэтизируется», некоторые особенно яркие стихотворные строки легко отделяются от больших стихотворений, становясь самостоятельными формулами, афоризмами:

О Дельвиг, Дельвиг! Что награда
И дел высоких и стихов?

Лицейские, ермоловцы, поэты,
Товарищи! Вас подлинно ли нет?

Рылеев умер как злодей!
О, вспомяни о нем, Россия...

Декабристы мечтали, действовали, даже погибали, не расставаясь с поэзией. На Сенатской площади Александр Одоевский восклицает, будто начиная стихотворение: «Ах, как славно мы умрем!» Лунин вспомнит: «В одну ночь я не мог заснуть от тяжелого воздуха в каземате, от насекомых и удушливой копоти ночника — внезапно

слух мой поражен был голосом, говорившим следующие стихи:

Задумчив, одинокий,
Я по земле пройду незнаемый никем.
Лишь пред концом моим внезапно озаренный
Узнает мир, кого лишился он.

— Кто сочинил эти стихи? — спросил другой голос.
— Сергей Муравьев-Апостол...»

Согласно преданию, сорвавшийся с виселицы Рылеев успел бросить распорядителю казни проклятие, столь сходное со знаменитыми его стихотворными обращениями к другим временщикам: «Подлый опричник тирана! Дай же палачу свои аксельбанты, чтобы нам не умирать в третий раз».

Бессарабия, Молдавия, Днестр, Прут — край древней романтической истории и огромной современной российской энергии; край множества слов, стихов, тут же превращающихся в поступки; мечта о главном деле — и суровые разрушители того мечтания...

КИШИНЕВ — ПЕТЕРБУРГ — КИШИНЕВ

Чтобы понять многое (а кое-что неясно и по сей день!), попробуем, если сумеем, взглянуть на Бессарабию тех лет «санкт-петербургскими глазами».

Изменник Грибовский сообщал, что общее число заговорщиков — «более двухсот»; среди них — Муравьевы, Бурцев («адъютант Киселева»), Михаил Орлов, Николай Тургенев, братья Фонвизины. Нашего героя, впрочем, в этом перечне нет.

Многие из названных людей — в полках, в провинции, но немало и в Петербурге. Царь, произнесший: «Не мне быть жестоким, не мне их судить!» — все же должен что-то сделать. Он сообщает тайну брату Констан-

тину, а затем под благовидным предлогом одних отставляет, других, наоборот, возвращает на службу с повышением (например, Никиту Муравьева); третьих, четвертых решено проветрить, вывести на длительные маневры. Шестнадцать месяцев гвардия шагает по белорусским лесам и болотам, и уже знакомый нам генерал Васильчиков, обуреваемый противоречивыми чувствами, однажды устраивает торжественное примирение царя с офицерской элитой...

Александр, однако, все равно не верит.

Доносчик Комаров сообщает о роспуске Союза благоденствия, но царь не сомневается, что это маскировка.

Бывшие семеновские офицеры Сергей Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и другие, а также сотни семеновских солдат рассеяны в полках южных губерний, но тем самым они удалены от всевидящего ока, да еще — у границы, в прифронтовой зоне.

Читая отчеты 2-й армии, Александр верит Киселеву, не надеется на Витгенштейна, скептически и недоверчиво относится и к Орлову, и к Сабанееву.

Греческие дела. Александр Ипсиланти, генерал русской службы, грек по происхождению, переходит Прут и поднимает восстание греков и других народов, уже несколько веков подвластных султану. Революция разворачивается прямо на глазах десятков тысяч русских солдат, офицеров и чиновников, находящихся в юго-западных губерниях; все они не скрывают своего сочувствия грекам. Все со дня на день ждут приказа — ударить по туркам; ждут майор Раевский и генерал Орлов (он раньше других знал, надеялся присоединиться, отказался,— возможно, опять надеется). Штатский Пушкин призывает: «Восстань, о Греция, восстань!» Сочувствует Сабанеев, хотя и видит, что греки действуют необдуманно, что это все же «не спартанцы в Фермопилах». Наконец, Киселев, в котором важность соперничает с молодым задором: «Что за

время, в которое мы живем, любезный Закревский, какие чудеса творятся и твориться еще будут?»

Незадолго перед тем на другом конце земли второй американский президент Адамс заметил: «Если нация будет содержать большую армию, не имея пред собою противника,— то может возникнуть энтузиазм, последствия которого трудно предсказать».

Не быть походу — быть энтузиазму: Александр не желает прямо поддерживать какую бы то ни было революцию против «законного монарха», даже если это турецкий султан; определенную роль играет, вероятно, и опасение Петербурга насчет преданности, надежности 2-й армии: против турок они, конечно, пойдут охотно и, наверное, победят, но при этом еще больше преисполнятся дерзостью, свободомыслием и неизвестно, как себя поведут, вернувшись из похода.

Войны ждут, войны нет,— и даже верноподданные ропщут, а уж кишиневские поэты вообще перестают сдерживаться:

Я таю, жертва злой отравы:
Покой бежит меня, нет власти над собой,
И тягостная лень душою овладела...
Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?

Этим еще, однако, не исчерпывается список беспокойных «юго-западных обстоятельств». Масонские ложи, давние просветительские дворянские союзы, где числились, между прочим, и высочайшие персоны, великие князья: эти «неформальные объединения» чрезвычайно тревожат центральную власть, которая органически не приемлет того, что не ею заведено. В годы французской революции Екатерина обрушилась на московских масонов (Новиков, Лопухин и другие), многие попали в крепость,

в опалу. Позже их простили; Толстой со знанием дела повествует о Пьере Безухове и его масонских исканиях. В тех союзах рядом с пресыщенными аристократами, искавшими экстравагантных ощущений, сидели серьезные молодые люди; в обход привычной иерархии — поручики рядом с генералами и министрами. Здесь немало и завтрашних заговорщиков — Пестель, Лунин, Владимир Раевский, «Пьер Безухов». Многие прошли масонскую стадию, стараясь наполнить эти союзы новой жизнью,— и, как правило, через определенный срок находили новую, более совершенную форму конспирации, *тайное общество*.

Кишиневская масонская ложа именовалась «Овидий», в честь первого политического и поэтического ссыльного, попавшего в эти края в начале первого века н. э.; в ней несколько десятков членов (Раевский конечно же среди них), а также устав, бухгалтерская служба, для которой приготовлены огромные конторские книги. Позже, когда ложу закроют, книги заберет к себе один из бывших членов и станет в них заносить только что придуманные строки — «Мой дядя самых честных правил...», «Мы все учились понемногу...». Однако это — после. А пока что военные и штатские собираются, всерьез, с обрядом, с важным разговором и улыбкою. Во всяком случае, 22-летний масон («вольный каменщик»), поэт, будущий хозяин конторских тетрадей, обратившись к обладателю председательского молотка ложи «Овидий» генерал-майору Павлу Пущину (тот командовал одной из бригад дивизии Орлова), зарифмовал и благожелательные надежды, и некоторую насмешливость:

В дыму, в крови, сквозь тучи стрел
Теперь твоя дорога;
Но ты предвидишь свой удел,
Грядущий наш Квирога!
И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа,

Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь: свобода!
Хвалю тебя, о верный брат!
О каменщик почтенный!
О Кишинев, о темный град!
Ликуй, им просвещенный!

Полковник, испанский революционер Антонио Кирога (или Квирога), верно, не узнал никогда, какую роль играло его имя на другом конце Европы, северо-восточной окраине романского мира. Квирога — это мечта о свободе, бунте, конституции; это почти нарицательное имя из революционного словаря. Как не вспомнить, к слову, что в это время Бенкендорф потребовал от гвардейского полковника Пирха, чтобы тот шпионил за своими офицерами, а полковник ответил: «Под управлением такого монарха, как наш, не могут существовать личности вроде Кироги...» Бенкендорф признался, что «не понимает, про какого Кирогу тот говорит».

Вездесущий испанец.

«Свобода», «равенство», «конституция», «Квирога», «Вашингтон»: это из учебных прописей майора Раевского; и вскоре наверх, к царскому престолу, отправится донос,— что Раевский «при слушании юнкерами уроков говорил: «Квирога, будучи полковником, сделал в Мадриде революцию и когда въезжал в город, то самые значительные дамы и весь город вышли к нему навстречу и бросали цветы к ногам его».

Майор и сам бы «въехал» — но пока не получается...

Из Петербурга опасливо и подозрительно наблюдают обычную, казалось бы, масонскую ложу,— но в армии, но на границе, но с участием заподозренных лиц, но с восклицаниями: «Вашингтон, Мирабо, Квирога!»

Разными путями, через официальные доклады и секретную полицейскую информацию, движутся новости с Прута и Днестра на Неву.

Александр I не обладал тем разветвленным полицейским аппаратом, что возник в следующем царствовании. Уничтожив в 1801 году Тайную экспедицию (суровое учреждение, управлявшее государственной безопасностью и прежде называвшееся Тайной канцелярией, еще раньше — Преображенским приказом, Приказом Большого дворца),— отменив, царь, конечно, учредил новое сыскное ведомство, но не столь полномочное, как прежде, и более замаскированное: Департамент общих дел при министерстве внутренних дел, а сверх того завел секретную полицию при отдельных армиях, специальную службу при начальнике южных военных поселений генерале Витте; последний между прочим следил за крупными начальниками — Воронцовым, Киселевым, наверное, и Сабанеевым. Раза два в году он встречался где-либо «в глубинке», по пути, с Александром I и сообщал разнообразную информацию...

Из полков, бригад, дивизий 6-го корпуса бумаги следуют в Тульчин, во 2-ю армию. От Киселева и Витгенштейна — в Петербург, к дежурному генералу Главного штаба Закревскому; от генерала Закревского — к начальнику Главного штаба Петру Волконскому (Петрохану); из Главного штаба — к императору. Поскольку же император склонен к странствиям (за что и получил пушкинское — «кочующий деспот»), то специальные фельдъегери Главного штаба несутся за границу — в Лайбах, Верону...

Давно известно, что для понимания эпохи надо в максимально возможной для потомка степени превратиться в человека «того времени», освоить его психологию.

В нашем случае — на краткий срок сделаться Александром I.

Повторяя и обновляя уже сказанное, ставим исторический диагноз: царь подозрителен, неспокоен. Он объ-


БОЖІЕЮ М
ЛЫ НИКО.
Императоръ
всеросс
и прочая, и пр

ясняет Аракчееву Семеновскую историю: «Никто на свете меня не убедит, чтобы сие происшествие было вымышлено солдатами»; князь Меншиков — доверенное лицо, начальник канцелярии Главного штаба — резко удален от службы, как только Александр узнал, что тот собирает подписи под адресом на царское имя (где были смиренные намеки на некоторые реформы). Проекты секретных преобразований столь же тщательно скрываются от *правых*, сколько и от *левых*; у страха глаза...

Всякая новая «неприятная информация», естественно, усиливается, умножается подозрительным сознанием, и оттого царю еще меньше хочется в Россию, где ему подают списки заговорщиков, военных масонов, а также тех, кто ожидает от него вмешательства в греческое восстание.

Как быть? Не преследовать, совсем уж «не судить», «не быть жестоким»,— но тогда заговорщики усилятся и повторят 11 марта 1801 года...

Преследовать, арестовать? Но тем самым очень вероятно — ускорить взрыв, стимулировать злоумышленников, которые вообразят, что их дело открыто и, стало быть, надо пойти на все...

Если б можно было, как при Петре Великом и Иване Грозном, без всяких объявлений и судов арестовать, кинуть в каменный мешок, пытать, обезглавить. Однако уже больше полувека, как утвердилась дворянская вольность; в стране университеты, определенный уровень европеизма, чему сам царь, ученик Лагарпа, много лет содействовал; страна победила в 1812 году, и дворянство теперь невозможно откинуть на триста лет назад, к «турецким расправам». В любом случае без серьезного расследования не обойтись; но тогда, царь не сомневается, арестованные поручики, майоры, генералы будут дерзить почище, чем генерал Вандамм, напомнивший Александру об «отцеубийстве»; кто-нибудь воскликнет: «Мы действовали по твоему примеру, государь, как ты сам в 1801-м!»

Сверх того, напомнят о реформах, обещаниях, намеках и попытках освободить крестьян, ввести конституцию,— и это мучительнее якобинской революции. Легче стать Людовиком XVI, лечь на плаху.

И так нельзя,— и эдак нельзя. Но никак — тоже нельзя. Александр достаточно умен, чтобы понять: ничего не делать — одна из форм самоубийства...

И тогда-то, медленно, в глубочайшей сверхтайне, известной лишь нескольким лицам в империи, делаются распоряжения о будущем царе, которому, по всей видимости, придется все это расхлебывать.

Впрочем, начиналось это очень давно. Еще весной 1796 года, когда Александру шел 19-й год, а на троне сидела бабушка Екатерина II, было написано знаменательное письмо одному из доверенных друзей:

«Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих, в моих глазах, медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых *не желал бы иметь у себя и лакеями*, а между тем они занимают здесь высшие места... Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим образом».

Пройдут годы, и в 1809-м, при отправлении первого посольства в Соединенные Штаты, Александр, согласно некоторым воспоминаниям, говорил о своей мечте — бросить все и навсегда уехать в эту дикую, девственную страну; присутствующие решили, что государь шутит, и поддержали разговор, но затем, к своему испугу, убедились, что шутка заходит далеко, что Александр уже готов послать во дворец за деньгами,— и начали отговаривать. И отговорили...

Тогда же будет сказано (некоторые современники запомнили): «Отчего же царям нельзя в отставку уходить?»

8 сентября 1817 года историк А. И. Михайловский-Данилевский слышит рассуждения Александра, что монарх постаревший, усталый обязан «удалиться»: «Неужели, подумал я, государь питает в душе своей мысль об отречении от престола, приведенную в исполнение Диоклетианом и Карлом V? Как бы то ни было, но сии слова Александра должны принадлежать истории».

17 апреля 1818 года у младшего брата царя, великого князя Николая, рождается сын Александр (будущий Александр II); после Александра I должен царствовать Константин, но у него нет детей, и племянник — наиболее вероятный продолжатель династии.

Лето 1819 года. Во время маневров в Красном Селе (согласно воспоминаниям жены Николая, Александры Федоровны) царь сообщил младшему брату, «что он смотрит на него как на своего наследника и что это должно случиться гораздо ранее, нежели можно ожидать, так как это случится еще при его жизни...

— Кажется, вы удивлены; так знайте же, что мой брат Константин, который никогда не заботился о престоле, решил ныне, более чем когда-либо, формально отказаться от него, передав свои права брату своему Николаю и его потомкам. Что касается меня, то я решил отказаться от лежащих на мне обязанностей и удалиться от мира...

Видя, что мы были готовы разрыдаться, он постарался утешить нас, успокоить, сказав, что все это случится не тотчас и что несколько лет пройдет, может быть, прежде, нежели он приведет в исполнение свой план».

Осень 1819 года. Разговор в Варшаве Александра и Константина (10 лет спустя Константин расскажет Киселеву, а тот Михайловскому-Данилевскому):

Царь: «Я должен сказать тебе, брат, что я хочу абдикировать (отречься); я устал и не в силах сносить тягость

правительства; я тебя предупреждаю для того, чтобы ты подумал, что тебе надобно делать в сем случае». Цесаревич ответил: «Тогда я буду просить у вас место второго камердинера вашего; я буду вам служить и, ежели нужно, чистить вам сапоги. Когда бы я теперь это сделал, то почли бы подлостью, но когда вы будете не на престоле, я докажу преданность мою к вам, как благодетелю моему». «При сих словах,— рассказывал Константин Павлович,— государь поцеловал меня так крепко, как еще никогда в 45 лет нашей жизни он меня не целовал».—«Когда придет время абдикировать,— сказал в заключение Александр,— то я тебе дам знать, и ты мысли свои напиши к матушке».

20 марта 1820 года. Манифест о формальном расторжении брака Константина Павловича с давно покинувшей Россию великой княгиней Анной Федоровной; в манифесте между прочим были строки: «Если какое лицо из императорской фамилии вступит в брачный союз с лицом, не имеющим соответствующего достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, в таком случае лицо императорской фамилии не может сообщить другому прав, принадлежавших членам императорской фамилии, и рождаемые от такового союза дети не имеют права на наследование престола».

12 мая 1820 года. Константин венчается в Польше с графиней Грудзинской — не царской крови, как раз «не имеющей соответствующего достоинства».

14 января 1822 года. Константин в Петербурге просит царя передать престолонаследие «тому, кому оно принадлежит после меня».

2 февраля 1822 года (за три дня до ареста Раевского). Александр I и царица-мать Мария Федоровна принимают «отставку» Константина, давая ему «полную свободу... следовать непоколебимым решениям».

Октябрь 1822 года. Австрийский канцлер Меттерних

на Веронском конгрессе Священного союза замечает у Александра «новую черту: утомление жизнью».

Август 1823 года. Манифест, объявляющий наследником великого князя Николая Павловича, как секретнейший государственный документ, заперт в Успенском соборе Московского Кремля; в октябре соответствующие бумаги поступают в Государственный совет, Сенат и Синод.

Все это — громадная государственная тайна, известная семи-восьми лицам. Пока что во всех церквах, от прусской границы до Камчатки, возносится здравие государю императору Александру Павловичу и его наследнику цесаревичу Константину Павловичу.

Легко заметить, что разговор с Николаем, бумаги о престолонаследии параллельны тем сведениям, которые в 1817—1821 годах Александр получает о тайных обществах и разных их проектах, вплоть до якушкинского плана цареубийства.

Документы о наследнике ложатся рядом с российской конституцией, сочиненной, как помним, в 1818 году Новосильцевым, и аракчеевским планом освобождения крестьян.

Следующая волна важных доносов падает на 1825 год, когда действие пойдет к развязке: подробности напомним, когда наш рассказ придет к тому рубежу; пока же заметим только, что там извещали уже не просто о тайном обществе, но и о сроках восстания, цареубийства...

Александр же как будто не реагирует: много зная, не хочет знать (примерно так он вел себя при заговоре против Павла I); многое может, но как будто не желает, не имеет сил действовать...

Доносчики чутко ощущают спрос и предложение: если царь не одобряет, если Бенкендорфу приходится испытывать царское неудовольствие — тогда энтузиазм слабеет...

Тем интереснее наблюдать немногие меры, которыми странный, раздираемый противоречиями царь все же пытается себя защитить.

Резкие репрессии обрушиваются на ложу «Овидий»; у генерал-майора Павла Пущина требуют все масонские документы, причем в приказ об этом попадают неожиданные для тех лет грозные слова: доброму Инзову предписывается «в случае упорства (Пущина) употребить силу»; Пущина выгоняют со службы, хотя Сабанеев за него ручается и утверждает, что он «малый редкий, умный, честный, усердный, словом — прекраснейший...».

Александр Сергеевич Пушкин позже заметит, что был членом той масонской ложи, из-за которой были закрыты все ложи в России; действительно, вскоре (1 августа 1822 года) последовал официальный царский указ, запрещавший масонские и вообще тайные общества...

Царь как бы ничего не делает — и вдруг бешеные, импульсивные действия совсем не на «главном направлении», ибо мы теперь хорошо знаем, что отнюдь не с генералом Павлом Пущиным и не в ложе «Овидий» — семена основного заговора.

Впрочем, после таких полуслепых телодвижений там, в Петербурге, и неподалеку, в Тульчине, легко вычисляют, что конечно же следует ожидать нового усиления недовольства, новой конспирации.

И государственное око пристально вглядывается в 6-й корпус, а более всего в 16-ю дивизию генерала Орлова, где заведует дивизионной школой майор Раевский.

ХРОНИКА

«Скажите Сабанееву, что, доживши до седых волос, он не видит того, что у него делается в 16-й дивизии».

Эта фраза Александра I довольно быстро одолела сотни верст и больно уязвила генерала.

Обидная, угрожающая фраза: намек, что всю жизнь (до седины) Сабанеев не так командовал, не за тем следил; вроде косвенного ответа на его соображения о палках; на реплику, что разрешается «по закону» умертвить солдата за два-три года; не о том бы генералу думать!

Сабанеев *не видит*,— а там, наверху,— *видят*...

Дурное зрение генерала легко объяснить тем, что либо он сам заодно со злоумышленниками, либо разленился,— и не пора ли в отставку (в то самое время, как — обзавелся семьей, но не арендой или имениями!).

3 декабря 1821 года, Сабанеев — Киселеву: «Вчерась вечером прибыл я в Кишинев и завтра должен отправиться в Бельцы.

После отъезда Вашего из Кишинева узнал я, что майор Раевский завел в 32-м полку также масонскую ложу и что будто бы двое рядовых введены в оную были. Об обстоятельствах сих, как довольно важных, поручил я тайно разведать Черемисинову, на которого во всяком случае положиться можно.

Здесь, в Кишиневе, наблюдение за подобными (людьми) поручено Барцу».

Так впервые (не считая подписи на формулярном списке) Сабанеев написал фамилию человека, судьбу которого мы сопоставляем с его собственной уже так давно — с екатерининских и павловских лет, «с дней александровых прекрасного начала», с 1812-го.

И вот 49-летний генерал сообщает 33-летнему начальнику армейского штаба сведения, после которых там, наверху, может быть, поймут, что он, Сабанеев, не такой уж ротозей.

Розыск поведут еще два генерала, вполне годящиеся для темных дел, начштаба 6-го корпуса Вахтен и Черемисинов, начальник одной из бригад; шпион Барц будет наблюдать за Раевским (то есть просочится на те собрания, где он витийствует с Орловым, Пушкиным).

Сабанеев принимает меры, но притом как бы не замечает, что доносят именно о *школе Раевского*: ведь обучать малограмотных военных — его собственная идея, и генерал не готов сразу отказаться от просвещения; торопится не торопясь.

Однако в этот же день, 3 декабря, по роковому совпадению, начинается страшная история в Камчатском полку (заметим, между прочим, что пехотные полки 6-го корпуса назывались далекими восточно-сибирскими и дальневосточными именами, как бы напоминавшими об огромности империи).

Командир роты капитан Брюхатов грабил и местных жителей, и своих солдат, присваивая и продавая провиант. Унтер-офицера, пытавшегося тому воспротивиться, капитан велел наказать,— солдаты отняли палки, бить не дали, принесли жалобу генералу Орлову. Командир дивизии принял их сторону. Как бы не замечая, что рядовые совершили страшный по тем временам проступок (ослушались приказа, в сущности, взбунтовались!), Орлов лишил Брюхатова роты и сказал: «На тебе эполеты блестящие, но ты не стоишь этих солдат».

Действительно, грабить солдат да еще их же за это бить — нельзя: сколько о том говорено и писано Сабанеевым. И вдруг его же собственная идея (точно так, как с ланкастерскими школами) ведет к нарушению дисциплины и субординации. Командир корпуса ненавидит и презирает палочного генерала Желтухина — но у того в дивизии все, слава богу, тихо; то есть солдаты мрут, помаленьку бегут, но это в Петербурге считают «делом обычным». А вот в дивизии Орлова, где с одобрения Сабанеева палки осуждены,— что же происходит?

Киселеву отправлено донесение: «Преступники (то есть солдаты) даже не арестованы».

Генералу, однако, явно хочется поговорить с многознающим начальником штаба армии совсем откровенно, с глазу на глаз.

22 декабря 1821 года: «Чем более вникаю в обстоятельства, чем более рассматриваю поведение Орлова, тем более нахожу причин к подозрению».

Никуда не денешься — непорядок, нерадение; и тут уж не до прогресса: у Желтухина одна крайность, здесь — другая.

Киселев поощряет, поддерживает Сабанеева, в то время как в Петербурге — не очень верят. Там трактуют дело просто и находят, что с этим конфликтом справились бы Аракчеев, Вахтен, тот же Желтухин; можно ли верить ненавистнику ранжира Ивану Сабанееву?

Киселев, однако, понимает все много тоньше и коечто объясняет старшим (прежде всего Петру Волконскому): объяснения идут к царю; на самом верху, кажется, улавливают главную мысль начальника штаба армии и одобряют ее. Александр с удовлетворением убеждается, что не зря покровительствовал Киселеву: вообще ни на кого нельзя положиться — одни заговорщики, а другие — тупые дураки, на Киселева, может быть, тоже нельзя — но все-таки он «лучше других».

Главная мысль начальника штаба армии заключалась в том, что расправу с «нашими этеристами» (то есть заговорщиками, бунтовщиками) лучше вершить не аракчеевскими руками, не фронтовым вахтпарадникам, а именно толковым генералам суворовского покроя,— не очень светским, не очень угодным наверху.

Одних вольнодумцев — другими: в конце концов, такая политика и практика могут ослабить опасность, которую царь больше всего боится — угрозу объединения разных противников и недовольных, как это было в 1801 году.

Поэтому к Киселеву особое благоволение; поэтому охотно принимаются его кандидаты на высокие офицерские должности; так, еще 9 декабря начштаба 2-й армии благодарит Петра Волконского (а через него императора) за назначение командиром Вятского полка столь отличного, исправного офицера, как Павел Пестель...

Итак, сверху требуют скорее отыскать корни зла в Камчатском и других полках 6-го корпуса, Сабанеев опасается нового упрека насчет «седых волос». Но при всем при этом — все же не так воспитан, чтобы открыть то, чего нет, только ради угождения высочайшему подозрению. Он разрывается между суворовскими и александровскими понятиями.

26 декабря Сабанеев вот что рапортует Киселеву: «Сколько понять могу, правительство подозревает, может быть, конституционную горячку. Подозрение справедливое, но кто виноват?»

А действительно, кто виноват, кто не раз заговаривал о конституции и дал ее Польше, Финляндии? Кто, по словам Раевского, медлит?..

Генерал-лейтенант из последних сил старается внушить — не столько Киселеву, сколько высшим, которые вдруг могут *приказать*; он советует не торопиться, не поощрять любые гонения на вольнодумцев (мысль, видно, на самом деле испытанная).

Офицеры возле Орлова, те, что против палок; ланкастерская школа: ими пожертвовать — значит сдаться, превратиться в аракчеевца, а ведь каждый час может начаться война с турками, и Сабанеев оканчивает письмо, приписывая на полях фразу, которая (он ясно это понимает) для недоверчивых и подозрительных начальников будет звучать «по-якобински»:

«К войне, кроме начальников армии, готовы, только надобно бы солдат поберечь и, готовясь к смотру, не домучить. Вот это мое якобинство — истинно они мученики...»

«Солдат поберечь» — и «преступники в Камчатском полку».

Меж тем приближается новый, 1822 год. Для Раевского — последнее рождество на воле; Орлов собирается в отпуск, Липранди тоже; Пушкин ссорится с полковником Старовым из-за того, какую музыку нужно играть

на вечере в местном клубе; противники дважды обмениваются пулями и мирятся...

Меж тем генерал-майор Черемисинов (которому тоже не очень доверяют в Тульчине) усердно копает, копает и посылает Сабанееву в Тирасполь важное донесение:

«Раевский... наставлением своим, кажется, внушил солдатам то, чего бы им знать не следовало. Но, как обстоятельство сие требует подтверждения, то я употреблю все способы таковую заразу вывесть наружу. Я бы желал, чтобы Раевского в полк не присылали, а лучше и совсем из корпуса выгнать...

Орлов человека сего ласкает, держит у себя и *чрез то поощряет действие вольнодумства в других и пр.*».

И уж Сабанеев, срочно посылая эту выписку Киселеву, добавляет: «Из письма Черемисинова усмотрите, почтеннейший товарищ, что Черемисинов со мною откровенен и, конечно, не вольнодумец и не партизан мерзавца Раевского».

Мерзавец Раевский — слово произнесено.

Правительство, Петербург требуют жертв: им отдали масонскую ложу, генерал-майора Пущина; сыщики, доносчики сообщают разные компрометирующие сведения об Орлове и «орловщине». Однако командир 16-й дивизии — важная птица со столичными связями; к тому же приятель Киселева, который внимательно следит, чтобы доносчики не переусердствовали.

Должны быть виноватые, но без «излишеств»: таково мнение Тульчина и Петербурга.

«Невелика беда, что невиноватый за виноватого сошел — много их, невиноватых-то этих! сегодня он не виноват, а завтра кто ж его знает? — да вот в чем настоящая беда: подлинного-то виноватого все-таки нет! Стало быть, и опять нащупывать надо, и опять — мимо! В том все время и проходит» (*Салтыков-Щедрин.* «Вяленая вобла»).

Раевский — член тайного союза, позволяющий себе много вольностей в полку и дивизионной школе, конечно,

чувствует опасность, но еще не понимает, не может знать, что его могут принести в жертву, которая удовлетворит и корпус, и армию, и столицу.

Впрочем, доказательства, доказательства, доказательства...

И генерал-лейтенанту приходится во всем разбираться самому.

Меж тем побежал 1822 год.

2 января Пушкин пишет другу Вяземскому через посредство отъезжающего на север кишиневского приятеля-вольнодумца: «Липранди берется доставить тебе мою прозу — ты, думаю, видел его в Варшаве. Он мне добрый приятель и (верная порука за честь и ум) не любим нашим правительством и, в свою очередь, не любит его».

В тот же день, 2 января, новый скандал, на этот раз в Охотском полку 16-й дивизии.

Офицеры нещадно избивали не только солдат, но и заслуженных унтеров с наградами за Лейпциг и Париж (что запрещено уставом): снявшему на минуту ружье с плеча — 850 розог, споткнувшемуся — 100 розог, рассеченное тело смачивали соленой водой.

Два особенно избитых унтера самовольно отлучились и дошли до Орлова. Генерал снова на стороне солдат: троих офицеров отстранил, взял под арест, предал военному суду: «Да испытай они в солдатских крестах, какова солдатская должность».

И снова — командир корпуса видит, что Орлов действовал вроде бы «по-сабанеевски», но притом унтера отлучились самовольно, жалоба подана «неуставным порядком»: бунт...

Орлов меж тем отправляется в отпуск — «вовремя и не вовремя». Больше он не вернется, его не пустят в дивизию: боятся оставлять во главе крупной воинской части, но опасаются и преследовать, докапываться глубже; все это в царском духе...

Уезжая, генерал добавляет масла в огонь необычным

приказом, где между прочим объявляет: «Суворов, Румянцев, Потемкин, все люди, приобретшие себе и отечеству славу, были друзьями солдат и пеклись об их благосостоянии. Все же изверги, кои одними побоями доводили их полки до наружной исправности, все погибли или погибнут...»

Приказ громко прочли в полках, и если не солдаты, то уж офицеры легко догадались, что среди «погибших извергов» — Петр III, Павел I и, может быть, в будущем Александр, Аракчеев...

Сабанеев прочел и разъярился не шутя. Сейчас не до борьбы с палками, не до лицея: во вверенном ему корпусе непорядки, два полка *распустились*, и 7 января отправляется горячее, энергическое послание Киселеву.

Раевский позже запишет, что Сабанеев выражался коротко, отрывисто и даже самые вежливые фразы произносил, будто ругаясь. То же самое угадывается порою и в его письмах.

«Во вторник (10-го) намерен выехать в Бессарабию, хотя чрез силу, ибо обстоятельство сие возвратило мне, кажется, припадки прошедшей болезни моей. Дай бог для меня, чтобы я ошибся. Но если дойдет до государя — какого будет он обо мне мнения? Каково же мне, поседевшему на верной службе царю и царству, впасть в подозрение, столь чуждое чувствам моим. Сделаться жертвою легкомысленности молодых, неопытных товарищей моих. Словом, потерять доброе имя, купленное ценою крови. Вот мысль, воспламенившая воображение мое и способная возвратить прежние припадки ужасной болезни моей. Как бы то ни было, я еду и хоть умру, но исполню долг мой. Объеду все полки 16-й дивизии и, сколько умею, постараюсь внушить обязанности начальникам и подчиненным».

Генерал-лейтенант, конечно, опасается и третьего бунта — среди солдат и юнкеров Раевского: «Удостоверюсь в истине и, если то не ложно, арестую Раевского и отправлю в Тирасполь».

«ЩЕНОК, ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЙ»

Из Тирасполя генерал мчится 70 верст до Кишинева и останавливается у Инзова.

15 января. Иван Васильевич Сабанеев обедает у Ивана Никитича Инзова. Генералы — старинные друзья: у ярославского помещика Василия Сабанеева сын Иван родился на четыре года позже, чем некоего мальчика, завернутого в роскошное одеяло и «с царскими гербами», доставили князю Никите Юрьевичу Трубецкому, и Трубецкой понял, что ему приказано воспитать незаконное дитя царской крови. Мальчика назвали, говорят, в честь пензенской реки Инзы, Иваном Инзовым, отчеством же наградил приемный отец Никита Трубецкой. Однако об этом генералы, конечно, за своим обедом не говорят: оба участвовали почти в десятке войн, в десятках сражений, где награждены и ранами, и орденами (первая для Сабанеева битва при Мачине была уже третьим сражением для Инзова, в ту пору адъютанта генерала Репнина).

Вряд ли Сабанеев толковал о Раевском, Орлове и прочих заботящих его персонах — но все больше развивал мотивы острые, опасные; то, что сам называл «своим якобинством»: о политике подозрительного правительства, гонении на «невиноватых», усиливающем «беспокойное брожение умов». Возможно, Сабанеев наговорил и выпил лишнего, ибо, мы точно знаем, уходя, забыл свою шпагу.

Почему мы столь определенно настаиваем, твердо знаем — о чем говорил и о чем молчал командир 6-го корпуса за столом у Инзова?

Потому что приглашал Иван Никитич за свой стол разных людей; один из них, чиновник Павел Долгоруков, регулярно записывает свои впечатления в дневнике (чудом найденном 125 лет спустя); другой же постоянный сотрапезник, Александр Сергеевич Пушкин, именно в этот день, 15 января, впервые представлен приезжему генералу.

Сабанеев, человек начитанный, конечно слыхал, мо-

жет быть, даже читал молодого поэта — да Пушкин на этот раз не произносит ни слова. Зато чуть позже разговорится с друзьями (может быть, и с Раевским!), описывая тот обед.

В Кишиневе все про всех знают — Сабанееву тут же донесли. Через пять дней, *20 января*, разгневанный командир корпуса торопится передать Киселеву только что услышанное, явно опережая возможную информацию по другим каналам: Сабанеев не сомневался, что люди вроде Пушкина, Орлова, Раевского способны на очень многое...

Сердится, нервничает генерал-лейтенант: «В кишиневской шайке, кроме известных Вам лиц, никого нет, но какую цель имеет сия шайка, еще не знаю. Пушкин, щенок, всем известный, во всем городе прославляет меня карбонарием и выставляет виною всех неустройств. Конечно, не без намерения, и я полагаю органом той же шайки».

Вот какие разговоры!

Пушкин, казалось бы, должен обзывать генерала за глаза аракчеевцем, «невеждою» (это слово обозначало в ту пору человека реакционных убеждений, пусть даже весьма образованного); поэт же величает Сабанеева *карбонарием*. Иначе говоря, генерал-лейтенант сам боролся с палками, поддерживал Орлова, но как только благомыслящие офицеры, а также солдаты некоторых полков начали действовать в его же духе,— Сабанеев приезжает творить расправу.

Пушкин справедливо заподозрен в принадлежности «к той же шайке»...

Генерал растерян: «Жаль и мне Орлова, но не вижу возможности иной...»; очевидно, Инзов и Киселев тоже жалеют Орлова, но он *должен быть* отставлен.

От собственной растерянности Сабанеев делается все злее: солдат жалеет — «бедняги!» — и в то же время готовит наказание в Камчатском и Охотском полках: «Я их допрашивал поодиночке и говорил солдатам их языком. Они меня поняли и другие, бедняги, плакали...»

С Раевским же — разговор впереди. Главное для генерала сейчас — преодолеть самого себя, свой «карбонаризм». Должен быть порядок! Раньше угроза порядку заключалась в палках, маршировках, теперь же в совершенно противоположном...

За долгую свою службу, скажем прямо, генерал не встречался с подобной ситуацией: приходится выбирать, а более трех десятилетий не приходилось.

Услужливый рассудок подсказывает: арестовать одного — избавить многих; проявив суровость, можно «для равновесия» осадить и палочных мастеров вроде Желтухина. Прогресс не идет прямыми путями: «щенки» меня величают карбонарием — надо *действовать*, как, судя по всему, они действуют в своих тайных союзах. Наверху не сочтут арест одного не слишком заметного офицера за «шумную акцию», да и здесь, в Кишиневе, не очень-то всполошатся: действительно, упомянутый уже чиновник Долгоруков 5 февраля, в роковой для Раевского день, запишет в кишиневском дневнике о холодной погоде, об архиерее, который потчевал гостей дульчессой, то есть вареньем с водой, и, наконец, о том, что «все ждут войны». И в следующие дни, ожидая от советника, обедающего с Инзовым, хоть слово об аресте майора, мы находим в его записях лишь «устрицы малые», «вкуса почти не имеющие», «каракатицу с сорочинским пшеном». Самое драматическое происшествие — 10 февраля за обедом слуга уронил кушанье, и Долгоруков потрясен тем, что Инзов вместо побоев и брани «стал извинять слугу, говоря, что блюдо через меру нагрело руки его, что может быть это знак хороший...».

Только через месяц, 8 марта, за теми обедами вспомянули все же Раевского: что его отвезли в крепость и что он будто бы за свой счет сшил для роты сапоги и часто хлопал по крышке своей серебряной табакерки — а на той табакерке изображен государь Александр I...

Обычное дело, обычные разговоры: в общем — осудить

одного неосторожного майора ничего не стоит, он дворянин, не пропадет, через некоторое время простят...

Майор — не просто чин Раевского, но нечто вроде символа: первая штаб-офицерская степень, соответствующая коллежскому асессору штатской службы (за что «гражданским лицам» полагалось потомственное дворянство). Иначе говоря, майор — первый чин для солидного человека, но только первый; вспомним федотовское «Сватовство майора»: этот офицер, понятно, разорился, если сватается за не слишком знатную особу с капиталом,— но все-таки майор: за капитана или поручика невесту с деньгами могли бы и не отдать. Генерал Иван Набоков (как и Сабанеев, командир корпуса) в ответ на просьбы жены (родной сестры декабриста Ивана Пущина) помягче обходиться с подчиненными офицерами отвечал, что государь для того его поставил, за то ему и деньги платит, чтобы «кричать на майоров»: именно на майоров, а не на более нижние чины — на тех уж сами майоры должны покрикивать. Поэтому Сабанеев считает, что, наказав майора, не вызовет слишком большого скандала, как если бы расправился с полковником или генерал-майором, но и не заслужит упрека в либерализме, незнании войска, как может случиться, если б наказал, скажем, поручика...

О том, что Сабанеев думал так или почти так, мы более или менее уверенно судим по разным документам, напечатанным или архивным.

По-своему резонно рассудил корпусной командир — да только одного не учел: каков был избранный для расправы майор.

Судя по всему, Киселев этого тоже не понял, из Тульчина не разглядел, и в общем принял точку зрения Сабанеева: нужен ответчик, чтоб в Петербурге оценили.

27 января, в те самые дни, когда Сабанеев повел розыск о Раевском, Киселев посылает извещение о принятых мерах в Петербург.

О мерах насчет офицеров. И насчет солдат.

Сабанеев без Орлова пошел крушить камчатских и охотских.

Двух унтеров Охотского полка, жаловавшихся Орлову, после месяца гауптвахты — в солдаты; офицерам-истязателям зачли арест и вернули на службу. Впрочем, это еще дела милосердные. В Камчатском же полку — капитана Брюхатова на год в рядовые; зато унтеру, вырвавшему палки у «исполнителей»,— 81 удар кнута; трем солдатам, ему помогавшим,— 71. Всех засекли насмерть!

Это было 20 февраля, в том же месяце, что стал для Раевского роковым.

ПЕРЕХВАТ

Раевский своему полковому командиру Непенину, 1 февраля 1822 года:

«Милостивый государь Андрей Григорьевич!

Спешу Вас уведомить обо всем здесь происходящем кратко и ясно. Когда прочтете, предайте письмо огню. После отъезда благородного нашего генерала Сабанеев приехал сюда, и вдруг все учреждения Орлова насчет побоев солдат и Охотского полка перевернул кверх дном!.. Не знаю, кто, каким образом, все дела Орлова представлены ему были совершенно в противном виде; он даже сначала начал действовать, как противу *возмутителей*, он подозревал Орлова как будто в революционных замыслах, велел в некоторых полках все его приказы сжечь, уничтожить, и возобновить жестокость и побои!..

Между тем подлец Сущов, будучи недоволен моим с ним, как и с прочими юнкерами, строгим обращением, подстрекаемый адъютантами Сабанеева и врагами новой *администрации*, приступил к прекрасному средству — украл у меня *какие-то бумаги и письма*... и все это отдано в руки Сабанееву; еще дело не открыто, в чем это все

состоит. Однако Сабанеев тотчас взял из нашей лицеи этого подлеца и отослал в Тирасполь под свое крыло.

Я не знаю, что он там наплел на меня. Бумаг важных у меня никаких не было, но все неприятно, и, атакуя меня, думаю, генералу хотят сделать неприятность.

До Вас одна и важная просьба: если к Вам будут какие-нибудь запросы, постарайтесь им дать ответ благородный; и если сильно напрут, то подкрепите *свидетельством от офицеров* о моем благородном поведении и примерном».

Сущов уже упоминался. Сабанеев пускает его в ход: важные бумаги выкрадены, важные свидетельства получены и еще будут получены. Однако даже спустя почти два века обидно читать только что цитированную записку; обидно, что она сохранилась. Ведь Раевский отправил ее из Кишинева в Измаил с верным гонцом и приятелем Гамалеей; Гамалея приезжает, находит Непенина, рядом с которым стоит бригадный генерал Черемисинов (уже упоминавшийся агент Сабанеева). Полковник берет конверт, держит, не читая, а генерал на правах старшего ласково вынимает бумагу из рук Непенина — и прочитывает...

Прочел — переслал Сабанееву!

Легкомысленные, неконспиративные замашки — и это у членов тайного общества, заговорщиков. Двадцать с лишним александровских лет усыпили, преувеличили область дозволенного, притупили чувство опасности. То была характерная черта первых (но отнюдь не следующих!) десятилетий XIX века.

Так или иначе, теперь есть прямой повод для ареста старшего офицера.

Дело верное, и Сабанеев составляет записки для Киселева, для Инзова, для Петербурга. Он представляет семь провинностей 27-летнего майора.

Во-первых, распустил солдат, панибратствовал, даже обнимался, целовался с ними.

Во-вторых, «склонял солдат к неповиновению», возбуждал негодование и недоброжелательность к начальству.

Третья вина — школьные прописи: «равенство, свобода, конституция, Квирога, Вашингтон».

В-четвертых, как свидетельствовали доносчики, хвалил взбунтовавшийся Семеновский полк: «вот как, ребята, должно защищать свою честь!»

В-пятых, вспомнили, что несколько месяцев назад в Аккермане какие-то офицеры пытались урезонить солдат Раевского, а он, в присутствии солдат, тех офицеров прогнал и оскорбил.

Шестая вина обязательно найдется в бумагах, выкраденных юнкером Сущовым, болезненным, странным субъектом, которого Раевский пригрел, подкормил — и получил «благодарность за благодеяние».

Наконец, в-седьмых, совсем неожиданный сюрприз: по своей охоте к Сабанееву явился некий майор Юмин и объявил, что и Раевский, и полковой командир Непенин, и он сам, Юмин,— члены тайного общества *Союз благоденствия.*

Читатель XX века сгоряча подумает, что именно последнее обвинение — самое главное, и теперь Раевскому никак не отвертеться.

На самом деле, все много сложнее. Как известно, царь имел много доносов на членов тайных обществ, но никого не арестовал; более того, не тронул ведь Якушкина, помышлявшего о цареубийстве.

Был, правда, арестован гвардейский офицер, полковник фон Бок (его история прекрасно описана Яаном Кроссом в романе «Императорский безумец»); однако фон Бок, можно сказать, оскорбил императора своими яростными письмами, обращаясь к Александру не Sir

(Ваше Величество), а mortel (смертный) и требуя при том конституции, а также освобождения крестьян.

После этого Бок был отправлен в крепость, где содержался в большой камере (там, между прочим, находилось фортепьяно) и числился сумасшедшим...

На расправу с фон Боком Александр решился, видимо, потому, что тот был одиночкой, никак не связанным с российскими тайными обществами, и поэтому его арест не вызывал особых царских опасений, что тайное общество вступится и т. п.

Повторим еще раз: по своим причинам царь как бы не хотел знать о тайном обществе и за одно это не карал; идеальной ситуацией для него было бы обвинение какого-либо члена тайного союза — не за политическую деятельность, а за дисциплинарные, хозяйственные, чисто военные проступки.

Раевский потому «подходил», что имел шесть других вин, кроме чисто политической. Да и Сабанеев, как скоро увидим, сосредоточится именно на «развращении солдат». Конечно, и по этой части политика на каждом шагу,— но сверху хотят, но Киселев подтверждает, но Сабанеев хочет упечь майора «в пример другим» именно за *нарушение воинского устава*!

5 февраля 1822 года Пушкин предупреждает Раевского о грозящем аресте.

6-го утром «дрожки остановились у моих дверей. Я не успел взглянуть в окно, а адъютант генерала Сабанеева, гвардии подполковник Радич, был уже в моей комнате.

— Генерал просил вас к себе,— сказал он мне вместо доброго утра.

— Хорошо, я буду!»

Продолжая свои воспоминания о роковом эпизоде своей биографии, Раевский записывает: «С самоуверенностью и холодным духом я вошел в дом Сабанеева». Потом все же зачеркивает слова «и холодным духом».

«Стоял большой стол, на столе в беспорядке навалены бумаги. По правую сторону, в некотором отдалении и ближе ко входу, стояли три юнкера из моей школы. Сущов — главный доносчик, Перхалов и Мандра. По левую руку у стены адъютанты генерала Сабанеева; прямо против дверей, в которые я вошел, у другого конца стола, на котором стояло кресло, стоял генерал Сабанеев, как бы ожидая моего прихода».

Генерал-лейтенант на четыре чина главнее майора. Однако этот генерал-лейтенант до последнего смертного часа не забудет этого майора...

С той минуты (а точнее, еще и раньше) начинается один из самых странных, удивительных, до сих пор еще до конца не понятых российских политических процессов (сразу оговоримся, что почти весь процесс свелся к следствию, которое по тогдашним российским законам (или, вернее, беззаконию) было почти неотделимо от суда).

Около 80 делопроизводственных томов о Раевском позже на долгие десятилетия лягут в архив, под замок. Сверх того, важнейшие слова, относившиеся к тому процессу, вообще не будут записаны,— лишь произнесены. Будут наказаны, отправлены в каторгу, в ссылку, преждевременно умрут десятки людей, знавших если не все, то очень многое...

Более того, в следующем столетии, нашем XX, несколько человек, взявшись за разгадку, переживут нелегкие житейские перипетии, не раз отрывавшие их от старинного героя, но все же не помешавшие новым возвращениям.

То были невзгоды, вроде бы никак не связанные с личностью старинного майора,— но в то же время причудливо, своеобразно и, наверное, закономерно связанные...

Поэтому, остановив на время, на несколько десятков страниц, наш рассказ о Раевском, остановив «в минуту злую для него»,— поговорим о том, откуда ж мы сегодня знаем — *что было дальше?*

ЧАСТЬ II

И пусть мой внук...

Пушкин

Завидуем внукам и правнукам нашим,
которым суждено видеть Россию
в 1940-м году.

Белинский

До Иркутска семь часов самолетом. Конференция памяти декабристов в городе, где «людей 14 декабря» считают земляками и не одобряют упрямого лектора, доказывающего их *классовую ограниченность*, восклицающего, что дворян везли в Сибирь на колесах, а народ — пешочком: «Так ведь пролетариям нечего было терять,— отвечали иркутские рабочие,— а тут князья, все имели, незачем восставать, а вот взяли да и сами от всего отказались. Нет, товарищ лектор, наших князей не отдадим!»

Внук декабриста Завалишина, известный ученый Борис Иванович Еропкин, победоносно поглядывает на правнуков и праправнуков других дворянских революционеров, гостей конференции: дело в том, что Завалишин-дед женился, когда был почти 80-летним, произвел на свет нескольких детей, удивительно на него похожих,— и, таким образом, представлен в наши дни почтенным внуком. Еропкин читает доклад о своем предке: «В 21 год он был лейтенантом флота, знал несколько языков, побывал во многих странах; через 10—20 лет, верно, стал бы адмиралом, членом Государственного совета, но всем пожертвовал ради борьбы за свободу отечества. Призываю присутствующих последовать его примеру!»

Зимним декабрьским днем, как раз в годовщину восстания на Сенатской площади, отправляемся из Иркутска на северо-запад правым берегом Ангары. Сначала —

Урик, большое село, где много лет прожили в ссылке Волконские, Муравьевы, Лунин, Вольф и часто гостили другие декабристы. Затем — печальная обитель, Александровский централ: мрачнейшая дореволюционная каторга, в советское время несколько десятилетий тоже тюрьма; после — дом для душевнобольных. Улыбающаяся, несчастная девушка делится с нами своим счастливейшим воспоминанием, как довелось ей побывать в большом городе Иркутске, в больнице...

Еще и еще снежная дорога —

Печальных сосен вереница,
Угрюмых пихт и верб седых!

Наконец большое село Олонки Боханского района Иркутской области; 2102 жителя в 1979 году, в начале XX века было 2226.

По улице Раевского подъезжаем к старому дому и читаем на доске:

«От экватора 6810,5 км

От Москвы 5133 км

От Северного полюса 3191,6 км

Высота над уровнем моря — 427 м

Часовой пояс — 7

Широта 52°31′. Долгота — 103°40′

Село Олонки образовано в 1688 году.

Здесь с 1828 по 1872 год жил на поселении первый декабрист Владимир Федосеевич Раевский (1795—1872)».

Улица Раевского, дом Раевского, школа имени Раевского...

Создатель и хранитель небольшого музея учитель Евгений Павлович Титов показывает, что имеет: подсвечник Раевского, немногие его портреты, несколько фотографий потомков, родословное древо. Сегодня, кажется, уже все правнуки и праправнуки «утратили» декабристскую фамилию и стали Жигулиными, Сахалтуевыми,

Дорманами и другими — жителями Новосибирска, Одессы, Москвы...

Многие экспонаты музея вроде бы к Раевскому не относятся; однако, побыв полчаса-час среди них, вдруг понимаем, что это весь мир одновременно и старинный и недавний, где находится и первый декабрист, и мы с вами.

Колодка для пошива обуви.

Прибор для крошения плиточного чая.

Деньги — и те, которыми расплачивался Раевский, и те, что рождены позднейшими историческими вихрями. Деньги колчаковские, Дальневосточной республики, откуда-то — петлюровские; монгольские тугрики, американский доллар, хлебные карточки, старинный винчестер, пулеметная лента; и совсем не связанные с декабристской историей XIX века — но сколь уместные, необходимые именно здесь, под стеклом небольшого музея,— военные документы и маленькие фотографии погибших здешних ребят.

Лаконичные похоронки первого года войны, от руки и типографские: «Извещение гражданке... что военнослужащий... пропал без вести... октября 1942»; тираж похоронки 500 экземпляров, отпечатан в типографии местной газеты.

Позже выработалась более торжественная форма: «Ваш сын Хамкалов Дмитрий Григорьевич в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, был убит 8 февраля 1944 года. Настоящий документ является документом для ходатайства о пенсии. Вручен Кировским военкоматом Иркутской области 11 августа 1944 года»; а рядом, в той же музейной витрине (видно, принесла мать погибшего),— «свидетельство о рождении Хамкалова Дмитрия Григорьевича 1925 года рождения».

Темнеет, спешим на окраину села, где очищаем от снега старинные, сильно потрескавшиеся могильные плиты:

«Здесь покоится тело Авдотьи Моисеевны Раевской. Родилась 1 марта 1811 г., умерла 24 апреля 1875 года».

«Здесь покоится прах подполковника Михаила Владимировича Раевского. Род. 15 сентября 1841 года. Скончался 2 апреля 1882 г.».

«Под сим камнем погребено тело Владимира Федосеевича Раевского. Родился 28 марта 1795 г., умер 8 июля 1872 г.».

Два крупных деятеля сибирской науки в начале 1920-х годов записали свои впечатления от посещения этой могилы.

Борис Георгиевич Кубалов: «На угрюмом сельском кладбище, среди безымянных крестьянских могил, покосившихся и почерневших от времени крестов, приютилась могила Раевского».

Федор Александрович Кудрявцев (уроженец села Олонки): «Раевский просил хоронить не в церковной ограде, а на сельском кладбище, за селом, в широком поле: «там свободнее».

Вот так-то: спорил с Пушкиным о скалах на острове Эльба, золотая шпага за Бородино, блестящий майор...

В 1822-м, когда он лишился свободы, будущей жене Авдотье Моисеевне было 11 лет: село на другом конце мира, девочка, конечно, неграмотна; за снегами и тысячами верст, не то что про Курск, Кишинев не слыхала,— даже о Москве самые смутные сведения. Сколько должно было произойти коловоротов, переворотов, совпадений, чтобы **он** и **она** из столь разделенных вселенных — соединились и счастливо прожили почти полвека.

Жены декабристов: образ, привычно связанный для нас с хрупкими дворянскими барышнями, которые, вопреки всем трудностям, отправляются за мужьями в Восточную Сибирь, совершают «подвиг любви бескорыст-

ной». Однако было не меньшее число «декабристско-крестьянских браков», и местные, сибирские девушки, не совершая особых подвигов, просто жили там, где рождались и умирали их предки; эти браки — интереснейшая, особая «социологическая» тема, но не сейчас, не сейчас...

Заметим только, что почти все эти «смешанные семьи» были счастливы.

По мнению старожилов, жены-сибирячки сильно помогли устройству быта опальных мужей и притом пленяли их молчаливой, традиционной покорностью...

Все это было недавно; вернее, не так давно, как кажется.

Современный иркутский историк Семен Федорович Коваль, собирая в конце 1940 — начале 1950-х материалы для своей первой работы о Раевском, еще отыскал олонских старожилов — 75-летнего Павла Григорьевича Редькина, 78-летнего Павла Ивановича Ларионова, 80-летнего Нестора Александровича Бархатого. По рассказам своих родителей они хорошо знали «первого» декабриста, помнили, между прочим, его замечательные парники для огурцов, арбузов.

В Иркутском архиве заговариваю о Раевских с молодым научным сотрудником Владимиром Михайловичем Серебряниковым — а он ведет меня к своей матушке Евдокии Александровне, урожденной Середкиной. Середкина — фамилия жены нашего героя: действительно, прапрадед моего собеседника — шурин Владимира Федосеевича Раевского.

Потомки, свойственники декабриста.

В Олонках читаю письмо, сохранившееся в местном музее: дата, 24 февраля 1937 года, понятно, принадлежит нашему времени — зловещий год, скоро Великая Отечественная война. А меж тем престарелая внучатая пле-

мянница Владимира Федосеевича Софья Григорьевна Сливянская рассказывает своей дочери Агнессе Николаевне Сахалтуевой: «Ты была со мною у его сестры Веры Федосеевны. В то время жила у нее глухая старшая сестра Надежда Федосеевна, которой Вера Федосеевна говорила, показывая на тебя, что ты — их правнучка. Была у них сестра Любовь Федосеевна...»

Самого декабриста автор письма, кажется, не помнит, но его любимую младшую сестру Веру не только знает, но бывала у нее с дочерью, адресатом послания: понятно, это было на полвека раньше (когда матери было за двадцать, а дочь — маленькая); 50—60 лет — вполне нормальный для одной человеческой жизни «кусочек истории»,— но какие полвека! Одним концом этот отрезок уходит во времена народников, первых железных дорог, последних декабристов, другой конец — это коллективизация, 1937 год, война с Гитлером.

Подсвечник героя 1812-го — похоронки 1944-го...

На равнине югославской,
Под Ельцом и под Москвой —
На германской,
На гражданской,
На последней мировой...

Стихи праправнука Раевского, о ком еще речь впереди...

В Государственном архиве Иркутской области не очень много следов долголетнего жития первого декабриста в этом краю. Другие каторжные и ссыльные постоянно перечисляются в сводках и рапортах, отправляемых из Восточной Сибири в Петербург; Раевский же сумел как бы *выпасть* из этой отчетности (ну разумеется, не полностью: разумеется, бывали время от времени и доносы, и обы-

ски). Секрет Владимира Федосеевича заключался в том, что он быстро, вовремя, поладил с губернскими властями и записался в государственные крестьяне; позже декабрист Петр Муханов просил о том же самого царя, доказывал, что так ему легче было бы добывать хлеб, платить подати: «Высочайшего соизволения не последовало». Наверху, наверное, испугались парадоксально гордого звучания — «государственный крестьянин Волконский», «государственные крестьяне Трубецкой, Муравьев, Лунин...».

По немногим «раевским бумагам» приблизительно, контурно угадываем,— как жил, что делал, что делали с ним?

«Об отмежевании земли, занимаемой мельницами и строениями по речке Уляхе, крестьянину Раевскому за лето 1350 рублей сроком на сто лет».

«В Олонках даже женатые стали ходить в училище Раевского. Тогда это было очень удивительно».

Генерал-губернатор Восточной Сибири — Бенкендорфу: «Принимая в уважение беспорочное поведение в Сибири Раевского и способность его к письменным делам, я имею честь всепокорнейше просить ваше сиятельство на принятие Раевского в гражданскую службу канцеляристом».

Бенкендорф: «Я нашел с моей стороны невозможным входить со всеподданнейшим представлением по вышеупомянутому ходатайству».

Сохранился список семьи, сделанный в середине 1860-х годов: «Отец Владимир Федосеевич Раевский, мать Авдотья Моисеевна. Дочери — Александра, за помещиком Волынской губернии Бернатовичем — живет во Владимире; Вера — за прокурором Забайкальской области Ефимовым. Софья — в Иркутском институте».

Прервем цитирование; на минуту уйдем вперед на 70 лет и найдем в знакомом уже нам письме внучатой племянницы декабриста (от 24 февраля 1937 года): «Дочь

(Раевского) Софья. О ней ничего не знаю, видела один раз у тетки: веселая, круглолицая. Лучше бы ей отдали имение *, а не сыну (Валериану), который рано умер от пьянства».

Снова из 1930-х в 1860-е: «Сыновья В. Ф. Раевского: Юлий и Александр в Иркутске; Михаил — кирасир Смоленского уланского полка в Царстве Польском; Валериан — в Иркутской гимназии; Вадим — в Москве, в 4-й гимназии».

Восемь детей; все более или менее пристроены, особенно после того, как отец (в 1856 году) амнистирован, возвратил дворянство.

Мы знаем, по многим свидетельствам (и 1830-х, и 1850-х, и 1870-х годов), что Владимир Федосеевич не унимался, шумел, рассказывал о прошлом, а они — слушали. Слушали — да все ли слышали?

Как перевести язык Московского университета, 19-летнего начальника над двумя, а потом четырьмя пушками, стихотворца, географа, спорщика, поклонника ланкастерской системы; язык — «О Вашингтон! О, Мирабо» — как перевести все это на угрюмое эхо ангарских просторов, на осуществленную утопию Жан Жака Руссо: тайга, «жена-дикарка», короткие месяцы полевых работ, бесконечные зимы, случайное спасение от разбойников, от пожара...

Впрочем, вдруг иногда герой тряхнет стариной и является изумленным соседям «своего рода знаменитостью — крестьянином в модном фраке, цилиндре, говорившим о самых возвышенных предметах и бойко по-французски» (запись очевидца). Куда чаще, однако, делаются попытки соединить минувшее и сегодняшнее — стихами:

Шуми, шуми, Икаугун,
Твой шум глухой, однообразный

---

* Наследство Раевского. (*Прим. авт.*)

Слился в одно с толпою дум,
С мечтой печальной и бессвязной!
. . . .
И та же книга прошлых лет,
В ней только прибыли страницы,
В умах все тот же мрак и свет,
Но в драме жизни — жизни нет;
Предмет один, другие лица...

Авдотья Моисеевна училась, чтобы сделать мужу приятное; говорят, что даже многих местных девиц склонила к грамоте. Один путешественник нашел, что она — вполне светская дама, как будто даже с французским языком. Тут, однако, может быть, легенда, преувеличение. Во всяком случае, на одном из документов Иркутского архива (дело было уже после смерти Владимира Федосеевича) сохранилась подпись его руки — неуверенная, корявая: «Потомственная дворянка Авдотья Раевская. Марта 20 дня 1875 село Олонки».

Жена, дети: давнему другу Батенькову Раевский сообщал: «Дети все свежие, жизненные, и недостаток воспитания заменяется натуральными или врожденными способностями... Ты бы увидел представителей моих перед новым прозаическим и безжизненным поколением». С 1856-го вдруг все стали дворянами; хорошо еще, что обошлось без «казуса Оболенских»: один из видных декабристов, Евгений Оболенский, князь Рюрикович, женился в Сибири на местной тихой неграмотной девице; когда же пришла амнистия, то ему возвратили дворянство без княжеского титула, в то время как его Варенька и дети сделались князьями...

Сыновья и дочери Раевского вырастали, начинались внуки. Владимир Федосеевич, возможно, показывает или просит достать разные издания, выходящие за грани-

цей (а позже и в Москве, в Петербурге), где мелькает его имя.

Немецкий физик и путешественник Георг Адольф Эрман в конце 1830-х годов публикует в Берлине пятитомный труд «Путешествие вокруг света через Северную Азию и два океана в 1828-м, 1829-м и 1830-м годах». В иркутской главе своего труда путешественник рассказывает: «Встретил я однажды крепкого мужчину, который жил в деревне и только по вечерам приезжал в Иркутск с визитами или по делам. Он носил кафтан, бывший ненамного лучше обычной одежды сибирских крестьян, и с удовлетворением показывал своему другу пятирублевую ассигнацию, которую он только что заработал. В нем легко было угадать европейца, но все же меня странно тронуло, когда он в ответ на вопрос о его происхождении и судьбе отвечал немецкими стихами...

Потом он сказал мне, что его зовут Раевский и он служил полковником в артиллерии русской армии».

Иностранец, как видим, повысил Раевского в чине — остальное все, как есть...

Осенью 1861 года в Лондоне, в VII-й книге «Полярной звезды» Герцена и Огарева: «20 лет прошло с того времени, как майор Раевский предан был суду...

Над майором Раевским произведено было четыре военно-судных дела...

В чем же состояла важность его поступков и дум? Для чего бы не сказать, не обнаружить хотя один проступок и одну или две мысли?»

В этих строках о Раевском говорится в третьем лице, и лишь много лет спустя открылось, что он сам писал «Замечания» о собственном деле.

Тогда же, в 1861 году, в заграничном издании Записок декабриста Якушкина дважды с уважением упомянут «знаменитый заговорщик» Раевский; а еще через пять лет, в 1866-м, уже в Москве, в журнале «Русский архив»: «Пушкин как строптив и вспыльчив ни был, но часто

выслушивал от Раевского, под веселую руку обоих, довольно резкие выражения и далеко не обижался, а, напротив, казалось, искал выслушивать бойкую речь Раевского».

То были записки Липранди, престарелого приятеля давних кишиневских лет...

Наконец, в 1871 году выходит в Петербурге и быстро расходится по России книга С. В. Максимова «Сибирь и каторга», плод многолетних странствий и наблюдений автора. Между прочим, там сообщается, что на востоке страны при желании и умении можно получать от земли много больше, чем это «принято»: «В Олонках под Иркутском на особых грядах и без излишних хитростей Раевский воспитал арбузы. С его примера и под его руководством заводские бабы воспитание арбузов превратили в промысел...»

Можем вообразить Раевского, все это читающего.

Там, за тысячи и тысячи верст к западу, революционеры-эмигранты Герцен и Огарев, а также некоторые российские мемуаристы, публицисты, возможно, оттого смело называют его по имени, что числят умершим, исчезнувшим; человеком 1812 года, пушкинской эпохи.

Вспоминали и забывали, не узнав.

Надо было высказаться, оставить память,— и в центре Азии, пробиваясь через гряды десятилетий, Раевский пишет, дополняет, сжигает, опять пишет воспоминания, мемуарные письма, стихи: рассказы об удивительных, таинственных делах 1820-х годов...

Потомки Владимира Федосеевича почитают,— но у них своя жизнь, свое время. Одни честно, усердно служат, другие — целиком в семейных заботах; сын Валериан напился, убил сослуживца, за что сослан в Якутскую область...

Меж тем — «у Раевского была почти мистическая вера

в то, что его дети посвятят свою жизнь служенью высоким думам и страстям, и их жизнь станет непосредственным продолжением жизни отца».

Это мнение своего первого биографа (о нем речь впереди) Раевский подкрепляет сибирскими строчками:

Когда я в мир заветный отойду,
Когда меня не будет больше с вами,
Не брошу вас, я к вам еще приду
И внятными, знакомыми словами
К отчету вас я строго призову...

Из всех детей лучшие ценители отцовской одиссеи, кажется, дочь Вера и сын Вадим.

Вадим — имя в тогдашнем российском, особенно сибирском, обиходе редкое, зато столь же ясно обозначавшее родительские пристрастия, как в другие эпохи — Марат, Владилена, Индустрий.

Вадим — древнерусский герой IX века, первый борец за свободу, убитый первым тираном.

Мальчик, крещенный в 1848 году в иркутском селе, а позже (как и отец) обучавшийся в московской гимназии, просто обязан поддаться магии собственного имени. К сожалению, мы об этом сыне знаем немного: что был умен, образован; что любимая тетка Вера Федосеевна завещала ему свои 1014 десятин в Курской губернии, но племянник умер раньше ее, 34 лет от роду; что оставил сына Владимира Вадимовича, названного в честь деда-декабриста...

Не ведаем, успел ли Владимир-второй встретиться с Владимиром-первым, но, по всей видимости, младший довольно рано обратился в «раевскую веру». Во всяком случае, он попросил многочисленную родню, чтобы переслали бумаги, сохранившиеся от майора 32-го егерского полка. Увы, почти вся обширная переписка декабриста с восемью детьми пропала — уцелели несколько интерес-

ных писем к Вере Федосеевне, копии некоторых стихотворений; у кого-то из старших имелись портреты прадеда и прабабки, владельцев Хворостянки, некогда отправлявших будущего заговорщика в Московский университетский пансион, а затем в полк. Портреты вскоре исчезнут неведомо куда, но Владимир Вадимович сумел сохранить фотографии с тех портретов; со временем они попадут к Юлиану Григорьевичу Оксману, однако это уже «сюжет» не XIX, а нашего XX столетия и требует постепенного развертывания...

1900-е

Конец XIX столетия... Время от времени в «Русской старине», «Русском архиве» и некоторых других журналах публикуются материалы о декабристах; пусть с купюрами, цензурными изъятиями, но все же печатаются мемуары и сочинения Якушкина, Бестужевых, Горбачевского.

14 декабря все дальше, в 1892 году умирает последний декабрист — Дмитрий Завалишин. В 1900 году исполняется 75 лет со дня восстания на Сенатской площади.

Тем не менее в начале XX века материалов о декабристах все еще сравнительно мало: то, что можно,— уже вышло; что нельзя (даже Льву Толстому, которому запретили доступ к следственным делам декабристов в Государственном архиве) — что нельзя, залегло в секретных хранилищах, по семейным сундукам.

Новый прилив общественного интереса к дворянским революционерам, даже мода на них — впереди, после 1905-го, 1917-го; пока же многие из них почти совсем забыты. В самом деле, кто такой Владимир Раевский? На площадь не выходил, окончил дни в Сибири, кажется, родственник знаменитого генерала Раевского... Мелькают смутные свидетельства об отношениях с Пушкиным, при-

чем один видный специалист напишет, что великий поэт общался в Кишиневе с «Василием Раевским», другой присвоит декабристу имя Викентий, третий уверенно определит, что майора звали «Владимир Федорович».

В «Русскую старину» регулярно приходят тексты разных старинных крамольных стихотворений, и даже теперь некоторые строки главный редактор, вздохнув, зачеркивает синим карандашом (эти рукописи сегодня хранятся в Пушкинском доме в Ленинграде, в архиве журнала).

Времена давние, но стихи все еще опасны...

Тем временем остатки бумаг старинного майора перемешиваются с архивом детей и внуков. Праправнук декабриста поэт Анатолий Жигулин запомнит, что в их семье, так же как и в семьях родственников по другим городам, были тетрадки «Архив Раевских»:

«Архив выглядел так (в 1939—1940 годах): это были четыре очень большого формата и толщины книги. Но были они не напечатанные, а рукописные. В них были искусно переплетенные чьи-то письма, дневники, воспоминания, разные казенные бумаги с гербами, иногда и рисунки, фотографии, газеты. Переплеты кожаные, но неодинаковые — видно было, что переплетали их разные переплетчики в разное время.

На всех томах были оттиснуты золотом слова: «Архив семьи Раевских», а также римские номера томов: I, II, III, IV. Третий или уж, во всяком случае, четвертый был составлен моим дедом...

И вот (в 1942-м) не стало архива. А зажгли приречную деревянную часть Воронежа, раскинувшуюся по буграм, спускавшуюся к реке,— увы! — не фашисты, а наши «катюши» с левого берега. Была, конечно, военная необходимость — обнаружить немецкие позиции, хорошо скрытые среди старых деревянных домов и деревьев. Но от этого сердцу не легче».

Среди громов XX века многие бумаги перекочевывают из Сибири в Европейскую Россию, чтобы погибнуть или спрятаться. Мы толковали о внуке Владимире Вадимовиче; однако самый важный и загадочный эпизод начался в Сибири 1870-х годов, у тамошних Раевских, а после того «растянулся» на целое столетие и, возможно, еще не кончился.

Итак, все по порядку.

1866—1874. На поселении в Красноярске живет Лонгин Федорович Пантелеев. Петербургскому революционеру около 30 лет, он образован, склонен к журнальной деятельности и как раз в это время «по случайным и временным обстоятельствам» (его собственные слова) получает в свои руки «часть бумаг, уцелевших после смерти Раевского». Возможно, Пантелеев обещал дочери Раевского Вере, жившей вместе с мужем в Красноярске, воспользоваться своими литературными связями и кое-что напечатать.

1874. Пантелеев выходит на волю. В одном из лучших петербургских журналов, «Вестнике Европы», он знакомится с трудом знаменитого пушкиниста Анненкова «Александр Сергеевич Пушкин в александровскую эпоху», где бегло упоминался Раевский. Вскоре Пантелеев посылает главному редактору М. М. Стасюлевичу «дополнение», извлеченное из записок Раевского: как раз тот отрывок, с которого мы начали наше повествование,— как Пушкин явился предупредить майора о грозящем аресте. При этом Пантелеев просил Стасюлевича «не давать огласки ни моему имени, ни даже тому, что сообщенные известия заимствованы из Записок Раевского... Я, однако, имею надежду, что Записки Раевского недолго будут оставаться под спудом, по крайней мере то, что в них есть интересного».

Трудно сказать, почему Пантелеев конспирировал: то ли опасался недовольства семьи Раевских (не все хотели огласки революционного прошлого), то ли имел какие-то

иные резоны. Так или иначе, но Записки Раевского не появились ни в 1880-х, ни в 1890-х, ни в 1900-х...

Однако в 1912 году, через 38 лет после того, как Пантелеев писал Стасюлевичу, старое его письмо было неожиданно обнародовано вместе с другой перепиской умершего к тому времени редактора «Вестника Европы». Один из молодых, азартных пушкинистов, Николай Осипович Лернер, эту публикацию заметил, затем отыскал 72-летнего Пантелеева и спросил: «Где архив Раевского?» Пантелеев отвечал: «Еще лет двадцать тому назад дал я эти бумаги одной особе в Петербурге для прочтения и даже для обработки. Особа ничего не сделала, т. е. ничего не извлекла, зато так удачно переслала их мне, что бумаги никогда не дошли до меня. Брошены ли они были посланцем или попали в чьи-нибудь руки — это покрыто мраком неизвестности».

Как видим, Пантелеев даже не пожелал назвать злополучную «особу»; история вообще темная, но главный ее смысл: были Записки Раевского, да пропали.

Как увидим,— не совсем пропали, не навсегда,— но пропали...

Не первые, не последние.

В 1950-х годах Марк Константинович Азадовский, замечательный ученый, о котором особый разговор чуть позже, задался удивительной целью — составить список утраченных, затерянных произведений декабристов. В результате получилась огромная работа.

Тут не простой перечень, но анализ, разбор, предположение — где еще можно искать?

Перелистываем «утраты». Меж ними воспоминания Александра Якубовича, которые ходили по Красноярску еще в начале XX века и, вероятно, были сожжены или слишком глубоко запрятаны в 1919-м при Колчаке; сожженные письма и записки Лунина.

Раевский: нелегкая посмертная судьба у майора, как — прижизненная. Его процесс — тайна, многие стихи — про-

пали; в Сибири — живет особняком, нечасто встречаясь с другими декабристами; записки, архив — пропадают...

Однако свирепая энергия майора и через десятилетия после кончины ищет выхода и, хоть не сразу,— находит. Она вдохновляет, возбуждает внука-тезку Владимира Раевского и заставляет его отыскивать того специалиста, кто зажжется старинным дедовским пламенем и начнет пробиваться, сражаться, как это было в обычаях у Владимира Федосеевича.

ЩЕГОЛЕВ

Огромный, толстый, подвижный, «моторный», авантюрный, веселый, «одаренный талантливостью в каждом слове» — таким запомнился современникам Павел Елисеевич Щеголев, происходивший из воронежских крестьян, едва не исключенный из гимназии по закону о «кухаркиных детях», то есть за «низкое происхождение» (спасла репутация лучшего ученика); в 16 лет он совершает паломничество к Льву Толстому, а студентом оказывается в вологодской ссылке вместе с Луначарским, Савинковым, Ремизовым, Бердяевым. Оттуда он сумел на краткий срок прибыть в Петербург для сдачи государственных экзаменов (за него хлопотали академики Шахматов и Веселовский); с самого начала Щеголев так много работает, что даже великий труженик Шахматов вздыхает: «Берегите себя для науки!»

Прожив неполных 54 года, Щеголев написал столько книг, статей, да еще и пьес, других литературных безделок, сколько хватило бы целому литературному институту на довольно длительный период. Одно перечисление тем, «сюжетов» Щеголева — задача довольно сложная: Верховный тайный совет 1730-х годов и Радищев, Гоголь и Пестель, Хомяков и петрашевцы, Чернышевский и Бакунин, Грибоедов и Нечаев, а также Некрасов, народо-

вольцы, Достоевский, Николай I, рабочие кружки, Николай II, Распутин, мужики, солдаты — и постоянно Пушкин, Пушкин, Пушкин; декабристы, декабристы, декабристы... Книга «Дуэль и смерть Пушкина» при жизни Щеголева выходила три раза, в 1936-м — 4-е издание, в наши дни — 5-е.

Мало этого, Павел Елисеевич после революции — директор Петроградского историко-революционного архива, организатор Петроградского музея революции, председатель комиссии Петроградского бюро истпарта. Несколько лет до революции и девять после он издает один из самых интересных исторических журналов «Былое», где собраны сотни важнейших документов по истории русского общественного движения.

Число щеголевских трудов при всем при этом соперничало с количеством легенд, преданий и анекдотов о Павле Елисеевиче. Он спасает от голодной смерти Корнея Чуковского, отыскивает адвоката для Веры Фигнер, пишет и диктует сотни писем, беспрерывно пополняет огромную коллекцию автографов (от Вяземского до Ахматовой и Мандельштама) — и не упускает случая *развлечься.*

Мы еще встречаем людей, которые помнят, как Щеголев незадолго до смерти любил всем разливать вино, ибо ему самому оно уже запрещалось; как, вкусив все-таки «блаженного нектара», являлся на свою петербургскую квартиру и засыпал в дверях, причем жена и домработница не имели сил его ни внутрь втащить, ни вытолкнуть (в результате квартира застужена, женщины больны, а проспавшемуся богатырю хоть бы что!). В 1977 году, к 100-летию со дня рождения Павла Елисеевича, известный пушкинист Н. В. Измайлов поместил в научном журнале «Русская литература» статью-воспоминание, где в академический рассказ неожиданно вторгаются впечатляющие бытовые подробности: «В 20-х годах,— рассказывает Измайлов,— Павел Елисеевич много работал над Пушкиным, исследовал его социальный и материальный

быт, написал интереснейшую книгу «Пушкин и мужики» (1928) и многое другое... А вместе с тем не гнушался принять участие (и это было широко известно) в составлении «Дневника А. А. Вырубовой», издание которого вызвало сенсацию; в сочинении вместе с Ал. Н. Толстым еще более сенсационной пьесы «Заговор императрицы», поставленной в 1926 году в Большом драматическом театре с великолепным актером Н. Ф. Монаховым в роли Распутина... За эту пьесу, долго шедшую «с аншлагом», каждый из авторов получил по 75 тысяч гонорара, что было тогда огромной суммой. Но эта сумма была прокучена Щеголевым за три месяца, и вслед за тем была описана его библиотека за неуплату подоходного налога. Конечно, библиотеку не продали, но этот случай характерен для широкой русской натуры Павла Елисеевича, в чем-то, вероятно, созвучной шаляпинской».

К подробностям, сообщенным Измайловым, добавим одну красочную деталь из рассказа другого очевидца: Щеголева упрекнули, что в пьесе «Заговор императрицы» он, столь известный историк, много раз погрешил против исторической истины, сгустив разные «пикантные детали»; на это Щеголев, ничуть не смутившись и по-волжски окая, отвечал: «Да, конечно, вранья много, но зато какие деньги плочены!»

Остается только понять, когда же он все успевал (учитывая, что около шести молодых лет провел по тюрьмам и ссылкам за участие в революционном движении)?

Работал день и ночь, многих умел привлечь к своим трудам; любопытно, что в его бумагах, которые хранятся в нескольких архивах Советского Союза,— сотни и тысячи листов с копиями документов, но почти ни одной страницы — рукою самого Щеголева: он находил новые документы, затем мобилизовывал помощников, платил, пускал тексты в печать.

Он и в тюрьме продолжал работу, получая с воли все необходимые материалы, в том числе фотоснимки пуш-

кинских рукописей,— и позже признавался, что вряд ли столь успешно справился бы с огромным трудом «Дуэль и смерть Пушкина», если б не имел тюремного уединения.

Пушкин — как бы центр его трудов, или, лучше сказать, «эпицентр» производимого им землетрясения: сюда он вложил все — и несравненные знания, и умение открывать безнадежно потерянные материалы и факты, и, наконец, свой неповторимый характер.

Всякий ученый, а пушкинист особенно, невольно окрашивает своих героев, а также их обстоятельства в «собственные цвета», оставляет *отпечаток* своей личности. Разумеется, если это делается сознательно — тогда возникает дурная подтасовка фактов; искренняя же, подсознательная связь «субъекта с объектом» — естественна и обязательна, даже если «субъекту» это не нравится. Чем шире, *объективнее* пушкинист, тем менее заметно (но все равно существует!) прямое влияние его персоны на отбор и группировку материалов. Так или иначе, но один из лучших пушкинистов, Анненков, был либералом-западником, и это легко обнаруживается «между строками» написанной им пушкинской биографии; другой пушкинист, Бартенев, был человеком консервативно-славянофильских убеждений, и Пушкин его отчасти таков. Пламенный, патриотичный, неистово влюбленный в своего героя Цявловский многие из этих черт отдал поэту; в то же время петербургски-педантичный, аккуратный, сдержанный Модзалевский «не позволяет» своему Пушкину так разгуляться, как это допускает и поощряет Вересаев...

Щеголев, его «Дуэль и смерть Пушкина»: многих захватила и убедила страстная энергия повествования, однако великие, чуткие современники почувствовали и недозволенность некоторых ученых оценок и «вторжений».

Маяковский: «Бойтесь пушкинистов...»

Пастернак: «Странно, в самом деле. Современный человек, отрицающий дуэль как устаревший предрассудок, пишет огромное сочинение на тему о дуэли и смерти Пушкина. Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щеголеве и позднейшем пушкиноведении, и все было бы в порядке. Он дожил бы до наших дней, присочинил бы несколько продолжений к «Онегину» и написал бы пять «Полтав» вместо одной. А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне».

Щеголева критиковали, можно сказать, всегда, но притом критики опирались на материал, который Щеголев же нашел и всем представил.

Чувство материала — того, который имеется, и того, что нужно отыскать,— именно этот редкостный дар позволял ему еще в самом начале XX века определить один из важнейших «резервуаров» будущих находок, один из главнейших путей, идя по которому придешь к открытиям.

Это — Раевский, бумаги Раевского, Записки Раевского.

Мы догадываемся, при каких обстоятельствах была подготовлена первая большая работа: Щеголев связался с внуком своего героя, Владимиром Вадимовичем, который жил в Харькове и был рад потолковать о «незабвенном деде»: «Из детей Владимира Федосеевича,— сообщил он,— 21 апреля 1903 года в живых осталась одна Вера Владимировна Ефимова (вдова действительного статского советника, проживает в г. Томске); она передала мне все имеющиеся у нее письма, стихи, карточки и проч., касающиеся В. Ф. Последний сын В. Ф., как я узнал недавно, скончался 15 июля 1902 года». Внук прислал кое-какие материалы, стихи деда, а Щеголев приготовил статью как раз во время того пребывания в вологодской ссылке, где познакомился с весьма примечательной компанией; оттуда же статья была отправлена в столицу. Получая летом 1903 года университетский диплом, Щего-

лев вместе с ним принял и особую награду — июньский номер журнала «Вестник Европы».

Отрывочные, почти не оставшиеся в читательской памяти заметки минувших десятилетий разом перекрыты основательной (52 страницы) статьей «Владимир Раевский и его время».

При жизни Владимиру Федосеевичу не удалось выступить в столь престижном столичном издании, но сразу после кончины, с помощью Пантелеева, и через 31 год, с легкой руки Щеголева,— дождался все-таки добрых слов, которых столь не хватало майору-поэту в его походах, тюрьмах, сибирских десятилетиях. «В настоящем очерке,— начинал свою статью Щеголев,— мы имеем в виду восстановить память о замечательном в свое время человеке... Он забыт так основательно, что с его именем у современного читателя, вероятно, не связывается никаких представлений. Даже специалисты упоминают о нем вскользь»; а между тем, доказывал молодой ученый,— Раевский «заслужил память как один из типичнейших представителей александровской эпохи».

На страницах журнала 80 лет спустя сходятся кишиневские тени — Раевский, Липранди, Сабанеев, Пушкин...

Щеголев многого еще не знает и, кажется, сам удивляется,— чем привлекает его тот старинный майор?

Революционностью? — Но рано попался, на Сенатской площади не был.

Стихами? — Но ведь современники почти не знали их, «они не оказали никакого влияния на литературу, на гражданственность и не блещут отделкой...». Впрочем, Щеголев признает их «выразительную энергию» и цитирует сибирские строки:

О, помню я моих судей,
Их смех торжественный, их лица
Мрачнее стен моей темницы,
И их предательский вопрос:

«Ты людям славы зов мятежный,
Твой ранний блеск, твои надежды
И жизнь цветущую принес,—
Что ж люди?»

А в самом деле, что ж люди? Нужно ль их освобождать, если они погружены в «рабский сон»; и что хорошего выйдет из такого освобождения; и как быть освободителю, если не судьи, а он сам себя спросит: «Что ж люди?»

Раевский с его фантастической биографией и странными вопросами притягивал: Щеголев продолжает идти по его следу; каким-то образом (подробностей не сообщил) получает копию некоторых мемуарных фрагментов декабриста — не тех, явно не тех, какие были у Пантелеева; сверх того, охотится за другой рукописью, которую не выпускает из рук малоизвестный ученый Владимир Михайлович Пущин: тот кое-что печатает из Раевского, намекает, что со временем опубликует еще,— и вроде бы это как раз тот самый текст, что «потерялся» 30 лет назад. Однако даже Щеголеву не удается тут доискаться до истины, и он сближается с Раевским по другим тропам. Владимир Федосеевич сопровождает своего первооткрывателя и в тюрьму — дело привычное для обоих!

В 1912-м, первом году после выхода из Петропавловской крепости, Павел Елисеевич публикует *всего* четыре труда: «И. А. Гончаров — цензор Пушкина»; «Пушкин. Очерки» (книга в 411 страниц); редакция и вступительная статья к собранию сочинений С. Т. Аксакова. И наконец,— большая работа — «Возвращение декабриста (Владимир Федосеевич Раевский)».

После революции — еще и еще следы «раевских бумаг», но Щеголев решает, что времени мало: все это надо отдать молодому ученому, который давно, своими путями, ищет стихи, мемуары, письма, следственные документы майора 32-го егерского полка.

Принявший дар уже на склоне лет рассказывал, что при всех хороших отношениях с Павлом Елисеевичем иногда — «хоть на дуэль его вызывай»: идет однажды Щеголев по Ленинграду и читает объявление, что через три дня в Пушкинском доме состоится доклад Юлиана Оксмана на тему «Пушкин и Арно». Щеголев знает, кто такой Арно — французский академик, литератор XIX века. «Что интересного мог отыскать Оксман в этом сюжете?» И тут же входит в Пушкинский дом, направляясь в рукописный отдел, к тем единственным бумагам, где (он быстро вычисляет) могут быть материалы о французском академике, «пересекающиеся» с интересами русского поэта. Щеголеву тут же приносят нужные рукописи, всего за несколько часов он догадывается, что хочет сказать Оксман, диктует свои соображения секретарю и просит отвезти в газету. На другой день изумленный Оксман находит в печати статью Щеголева о Пушкине и Арно, где представлены его собственные, Оксмана, идеи, да к тому же изложенные более широко и лихо, нежели он сам собирался.

Что это — плагиат? Но доклад Оксмана даже не был написан: Щеголеву достаточно было одного заглавия, чтобы все вычислить...

Скорее озорство; или дерзкое нарушение научной этики из-за ревности к «прыткой молодежи»?

Поссорились — помирились, и вскоре Щеголев дарит Оксману свои выписки из воспоминаний Раевского, да сверх того — пачку фотографий, два подлинных письма декабриста к сестре, фрагменты показаний на следствии, письма Владимира Вадимовича и, наконец, трогательные стихи, посвященные деду:

В тайге, под шум Икаугуна
Он песни горькие слагал...
Их слушал ветер да Байкал...
И там порвались сердца струны.

(Материалы внука Раевского из архива Оксмана автору книги любезно предоставил Ю. Н. Емельянов.)

Почти все эти материалы, несомненно, пришли от Раевского-внука, с выписками же из мемуаров до сей поры не совсем ясно: может быть, Щеголев неточно рассказал или сам не смог до конца разобраться, в чем дело, но подлинника Записок отыскать не удалось.

Оксман вдохновляется, находит еще и еще материалы, готовит обширную публикацию — и горячо оплакивает смерть Щеголева, с которым так хотелось разделить научные радости. Прощаясь со старшим другом, и после не раз Оксман вспомянет некрасовское:

У счастливого недруги мрут,
У несчастного друг умирает...

Однако с Раевским всегда непросто — при жизни и после кончины. Всем историкам декабризма известны два тома «Воспоминаний и рассказов деятелей тайных обществ», опубликованные в 1931 и 1933 годах.

Третий том, куда должны были попасть материалы Раевского, готовился к выходу в 1936—1937-м...

ОКСМАН

Юлиан Григорьевич родился в 1895-м и всегда нам, его ученикам, говорил о «магии исторической даты». Мы его поздравили с новым, 1970-м годом (увы, последним в его жизни), а он отозвался: «Боже мой, я дожил до появления в дате, на предпоследнем месте цифры «семь» — до *семидесятых*; и это я, который помнит, как встречали XX век, для которого живая реальность переход 10-х в 20-е, а 20-х в 30-е годы; мне казалось ужасно много 1940-е, 1950-е — и вот 1970-й, вам этого не понять!»

В жизни автора этой книги Оксман сыграл такую

роль, что, наверное, необходимо появление мемуарных строк, надеюсь, не слишком сосредоточенных на ученике, но являющихся данью уважения к учителю.

Работая в Московском областном музее, я неожиданно обнаружил в фондах любопытный автограф Герцена и связанный с ним документ; оказалось, что все это до конца 30-х годов принадлежало известному в ту пору издателю и редактору Ферапонту Ивановичу Витязеву, которого репрессировали и убили в 1937-м; архив его, конечно, конфисковали, но все-таки — герценовские листки отдали в Музей Революции. В свою очередь, это учреждение, совершенно не желая иметь у себя бумаги «врага народа», при первом же случае перекинуло их в Истру, где находился Московский областной краеведческий музей. Скопировав материалы, я разузнал, куда с ними пойти, и вскоре оказался в Институте мировой литературы Академии наук, в комнатке, на дверях которой значилось: «Герценовская группа» — и где готовилось новое 30-томное собрание сочинений Искандера.

Меня подвели к плотному, улыбчивому человеку, который оказался руководителем издания профессором Оксманом. С двух слов он схватил суть дела, дал распоряжение о включении моих документов туда-то и туда-то, пригласил еще заходить и явно расположился, узнав, что я сочувствую погибшему много лет назад Ферапонту Витязеву.

Через несколько дней позвонил: «Надо вам писать диссертацию».

— Зачем?

— В Древнем Египте человек начинался с писца, в России начинается с кандидата; то есть на самом деле не-писцы и не-кандидаты тоже прекрасные люди, и даже обычно лучше писцов и кандидатов,— но им не всегда легко живется...

Затем было сказано, что некоторые пишут диссертации «так, как ходят на работу», а другие — «как ез-

дят в отпуск»; профессор явно советовал «отпускной вариант» и предложил тему «Тайные корреспонденты Герцена».

Так начал я заниматься сначала Герценом, потом Пушкиным, декабристами, и никогда Оксман не был «официальным руководителем», и всегда был учителем. Более эрудированных историков-литераторов я не встречал и вряд ли встречу: знал все, мог делать открытия или щедро дарить их другим в связи с Герценом, Пушкиным, Горьким, Добролюбовым, Белинским, Тургеневым, декабристами, XVIII столетием — да еще сравнивать с историей и литературой Запада, с древними корнями и т. п.

Много раз уже друзьями и учениками было сказано и написано о том, как мало, трагически мало для таких знаний он написал, но притом уверенно оставил за собою очень видное место в отечественной науке...

Родители-евреи Юлиана Григорьевича приняли лютеранство, что открывало путь в университет; в 1912-м за студенческие беспорядки был сначала выслан, но потом, когда выяснилось, что еще несовершеннолетний, был тут же возвращен обратно.

— В голове моей,— признавался Юлиан Григорьевич,— была смесь разнообразных идей. С одной стороны, мы считали себя революционерами и победоносно, как на обреченных, поглядывали на столпов старого мира; в то же время заветным моим мечтанием было к столетию со дня смерти Александра I написать такую биографию царя, чтобы получить *Аракчеевскую премию* (умирая, «змей» завещал весь свой капитал с большими процентами тому, кто это сделает к 1925 году).

На поминках Оксмана близкий друг Виктор Борисович Шкловский сказал, что вообще-то и он, и Оксман, и Тынянов, и другие однокашники в Петербургском университете на лекции почти не ходили: просто разгули-

вали по бесконечным коридорам «двенадцати коллегий», разговаривали и каким-то образом многому научились...

Оксману едва минуло 20 лет, но он уже готовит серьезное исследование о Пушкине, декабристах и между прочим знакомится с уже упомянутым литературоведом Пущиным, у которого почему-то оказались бумаги Раевского; позже Оксман объяснял, что, «кажется, эти рукописи ему не принадлежали... Поэтому он их и не печатал, поэтому и не рискнул продать, когда я его об этом просил. Водил он меня за нос года два, но так и не показал ничего, ссылаясь (сколько помню) на то, что владелец их не согласен ни на публикацию, ни на продажу».

Я цитирую позднейшее письмо (12 июня 1951 года) Оксмана к Марку Константиновичу Азадовскому. То был уже третий первоклассный специалист, который своим путем, по своим расчетам, довольно рано понял значение бумаг Раевского, буде они найдутся,— а в том, что они есть и таятся где-то рядом, он не сомневался, так же как Щеголев и Оксман.

В 1925 году Оксману не пришлось публиковать биографию царя,— зато он находит и печатает множество важных материалов о Пушкине, декабристах, и в их числе о Раевском (в том году, можно сказать, был «раевский бум» — ряд статей и публикаций к столетию 14-го декабря; и там же призыв уже упоминавшегося пушкиниста Лернера — «Где бумаги В. Ф. Раевского?»).

В 1929-м выходит один из самых удивительных сборников декабристских документов, 6-й том «Восстания декабристов», где Оксман по крупицам, из многочисленных архивных фондов, гигантскими усилиями добыл сведения о восстании Черниговского полка (в то время как основные следственные материалы о солдатах и офицерах Южной революции бесследно исчезли!). Точно так же он мечтал, идя вслед за Щеголевым, разыскивая

старых коллекционеров,— постепенно «собрать Раевского». Ученый признавался, что, как и Щеголев, испытывал «влечение, род недуга» к кишиневскому майору, а вскоре, с начала 1930-х годов, получил больше возможности для поиска. В это время Юлиан Григорьевич — один из лидеров филологической науки (правда, после двух кратковременных арестов, когда сильно выручил Щеголев): он заместитель директора Пушкинского дома (формальный директор — Максим Горький), скоро должен быть избран в Академию, руководит разнообразными пушкинскими изданиями, сдает в типографию том с новыми материалами Раевского; на даче у Горького Оксман временами оказывается за одним столом со Сталиным, который вежливо чокается и желает доброго здоровья профессору.

— Мы очень оптимистически взирали на жизнь,— признавался Юлиан Григорьевич 30 лет спустя,— нам казалось, что все противоречия, все оппозиции позади — впереди нормальный, спокойный путь, где роль науки будет все время возрастать.

— А коллективизация?

— Мы разделяли традиционную интеллигентскую нелюбовь, ненависть к буржуа, частнику. Нам казалось, что сохраняем народнические традиции, хотя не знали, а может, не хотели знать, что делают с мужиком.

— Все друзья ваши так думали?

— Почти все. Исключением был Юрий Тынянов, который был охвачен пессимизмом, но мы почему-то считали, что это он грустит из-за недостаточно большого успеха своих художественных трудов...

Оксман был ближайшим другом Тынянова и подарил ему огромное собрание бумаг Кюхельбекера, в том числе полный текст дневника декабриста и несколько десятков писем к нему Ивана Ивановича Пущина; увы, Тынянов успел до войны опубликовать лишь часть всего этого: рукописи пропали во время блокады Ленинграда...

Осенью 1936-го Оксман приехал на несколько дней в Москву, и старый приятель Глеб Максимилианович Кржижановский, известный деятель Госплана, подпольщик с 1890-х годов, начал уговаривать, что надо повременить с возвращением в Ленинград: Заковский (начальник Ленинградского НКВД после убийства Кирова) «свирепствует и жаждет крови». Оксман не согласился, его ждет Пушкинский дом, он только что добыл здесь, в Москве, огромное собрание писем Гумилева, которое должно пополнить Отдел рукописей; к тому же дома ждет верстка 3-го тома «Воспоминаний и рассказов деятелей тайных обществ», где — любопытные документы Раевского. Наконец, профессор стал утверждать, что «если возьмут в Ленинграде, то непременно возьмут и в Москве». Кржижановский что-то знал и повторял лишь одно: «Немного подождите, хоть месяц-другой». Упрямый ученый, однако, не послушался, и на другой день, в Ленинграде, за ним *пришли*...

Он признавался, что первая мимолетная мысль была — «ну, немного посижу, пока все не выяснится, и поработаю, как Щеголев в крепости».

К работе удалось вернуться только через 12—15 лет, и то лишь благодаря стечению случайных счастливых обстоятельств.

«Отпечатки пальцев» тех, кто обыскивал ленинградскую квартиру ученого, остались на десятках подлинных писем и рукописей Раевского — тех, за которыми охотились «особисты» XIX столетия. Верстка мемуарного сборника и часть материалов Раевского, которыми располагал Оксман, пропали. Жена с трудом припрятала остальное; некоторые же из писем Гумилева (которые тоже были арестованы в тот день на ленинградской квартире) были вновь обретены для науки по сюжету довольно бесхитростному: Пушкинский дом после войны приобрел их у вдовы оксмановского следователя, который сам был расстрелян в конце 1930-х...

Сначала ученому в тюрьме было сравнительно вольготно, но после 11 июня 1937 года (день приговора и расстрела Тухачевского и других военных) режим неслыханно ужесточился, в камеры набивали по нескольку десятков человек; вскоре Оксмана отправляют по этапу, но в Омске снимают в тифозной горячке и кладут «доходить» в местный тюремный госпиталь. Смерть казалась неизбежной, но спас не кто иной, как Александр Сергеевич Пушкин.

Полумертвого профессора не хотели лечить: в палате уже было три трупа, и дожидались четвертого, чтобы сразу всех вывезти; однако тюремный врач на обходе, прочитав на кровати табличку, где были слова: «Пушкинский дом», вдруг решил, что дело важное: ведь только что по всей стране было отмечено 100-летие со дня смерти поэта — первый очень широкий пушкинский праздник в советское время. «Пушкин» — это слово было у всех на слуху, оно имело характер государственный,— и врач велел все-таки перенести больного в отдельную комнату, применить кое-какое лечение.

Юлиану Григорьевичу было 42 года, он выжил и еще много месяцев дожидался своей участи в Омской тюрьме...

Там однажды к нему в камеру ввели *второго*. «День-два,— вспоминает Оксман,— мы оба осторожно присматривались друг к другу и не развязывали языков. Однако обмен двумя-тремя репликами обнаружил определенную общность интересов — Петроград, революция, дореволюционное подполье. Сосед припомнил, как он описал какие-то события в «Былом». Я тут же заспорил, сказав, что те заметки писал Евгений Колосов: историк, публицист, эсер».

— Я Колосов,— отозвался собеседник,— а вы...

— Я Оксман.

Оба слишком изменились, чтобы узнать друг друга.

Колосов рассказал мне, «новичку», про свои тюрьмы и лагеря, удивился — «за что вас? Вы ведь, кажется,

вполне лояльны... Я, по крайней мере, действительно не приемлю «мира сего» и полагаю, что не случайно доставлен в Омск: говорят, нашему брату эсеру добавляют новые приговоры, все больше вышку, чтобы очистить лагеря для новых обреченных».

Колосов попросил меня сделать две вещи. Во-первых, если его уведут и не приведут обратно — значит, пустили в расход,— и тогда — располагать его вещами, как своими; а во-вторых, если выйду на волю (он верил, что «кошмар когда-нибудь прекратится»), то отыскать его сына, который, кажется, переменил фамилию, от отца отрекся (впрочем, Колосов его за это одобрял).

Я обещал, и мы принялись говорить, вспоминать — и не могли наговориться. Каждую минуту нас могли разлучить, и тем острее была сладость беседы, может быть, последней,— конечно, о наших судьбах, но хотите — верьте, хотите — не верьте — куда больше об истории, недавней и давней, о большевиках, эсерах, народниках, декабристах. Каждый довольно много знал и имел перед собою квалифицированного, заинтересованного слушателя. Кажется, я сделал ему довольно подробный обзор всех новых находок и публикаций, относившихся к последним 100—125 годам...

Однажды Колосова вызвали без вещей. Мы попрощались — и он снова напомнил о двух просьбах. Прошло три дня, и все стало ясно. Однако какая-то надежда все же сохранялась, и однажды, при обходе, я спросил надзирателя: «А что делать с вещами Колосова?»

— Откуда вы знаете, что это был Колосов?

На столь умный вопрос я не сумел ответить, зато начальство было не на шутку напугано: забегали, схватили и унесли колосовский скарб, дней через пять меня отправили на восток...»

Оксмана доставили в Магадан, а затем еще за 900 километров — на колымский лесоповал.

«Так и не знаю,— писал ученый жене 8 июля 1943 года,— успели ли кончить академическое большое издание Пушкина?»

Антонина Петровна отвечала, что собрание не окончено. Меж тем в следующем послании один из лучших пушкинистов признавался, что «устал от Колымы, хотя и не могу на нее особенно жаловаться: она меня щадила даже в самые тяжелые времена, а знакомство с цингой за 7 лет было хотя и мучительное, но короткометражное. Морозы же в 60 градусов прошли только одною зимою, да и то вспоминаю их с интересом полярника, а не как жертва холодов, от которых был защищен и условиями работы, и хорошим обмундированием. Правда, в феврале — марте 1942 г. едва остался жив (без всяких преувеличений считай это случайностью)»*; в другой раз: «Как ни изверился я в людях (правда, и раньше их никогда не переоценивал), но должен признать, что в самые тяжелые моменты жизни неожиданно встречал и участие, и активную поддержку со стороны самых неожиданных людей (именно «неожиданных»), и те, на кого обычно рассчитывал, оказывались совсем чужими. Только этому участию я обязан и жизнью уже трижды за последние годы, ибо северные экспедиции, выпадавшие на мою долю, мало подходили по своим условиям к моему физическому складу, не говоря уже о сверхпрограммных казусах».

Ко всем прелестям бытия прибавлялись вести о страшной войне, кипящей за тысячи километров, о смерти лучших друзей, и в том числе самого близкого — Юрия Тынянова: «И я прощался и с городом, в котором прошла наша молодость, в котором завязалась наша дружба, в котором оборвалась наша жизнь (ведь после Петербурга началось «житие» в разных формах и для него и для

* Это и ряд других писем Оксмана к родным и близким цитируются по недавно появившейся интереснейшей публикации М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддеса «Из переписки Ю. Г. Оксмана». Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1988. (*Прим. авт.*)

меня, с просветлениями и затемнениями, но все же не жизнь)».

«Нежизнь» наступала, грозила проглотить; Оксман начал *доходить*...

Выжил благодаря случайной удаче — переводу в магаданские банщики.

Несколько лет назад, попав в Магадан, я поблагодарил этот город за то, что он помог выжить моему учителю, который, конечно, не для того вернулся, чтобы меня выучить,— но и для того тоже.

В 1947-м, отбыв 10 лет, профессор вернулся в Москву; многие шарахались, как от зачумленного,— и тем сильнее было дружеское участие семьи Цявловских, Ксении Петровны Богаевской, Анны Андреевны Ахматовой.

При всем при этом в уже упоминавшейся работе М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддеса сообщается, что ученый «отдавал себе отчет в том, насколько пережитое изменило его, и даже склонен был толковать свои несчастья как возмездие за участие в системе 30-х годов, мало того — как единственное, хотя и жестокое средство к «излечению»: «Нет, одного срока мне было недостаточно,— говорил он Г. А. Бялому (который передал нам его слова),— именно десять лет мне было нужно».

Потребовались чрезвычайные усилия, чтобы полуопального ученого пристроить в Саратов, где он однажды «подбил итоги» целого периода: «Жену мою не репрессировали, но десять лет она жила в Ленинграде под угрозой высылки (как жена «врага народа»), выдержала блокаду, а затем еще несколько лет мы жили в Саратове, каждый день ожидая нового ареста и повторного лагеря. Это ожидание было гораздо страшнее того, что чувствовал я в тюрьмах или в «благоустроенных трудовых лагерях» после 1938 года (самые страшные были годы 1937—1938 и 1941—1942)».

По формуле древнеримского императора Марка Аврелия самый верный путь к счастью — ощущать каждую

секунду жизни как последнюю. В Саратовском университете Оксман за несколько лет создает крепкую научную школу, начинает снова писать о Пушкине, Белинском, декабристах, печатаясь обычно под псевдонимом или чужим именем. Неоднократно он говорит и даже записывает, что имеется некоторая польза в том, чтобы на себе испробовать судьбу собственных героев, например Владимира Федосеевича Раевского: «первый декабрист» писал о диком одиночестве в сибирской тайге; Оксман сообщал: «Никогда я не был так далек от людей и так близок к внешнему миру явлений (лес, река, бескрайние снежные пространства, медленное пробуждение жизни весной, смена красок и звуков, птицы и звери, не боящиеся человека), как в 1941—1942 гг. Кажется мне, что никогда так долго не приходилось и быть наедине с собою. Случайные и редкие печатные страницы были единственной связью с потонувшим миром...»; более того, еще из Магадана (6 декабря 1944 г.) отправляется письмо жене, в котором, между прочим, начато важное научное исследование — то, что, может быть, когда-нибудь на воле выйдет ли, не выйдет...

Исследование — и о ком же!

«А вот это сохрани для моей будущей работы о Раевском: у него был весьма небольшой запас мыслей, но очень четких и легко приложимых. В этом большое преимущество тех, кто руководит умами (или претендует на это). Люди *слишком* широкого духовного склада запутываются в бесконечных сложностях, теряются, снова находят себя и опять колеблются: они научились сомневаться. В некоторых случаях они поэтому даже следуют за людьми более узкими, которые никогда не колеблются. Секрет успеха его демагогии и был прежде всего в том, что он не колебался, что его примитивная, но исключительная в своей четкости политическая мысль не знала противоречий и в своей элементарности была доходчива, как таблица умножения и Отче наш».

Сурово — о любезном Владимире Федосеевиче; но — в его же, раевском, духе; да и проверено на самом себе.

И рядом — стихи давно погибшего друга юности Юрия Маслова, которые так кстати вспомнились в конце 1945-го, в начале десятого тюремного года:

Двадцатые годы...
Прекрасные женщины,
Острые умы...
Как любили мы это время!
Оно слилось с нашей жизнью.
Ты бы не удивилась,
Если б я встретил на улице Баратынского
И он спросил о твоем здоровье.
Ты была влюблена немного
В Александра Тургенева,
Он тебе снился
И дарил, улыбаясь, розы...
И вот сон стал явью:
Я — декабрист в пустынной Сибири,
И ты не можешь приехать
В мое изгнанье.
Слушай, проснемся!
Ведь это было
Сто лет назад...

В те годы, когда Оксмана носило по лагерям и ссылкам, был сделан ряд находок, связанных с Раевским. В архивах обнаружились еще статьи и стихи декабриста, полицейские отчеты о нем. Отдавая должное нескольким исследователям, все же не можем умолчать об одном парадоксально-печальном обстоятельстве: значение открытия немало зависит от личности первооткрывателя. Казалось бы, какая разница, первоклассный ученый или конъюнктурный собиратель обнародовал то или иное неизвестное сочинение? Есть разница! Хилый исследователь

(Оксман в нескольких письмах играет именем героя «Илиады», оценивая авторов халтурных, приспособленческих статей и книг: «Ах, Хил!») — так вот, подобные богатыри, *Ахиллы*, конечно, могут опубликовать ценные факты, но, во-первых, многое переврут, во-вторых, не заметят интересные вещи, лежащие совсем рядом, в-третьих, напишут такой комментарий, который не прояснит, а затемнит дело, в-четвертых, самой манерой своего изложения умеют вызвать неприязнь, даже отвращение к интересному герою (читатель вместо Раевского, скажем, постоянно встречается с размышлениями, которые от имени Раевского предлагает этот самый Ахилл). Наконец, в-пятых, создается впечатление, будто сюжет использован, документ найден, тема закрыта, и оттого будущие исследователи сюда не придут, полагая, что Ахилл тут все раскопал, а он — только напортил, иногда и напакостил.

В общем, как это ни парадоксально, но даже элементарный факт часто окрашен личностью того, кто этот факт раскопал, и, случается, приходится жалеть: лучше бы факт вообще не был открыт, ибо с самого начала уже подмят «ахиллесовой пятой»...

Однако и в научной пустыне, перенаселенной Ахиллами, должны же быть оазисы: и ссыльный, опальный ученый ищет, присматривается — «есть ли жив человек?»

Замечательные письма Оксмана, собранные и напечатанные, станут когда-нибудь ему лучшим памятником. Он сам понимал это, когда много лет спустя, на воле, разбирал домашний архив: «Все мои письма, заметки, выписки на разноцветных клочках бумаги, на старых листочках, беспорядочные, похожие иногда на старческое бормотание и многословие,— напомнили мне разные колымские изоляторы и лагерные пункты, откуда я с опасностью для жизни, месяцами не имея ни бумаги, ни чернил, ни пера, пересылал с самыми неожиданными оказиями письма жене и двум-трем друзьям в Ленин-

град. Мои письма, как утверждают Каверины и Чуковские, разрывались как бомбы в уютных петербургских квартирах, принося информацию о колымских лагерях смерти, московских пыточных камерах, о фашистском зверье в обличье сержантов, капитанов и полковников МГБ и НКВД. Я не думал, что мне удастся выйти живым из этих застенков, каждое письмо в этом отношении я переживал как последнее, а потому был предельно откровенен. Мне казалось, что этим самым я и исполняю свой долг «судьи и гражданина», свидетеля, обличителя, а может быть, и историка».

Еще из Магадана Юлиан Григорьевич отправил письмо одному из старинных знакомых,— напомним, что в ту пору (1944 год) мало было людей, кому можно было написать письмо из заключения, да еще надеяться на ответ. Марк Константинович Азадовский (которого мы уже упомянули среди «людей Раевского») был на семь лет старше Оксмана и сам, наверное, затруднился бы сосчитать — сколько наук «превзошел»? Прежде всего — фольклор: от записей сибирских сказок и легенд, амурских частушек, ленских причитаний до обобщающих трудов «Литература и фольклор», «История русской фольклористики». Другие сферы Азадовского — это археология, этнография, литература, краеведение Сибири, Дальнего Востока и других стран; затем — искусствоведение, русская литература XIX—XX веков (важные исследования о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Тургеневе, Языкове, Белинском, Добролюбове, Чернышевском, Короленко, Горьком). Наконец, серия классических исследований о декабристах, едва ли не обо всех героях 1825 года, а также история сибирской каторги и ссылки в разные эпохи...

Таков лишь самый общий взгляд на сотни книг, статей, обзоров, публикаций, рецензий Азадовского.

Время, что ли, было «ренессансное», если в гуманитарной науке творили люди, сразу занимавшиеся столь

многими вещами? Ведь в позднейшие десятилетия, в наши дни, подобный «тип» почти невозможен (исключения подтверждают правило): наука расщепилась, специализировалась, заболела «флюсом односторонности»...

Открытка Оксмана достигает Иркутска, Азадовский конечно же отвечает.

Судьбы крупнейших ученых в ту пору не могли быть легкими. Азадовский в Иркутске бесконечно много работает; отправляясь с учениками за местным фольклором в самые глухие углы Восточной Сибири, оставляет у молодежи такую о себе память, которая и сегодня сохраняется, умножается (за последние годы несколько раз публиковались письма ученого, скоро выйдет огромное собрание его декабристских работ). Однако стараниями местной бюрократии жизнь в Иркутске скоро становится для филолога-историка невыносимой; к счастью, удается перебраться в Ленинград, где выходят или готовятся к печати большие труды, итог жизни. Однако в 1949 году — новая волна репрессий, обвинение в космополитизме, уход с кафедры.

Современники помочь почти не могли — выручили декабристы. Удалось опубликовать 700-страничный том «Воспоминания Бестужевых», где неизвестно, что интереснее и важнее — богатейшее собрание сочинений и писем пяти декабристов, братьев Бестужевых, или комментарий Азадовского, куда вложены его огромные познания о русской словесности, декабристском движении, сибирской истории, географии, этнографии.

Обстоятельства улучшались крайне медленно, ученому дожить до светлых дней не довелось — жизнь оборвется в 1954-м.

Оксман же в «космополиты» не попадет, по той простой причине, что почти ничего не может печатать под своим именем; когда началась вторая волна «посадок», в 1948—1949 годах, его чудом миновала чаша сия; может быть, именно оттого, что жил не на виду, в провинции:

хотя и там усердие местных властей, направленное ко второму изъятию ученого, было проявлено, однако не слишком рьяно...

Вот в эти-то веселые годы, разглядывая дамокловы мечи над головами, Оксман и Азадовский работают с особой энергией: времени остается мало, горевать и жаловаться унизительно, да к тому же «нытье» разъедает и убивает человека вернее, чем лагерь. Только работой можно и до́лжно спасаться; герои же Оксмана и Азадовского — декабристы, Пушкин, Белинский, Герцен и на столетнем расстоянии вдохновляют, ободряют — «и падшего крепят неведомою силой».

Сохранившиеся письма двух ученых, каждый из которых стоил десяти академиков и кого, естественно, на пушечный выстрел не подпускали к «почетным званиям»,— эти письма — памятник высокого духа, настоящей науки и глубочайшей горечи *.

Оксман — Азадовскому, из Саратова: «Не знаю, понятно ли Вам это ощущение морально-психологической атмосферы. Вероятно, нечто подобное имел в виду Герцен, говоря о снижении уровня русской жизни после 14 декабря. Таковы были ощущения Грибоедова, из-за которых он сбежал в Тегеран; такого же порядка было отвращение Толстого к городу. Неловко прикрываться такими именами, но никак не выразить Вам моего отношения и к Москве, и к Ленинграду».

В другой раз — о вполне благополучном коллеге: «Конечно, А. работает эффективно в количественном отношении, но все его работы (или почти все) как-то обходятся без затраты крови и нервов, которые сокращают жизнь нашему брату — ученым, претендующим прежде всего на новые мысли, а не на библиографический пафос или словесную виртуозность».

---

* Автор очень благодарен Константину Марковичу Азадовскому, ознакомившему его с перепиской отца.

О других, весьма знатных, но малоуважаемых коллегах: «Сумбур, отсебятина, незнание основ хронологии, щеголяние мелочами и забвение основного»; «М.— бонза с давно окостеневшими мозгами».

Азадовский, более мягкий и сдержанный, также опечален ослаблением моральных устоев в науке: «Я вот, например, послал своих Бестужевых Н... Это, можно сказать, подарок, и материально существенный. Это, знаете ли, не бесплатно рассылается, а стоило 35 рублей. «Сумма!» — как говорил один мой сказочник,— и до сих пор ни единой строчки со словом «спасибо» не получил. А ведь Н., казалось бы, из другого поколения и другого воспитания. Ведь девочке по-моему за 60. Впрочем, «льщу себя надеждой», что она пришлет мне свой монументальный труд. «Держи карман»,— скажете Вы и будете совершенно правы».

Оксман — Азадовскому: «Разве есть хоть одна тема, трезвое рассмотрение которой не поставит Вас против благоглупостей нашей историографии?.. Вспомните, дорогой Марк Константинович, как эти прохвосты обращаются с нашими именами, потому не спешите возводить этих лже-Дмитриев на пьедесталы, цитируя их «мнения», «выводы» и т. п. Даже спор с ними придает их фальшивкам какое-то значение, которого они в действительности не имеют...»

Среди различных декабристских имен, мелькающих в переписке среди этих старинных знакомых, которые где-то рядом (подумаешь, каких-нибудь 70—100—125 лет), среди них все время нет-нет да и возникает старый друг Владимир Федосеевич. Оксман даже завидует своему герою, который, кажется, никогда в жизни ни в чем не сомневался, «не то, что мы, грешные». Зато к новым трудам и публикациям о Раевском Юлиан Григорьевич, как всегда, остер и беспощаден: «Книга Б. о Раевском — несусветная чушь»; «Прочел статью и книжку о Раевском в «Библиотеке поэта». Многое сделано

правильно, устранены вопиющие ошибки и дикие вымыслы, но кое-что осталось в первобытном безобразии».

Впрочем, когда Азадовский с огромным трудом добывает для саратовского друга и корреспондента книжечку о Раевском уже упоминавшегося иркутского исследователя Семена Коваля (тот, не смущаясь, опровергал ошибки некоторых столичных знатоков), Оксман соглашается: «Книжка деловая и нужная».

«*Бывают странные сближения*»,— заметил Пушкин.

В ту самую пору, когда два полуопальных ученых обмениваются мнениями о наследии декабриста-поэта (на могиле Раевского Азадовский, конечно, бывал не раз, Оксман же ни разу; через Иркутск только по этапу и обратно — в сверхнабитом поезде, на зыбкую свободу),— в это самое время в заочной биографии Владимира Федосеевича происходят два удивительных события. О первом из них, воронежском, оба ученых, наверное, так и не узнали, дело стало достоянием печати лишь сорок лет спустя, в 1988 году. Ко второй же истории — ленинградской — Азадовский и Оксман имели самое прямое отношение.

ВОРОНЕЖСКАЯ ИСТОРИЯ

У Владимира Федосеевича — сын Юлий, офицер, чиновник. У Юлия — сын Ефим Юльевич; внук Митрофан Ефимович, связист, в 1920 году гибнет: «Его сбросили на ходу с поезда пьяные революционные матросы, скорее всего анархисты. Не понравился им офицерский китель деда» (здесь и далее «воронежская история» документируется цитатами из автобиографической повести А. Жигулина «Черные камни» — журнал «Знамя». 1988. № 7 и 8).

У Митрофана Ефимовича Раевского было десять де-

тей (правнуки декабриста); среди них — Евгения Митрофановна Раевская, которую «как дворянку в институт не приняли (она хотела учиться в медицинском). Она окончила курсы телеграфистов». На станции Кантемировка Е. М. Раевская выходит замуж за Владимира Федоровича Жигулина, выходца из многодетной крестьянской семьи.

Обратный по отношению к прадеду вариант: дворянка — за крестьянина; впрочем, для 1920-х годов дело обычное...

1 января 1930 года: рождение Анатолия Жигулина, праправнука нашего героя; в будущем, как и предок,— он заговорщик и поэт. Детство и юность его проходят в Воронеже, где в это время живет в ссылке Осип Мандельштам, но это мало кому известно.

1947—1948 годы. В Воронеже создается КПМ — Коммунистическая партия молодежи, нелегальная организация с марксистско-ленинской платформой. В нее входило более пятидесяти человек, программу вырабатывают Борис Батуев, Юрий Киселев и Анатолий Жигулин, часто действующий под фамилией Жигулин-Раевский или Раевский. Цель организации — «изучение и распространение в массах подлинного марксистско-ленинского учения... Захотелось нам, чтобы все были сыты, одеты, чтобы не было лжи, чтобы радостные очерки в газетах совпадали с действительностью... Нашими действиями руководили самые искренние и благородные чувства, желание добиться счастья и справедливости для всех, помочь Родине и народу. Много было в нас и юношеской романтики. Опасность, грозящую нам, мы хоть и чувствовали смутно, но не предполагали, сколь она страшна и жестока. Вообще, по моему убеждению, только в ранней юности человек способен на такие беззаветные порывы. С годами люди становятся сдержанней, осторожнее, благоразумнее. Может быть, и прав А. Межиров, говоря, что «даже смерть — в семнадцать — малость»?

Семнадцатилетний прапрадед успел на первую Отечественную. Праправнук и его ровесники на фронт не успели, но видели войну «в двух шагах», в горящем Воронеже.

Старший после войны 1812-го —

От соучастья трепетал...

Младший:

О люди!
Люди с номерами.
Вы были люди, не рабы,
Вы были выше и упрямей
Своей трагической судьбы.

Сентябрь 1949-го. Арест членов КПМ, в том числе 19-летнего Жигулина-Раевского (как у предка, когда 6 февраля 1822-го «роковой час решил участь всей остальной жизни...»).

С осени 1949 года — следствие: «Следователь был новый, в майорских погонах. Позже, подписывая утром протокол допроса, я узнал: майор Харьковский, заместитель начальника следственного отдела.

Первые два-три часа допроса Харьковский никаких вопросов вообще не задавал. Что-то листал, писал, переписывал, не обращая вроде бы на меня никакого внимания. Но стоило мне хоть чуть-чуть задремать, он сразу замечал:

— Не спать, Жигулин! Вы на допросе!

— Но вы же ничего не спрашиваете.

— Я могу в любую минуту спросить.

— Но ведь я не спал трое суток!

— Это немного».

Избиения («пятый угол»), ледяной карцер, фальсификация допросных протоколов...

Параллели двух биографий на поверхности.

Прапрадед (друзьям из темницы):

Не будит вас в ночи глухой
Угрюмый оклик часового
И резкий звук ружья стального
При смене стражи за стеной.
И торжествующее мщенье,
Склонясь бессовестным челом,
Еще убийственным пером
Не пишет вам определенья
Злодейской смерти под ножом
Иль мрачных сводов заключенья...

Праправнук:

Трехсотые сутки уже на исходе,
Как я заключенный тюрьмы МГБ.
Солдат с автоматом за окнами ходит,
А я, как и прежде, грущу о тебе.

24 июня 1950 года. Приговор «Особого совещания»: Жигулину-Раевскому 10 лет лагерей.

«Я сначала ничего не понял. Ведь мы ждали суда и хотели отказаться на суде от выбитых из нас «признаний». Я спросил:

— А когда же будет суд?

— А это и есть суд. Самый высший. Ваше дело тщательно рассмотрели и вынесли решение». (Когда декабристам прочитали приговор, Пущин воскликнул: «Как! Разве нас судили?»)

Лето 1950-го. Сцена в тюрьме:

«Две худые, злые, некрасивые женщины. Одна — другой:

— Марусь! Погляди-ка, кто к нам пожаловал.

— Кто?

— Такой молодой, а статьи такие тяжелые. Из бывших, что ли?

— Нет! — сказал я.

— А почему Раевский?.. Они кто — князья или графы были, эти Раевские? — обратилась она уже к Марусе.

— Точно не знаю, но мы вроде уже их всех перебили.

— Я праправнук декабриста и поэта Владимира Федосеевича Раевского.

— Знаем мы вас, внуков и правнуков. Все Раевские в белых армиях воевали, и все в расход пущены. Разве что за границу кто успел убежать.

— Ладно. ... с ним! В 506-ю его. Контра недобитая!»

Затем из Воронежа через Москву (в фургоне «Мясные изделия»); в столыпинских вагонах — через Россию и Сибирь.

Сентябрь 1950-го — август 1951-го. Тайшетская пересылка, тяжелая работа на лесоповале, где однажды возникает диалог:

«— Раевский? Вы дворянин?

— Нет. Мама была дворянкой.

— Позвольте, но ведь Раевских-мужчин, кажется, всех перебили во время гражданской войны, оставшихся — в тридцать седьмом. Вы старший сын в семье?

— Да.

— Так вы, Толя, по законам Российской империи, потомственный дворянин. Ибо если пресекается мужская линия знаменитых наших фамилий, то титул и звание наследует старший сын женщины, принадлежащей к этому роду. А у вас еще и фамилия двойная».

Август — сентябрь 1951-го. Из Тайшета на Колыму; затем три каторжных года.

Когда-то Владимир Федосеевич Раевский воображал «сибирскую пытку» XVIII века и даже допускал возможность повторения (разумеется, не буквального) в XIX:

Где прежде жертвы зверской власти,
Как я, свои влачили дни;
Где я погибну, как они,
Под игом скорбей и напастей.

1954-й. Наступает время «после рождества Хрущева» (шутка Оксмана). Жигулина амнистируют.

1956-й. Реабилитация.

Праправнука Раевского в Воронеже и Сибири обрабатывали так жестоко и страшно, как и в дурных снах о «турецкой расправе» не снилось его далеко не робкому прапрадеду.

Если бы Владимир Федосеевич мог это все предвидеть — что тогда? Помирился бы с царями, остановил бы революцию, которая для праправнука может иметь такие последствия?

На эти вопросы попробуем ответить в следующих частях нашей книги. Пока ограничимся утверждением, что предок понял бы страдания потомка; он о многом таком уже задумывался, на воле, в тюрьме, в Сибири, судя по тому, что открыли Щеголев, Оксман и другие (не переставая притом вздыхать о таинственной пропаже интереснейших его мемуарных страниц).

Но — «странное сближенье»: как раз в эту пору, когда Жигулину-Раевскому и его друзьям выбивали зубы, ломали ребра, читали приговор без всякого суда, давили на лесоповале,— в эту самую пору вдруг угрюмый, упорный прапрадед снова возник из небытия — да как, да кому!

«ЕСЛИ ЭТОТ ДЯДЯ НЕ РАЗДУМАЕТ...»

Азадовский — Оксману. Из Ленинграда в Саратов, 3 мая 1951 года: «Кажется, мне в руки попадают любопытные материалы В. Раевского, в том числе его автограф воспоминаний о Пушкине с неизвестными кусками. Они оказались здесь в какой-то антикварной лавке и куплены

местным любителем-собирателем, который склонен разрешить мне их публикацию. Это все, видимо, фрагменты задуманных В. Ф. Раевским мемуаров: здесь же рассказ о встречах с Константином... и совершенно неизвестный рассказ о пребывании в Петропавловской крепости. Если этот дядя не раздумает, то постараюсь приготовить это к очередному номеру «Литературного наследства».

«Дядя» не раздумал. К сожалению, мы так и не знаем до сей поры, от кого ленинградский коллекционер Всеволод Александрович Крылов получил огромную рукопись Раевского. Если угодно, здесь была мистика, фантастика, сближение уже не странное, а невероятное.

После того как рукопись Записок Раевского затерялась между Петербургом и Сибирью в конце XIX столетия, после того как Щеголев «зацепил» какие-то бумаги в Петрограде-Ленинграде, причем неясно — те самые, что пропали некоторое время назад, или совсем другие; после того как революция и последующие события разметали старинные архивы и коллекции; после того как аресты и ужасы 1930-х годов привели к гибели еще миллионы бесценных рукописей; после того как пропали «раевские бумаги» репрессированного Оксмана; после того как еще множество старых бумаг разделило печальную судьбу своих хозяев во время ленинградской блокады (жена Оксмана Антонина Петровна второй раз чудом сумела вывезти некоторые документы, собранные осужденным мужем): после всего этого сколь мало надежды было именно в послевоенном Ленинграде, через 80 лет после смерти Раевского, отыскать его столько раз исчезавшие и погибавшие труды!

И вот нашлись же...

Пожалуй, не было другой столь непонятной декабристской находки; и если (как давно известно исследователям) рукописи, сочинения живут по законам «авторского характера»,— тогда можно сказать, что Владимир Федосеевич гордо и дерзко преодолевал посмертные об-

стоятельства, по-своему, по-раевски, оспаривая кровь, войну, тиранию.

Оксман — Азадовскому, 15 мая 1951 года: «Ваше сообщение о мемуарных записках В. Ф. Раевского меня наполнило радостным чувством не только оттого, что эти записи нашлись, но и потому, что с меня снимается ответственность за гибель в моей ленинградской квартире щеголевской копии фрагментов Записок Раевского, частично использованных им в его книжке. Один экземпляр погиб в Гослитиздате (куда сдан был из Общества политкаторжан III том «Воспоминаний и рассказов декабристов»), а другой (самый оригинал) в моей квартире в пору блокады».

Труднейшие времена, последние сталинские годы,— а два многострадальных ученых испытывают минуты и часы счастья, которыми из XIX века их щедро одаряет Владимир Федосеевич Раевский. Вдохновленный удачей друга, Оксман собирает и обрабатывает для того же будущего тома «Литературного наследства» тексты писем, разных документов, сохранившиеся у него после обыска и ленинградской блокады. Из Ленинграда в Саратов, из Саратова в Ленинград идут вопросы, ответы, сопоставления, размышления о столь, казалось бы, далеких и столь милых сердцу 1820-х, 1830-х, 1840-х, 1850-х, 1860-х годах.

Азадовский: «Вообще-то не в пример прочим декабристам он, Раевский, не затушевывает своих революционных настроений,— с этой точки зрения его мемуары должны быть отнесены к той же категории, что и бестужевские или горбачевские *. Напоминают они их и по свежести, силе чувства».

Оксман: «У меня много материалов о Раевском, в том числе подлинники, которые я собрал из всех архивов

* Подразумеваются декабристы — братья Бестужевы и Горбачевский. (*Прим. авт.*)

СССР, купил у потомков и прочее. Когда-то это была одна из любимых моих работ, в процессе реализации которой я многому научился. Где-то в архиве Соцэкгиза остался III том рукописи «Воспоминаний и рассказов декабристов», где была и моя работа о Раевском».

Азадовский: «Боюсь, не сочтут ли за ересь и парадокс мое утверждение, что «кишиневский заговор» не был раскрыт главным образом потому, что этого не хотели Сабанеев и Киселев. Не «не умели», как принято думать, а не хотели; считали опасным и преждевременным. И в этом я усматриваю связь с общей политикой Александра в конце его царствования».

Оксман одобряет крайне смелую по тому времени мысль, ибо считалось, что «людей с той стороны» — Киселева, Сабанеева, Александра I — нужно рисовать одной краской, притом самой черной.

Азадовский: «Вы не только лучший в Союзе знаток русской литературы, но и единственный знаток Раевского».

Незадолго до смерти Азадовский, обычно столь мягкий в своих письмах, прочитав в письме саратовского друга совет — шире печататься, дать, наконец, отпор клеветникам (на дворе 1954 год), возражает: «Да что же это такое? Я просто не узнаю Вашего всегда трезвого отношения к действительности и Вашей острой критической мысли. Ну что же я могу с ними сделать? Доставить им своей острой и беспощадно-правдивой критикой несколько неприятных минут? Вот и все. А ведь они-то сломали мне всю жизнь, и этого уж никак не поправить. Впрочем, ведь большинство из них играло роль жалких пешек...»

Азадовский объясняет, что лучшие его вещи появились в печати «до некоторой степени случайно, исключительно вследствие доброго отношения ко мне двух-трех человек... Основной труд «История русской фольклористики» ведь никогда не увидит света! А если и увидит. Что толку?

Я разворован до ниточки». Ученый извиняется перед коллегой «за нюни»; он болен и, кажется, предчувствует, что не только не доживет до выхода своей двухтомной фольклористики, но не дождется даже тех уже отправленных в печать томов «Литературного наследства», где мемуары Раевского, где грандиозный обзор затерянных и утраченных сочинений декабриста.

Оксман (отдыхавший у друзей под Москвой): «Вот и прошли прекрасные дни Аранжуэца. Надо возвращаться в Саратов, в глушь, к сукиным сынам... Вы сами себя подкашиваете своей мнительностью, своим, как Вы выражаетесь, «нытьем». Времена столь жесткие, люди бесконечно устали от собственных забот — их «нытьем» не проймешь...»

Кажется, будто образ непробиваемого Раевского витает над этим письмом, последним в долгой переписке, накануне смерти Марка Константиновича Азадовского.

«ПРОМЧАТСЯ ГОДЫ...»

Не стало Азадовского; не успел порадоваться возвращению Оксмана из Саратова в Москву.

И снова — «странное сближение»: как раз в год полной реабилитации Раевского-праправнука и его однодельцев — в 1956-м вышли в свет сине-зеленые тома «Литературного наследства» («Декабристы-литераторы»), и в одном из них, рядом, две замечательные работы: «Воспоминания В. Ф. Раевского». Публикация и вступительная статья М. К. Азадовского. Имя ученого в траурной рамке... Вслед за тем: «Неизвестные письма В. Ф. Раевского (1827—1866)», публикация и вступительная статья Ю. Г. Оксмана.

Юлиан Григорьевич Оксман еще пожил, немало сделал, возглавил академическое издание Герцена, осуществил несколько других трудов, публикаций; дарил идеи,

щедро разбрасывал мысли, многим помогал, ежедневно писал по нескольку изумительных писем. Притом сохранил остро-опасный язык, крепкий полемический «раевский» удар; не утратил и таланта умножать врагов. Чего стоили его публично высказанные мысли о процветавшем в сталинские годы пушкинисте Б.— «соглашаться с ним было очень скучно, не соглашаться — очень опасно»; в другой раз ему подвернулся некто И., написавший ряд унылых работ об исторических взглядах русских революционных демократов: «В работах И. историк Белинский как две капли воды похож на историков Герцена, Добролюбова, Чернышевского, Писарева,— и все вместе они вылитая копия, двойники маленького И.».

Еще о нескольких официальных Ах-хилах: «Они судят о Пушкине, как о сотруднике их собственных академических отделов, который в силу тяжелых условий самодержавного режима не сумел защитить даже кандидатской диссертации».

Дело кончилось тем, что Оксмана опять в чем-то обвинили (и никто не знал в чем, и каждый обязан был верить безгласной тайне): осенью 1964-го последовал приказ свыше — изъять имя ученого из всех выходящих книг; с огромными ухищрениями друзьям, ученикам и просто порядочным людям удавалось пробивать упоминания об Оксмане в своих работах. Так, автор этих строк перехитрил одного упорного цензора тем, что предъявил ему копию своего письма к М. А. Суслову (письма, написанного, но «еще не отосланного»!). Крупнейшая государственная персона извещалась, что почему-то от исследователей требуют изъятия фамилии Оксмана даже в ссылках на его труды, так что приходится «присваивать работы этого знаменитого филолога, что, как товарищу Суслову известно, противоречит этике советского ученого».

— Ну ладно, отвяжись,— сказали в редакции (видно, «инструкция» была несколько растяжимой),— только сократи число упоминаний этой фамилии, пусть вместо восьми случаев останется три.

15 сентября 1970 года Юлиана Григорьевича не стало.

Среди выступивших на похоронах был близкий друг покойного, знаменитейший литературовед Виктор Шкловский. Он тяжело дышал, плакал, долго не мог начать — затем буквально выкрикнул: «У подножия гробницы Тимура похоронен Улугбек. Он изучал звезды и составлял звездный каталог, и его убили. Сколько стоят звезды? Сколько стоит книга? Сколько стоит одна буква науки? Юлиана нет, а мне нужно позвонить ему, я не могу это сделать... Простите меня, я старый».

Сколько стоит наука?

Пройдет несколько лет, и в Иркутске начнут выходить научные тома, посвященные декабристам, где между прочим появится статья Оксмана о Раевском (естественно, последовал «втык» издателям и редакторам); затем — статья Азадовского о Раевском.

Наконец,— сам Владимир Федосеевич Раевский.

Недавно ленинградские исследователи А. А. Брегман и Е. П. Федосеева обработали десятки томов гигантского следственного дела,— и вот выходят в свет две книги: *В. Ф. Раевский, «Материалы о жизни и революционной деятельности»*. Выходят, многое объяснив, но нередко лишь возбуждая наше любопытство.

Владимир Федосеевич не сомневался, что люди, родственные души как-то связаны всегда во времени и пространстве, и вот он является в конце неведомого ему XX столетия, и еще придет — загадками, сомнениями, упорством: такой уж характер.

Теперь же, после того как мы вкратце рассказали, откуда знаем о жизни и трудах, о бедах и счастье Раевского,— теперь Владимир Федосеевич настоятельно требует нашего неторопливого возвращения в роковой для него 1822-й год...

ЧАСТЬ III

Что нам пользы от человека,
который, уже давно
занимаясь философией,
никому не доставил
беспокойства?

Диоген

«Прямо против дверей, в которые я вошел, у другого конца стола, на котором стояло кресло, стоял генерал Сабанеев, как бы ожидая моего прихода».

Этот текст, цитирование которого мы оборвали много страниц назад, взят из той самой рукописи, что просочилась в Санкт-Петербург из сибирской глуши, пропадала, возникала, снова пропадала, пережила несколько революций, две мировые войны, ленинградскую блокаду, сталинские репрессии, чудом попала в руки Азадовского и увидела свет после смерти ученого.

Раевский против Сабанеева.

Владимир Федосеевич пишет «портрет» противника; портрет мастерский, особенно если учесть, что пишет ненавидящий о ненавидимом. Отдадим должное молниеносной смене положительных и отрицательных ракурсов, большой объективности при немалой и понятной пристрастности.

«Сабанеев был офицер суворовской службы и подражал ему во всем странном, но не гениальном; так же жесток, так же вспыльчив до сумасбродства, так же странен в обхождении — он перенял от него все, как перенимают обезьяны у людей. Его катехизис для солдат в глазах благомыслящих людей сделал его смешным и уродливым. Его презрение ко всему святому, ненависть к властям обнаруживались на каждом шагу. Его презрение к людям, в особенности к солдатам и офицерам, проявлялось в дерзких выражениях и в презрительном обхождении не только с офицерами, но с генералами.

Росту не более 2 аршин и 3 вершков, нос красный, губы отдутые, глаза весьма близорукие, подымающиеся и опускавшиеся, как у филина, рыже-русые волосы, бакенбарды такого же цвета под галстук, осиплый и прерывистый голос, речь, не имеющая никакого смысла, слова без связи. Он говорил с женою (которую отнял у доктора Шиповского), с адъютантами, как будто бы бранился. Человек желчный, спазматический и невоздержанный — он выпивал ежедневно до 6 стаканов пунша, и столько же вина, и несколько рюмок водки.

Может быть, кто-нибудь сочтет слова или описания мои пристрастными. Но я пишу для будущего поколения, когда Сабанеева давно уже нет. Впрочем, он имел много благородного, если действовал с сильными. Он знал военное дело, читал много, писал отлично хорошо; заботился не о декорациях, а о точных пользах солдат, не любил мелочей и сначала явно говорил против существовавшего порядка, и устройства администрации, и правления в России, и властей. Так что до ареста моего он был сам в подозрении у правительства».

На первом допросе Сабанеев тихим голосом спрашивает Раевского, верно ли, что он говорил юнкерам: «Я не боюсь Сабанеева!» Майор не помнит, говорил ли он подобные слова; генерал говорит, что может выставить свидетелей.

Раевский: «Я полагаю, что если бы я сказал: «не говорил», или «извините, что говорил»,— и самолюбивый человек, может быть, кончил бы ничем... Но этот тон, это требование, моя вспыльчивость, вызов с юнкерами на очную ставку — решили все.

— Я повторяю, что я не помню, но если, ваше превосходительство, требуете, чтоб я Вас боялся, то извините меня, если я скажу, что бояться кого-либо считаю низостью».

Любопытнейшая ситуация: Сабанеев, свободный, горячий, сам вроде бы никого не боящийся и, конечно, ува-

жающий себе подобных (вспомним из его давнего письма: «Кто бога боится, тот никого не боится»), однако все же он «из восемнадцатого столетия», из иной эры, нежели майор Раевский; генерал Ермолов признавался, что если б не отсидел в тюрьме при Павле I, то был бы еще более дерзок с властителями...

Я вас арестую.

«— Не боитесь? Но как вы смели говорить юнкерам...

— Ваше превосходительство! Позвольте вам напомнить, что вы не имеете права кричать на меня... Я еще не осужденный арестант.

— Вы? Вы? Вы преступник!..

Что было со мною, я хорошо не помню, холод и огонь пробежали во мне от темя до пяток; я схватился за шпагу, но опомнился и, не отняв руки от шпаги, вынул ее с ножнами и подал ее Сабанееву. «Если я преступник, вы должны доказать это, носить шпагу после бесчестного определения вашего и оскорбления я не могу». Этим заключилась драматическая сцена».

Майор оказывает сопротивление, снова напоминает, что Россия не Турция, что существуют презумпция невиновности, дворянское достоинство; в другой ситуации Сабанеев бы, конечно, все это оценил. Однако сейчас генерал выходит из себя, хватает чужую шпагу и кричит: «Тройку лошадей, отправить его в крепость Тираспольскую!» Раевский в ответ заявляет, что он нездоров, и если сейчас его повезут — это равняется телесным насилиям и пыткам: «Я офицер... права не имеете».

«— Хорошо, если вы нездоровы, вы останетесь здесь. Подождите. Послать за доктором и освидетельствовать».

Врач оказался старым знакомым, который тут же составил бумагу, что больному Раевскому «нужен отдых... и сильные движения очень опасны»; затем прописал лекарство, шепнув, что его можно вылить, и тем самым задержал отправку в Тирасполь на целую неделю.

Разумеется, на квартире майора производится обыск, и хотя он, предупрежденный Пушкиным, наиболее опасные бумаги уже сжег, но — не все; сверх того, Сабанеев уже располагал или собирался получить в ближайшие дни новые сведения от доносчиков — юнкера Сущова, офицеров Юмина и Неймана; можно нажать и на других юнкеров, припугнуть солдат: все на одного, дело привычное, любого человека кипа бумаг свалит, а командир корпуса докажет свою деятельность по очищению вверенных войск.

8 февраля Сабанеев секретно докладывает главнокомандующему генералу Витгенштейну: «Майор Раевский был главною пружиною ослабевшей дисциплины по 16-й дивизии».

Теперь Раевский взят — дисциплина вне опасности...

ФЕВРАЛЬ — МАРТ

Дебют партии кажется очень выгодным для Сабанеева; однако генералу следовало основательнее задуматься над фразой Раевского — «бояться кого-либо считаю низостью». Из этого следует по крайней мере то, что начальству трудно рассчитывать на добровольное признание майора, быстрое и выгодное окончание дела «малой кровью».

Сабанеев, как старый и опытный стратег, конечно, кое-что угадывает, однако все же недооценивает противника. В докладе Киселеву командир 6-го корпуса должен признать, что существенных улик против Раевского все же маловато: в ход придется пустить даже показания священника 32-го егерского полка, который вдруг весьма кстати припомнил слова майора Раевского, «что исповедь, установленная в православной греко-российской церкви, вовсе не только для него, но и никому не нужна. К крайнему моему сожалению, увидев я в среде, вверенной мне богом и верховным начальством, примерной к бого-

почитанию всех чинов, кроме отмеченных мною, сказал я ему, Раевскому, слова спасителя: «От избытка сердца уста ваши глаголят».

Кто-то еще припоминает разговоры, которые офицер открыто вел в присутствии нескольких свидетелей,— о конституции, о восстании Семеновского полка.

В *другое* царствование, конечно, этого хватило бы за глаза, но пока что идет *это* царствование...

Несколько показаний, ложащихся на стол к Сабанееву, снова, как и до ареста майора, касаются темы самой щекотливой: тайное общество, тайный союз, на который заговорщики должны были отчислять одну двадцать пятую своих доходов. Однако наверху помнят, что Союз благоденствия год назад вроде бы распущен... К тому же, в государстве все столь перепутано, что Сабанеев в одном из февральских писем Киселеву, потолковав о внешних новостях (австрийцы, Дунай), прибавляет как бы между прочим: «Вот Вам внешние новости; но у нас дома не здорово. И продолжение влияния некоторых лиц (если слышанное справедливо) должно быть пагубно. *Терпение и молчание*, как говорит Раевский, должны быть нашим девизом — Союз 16-й дивизии, называется Союзом благоденствия».

О чем здесь речь?

Пагубное влияние «некоторых лиц» — об этом Сабанеев пишет не в первый раз, подразумевая Аракчеева, Фотия, Магницкого и других реакционеров, воздействующих, «влияющих» на царя и общую политику. Однако — *молчание и терпение*! Генерал-лейтенант иронически использует для себя и Киселева политическую формулу — и чью же! Майора, сидящего под следствием...

После упоминания имени Раевского Киселев ожидал найти в том письме острое политическое обвинение, услышать восклицание: «Вот до чего мы дошли!» Однако вместо всего этого следует спокойная фраза — «Союз 16-й дивизии, называется Союзом благоденствия», и сразу

вслед за тем: «Теперь поговорим о работах», то есть о сугубо военных, инженерных, хозяйственных работах...

Все смешалось, и судьи, кажется, говорят языком подследственных.

При другом бы царствовании...

Но пока что на престоле Александр I.

Три дня спустя, 2 марта, Сабанеев, получая новые и новые сведения о тайном обществе, с неудовольствием опять извещает друга-начальника Киселева: «Непенин сейчас отдал мне подписку Юмина на Союз. Как хотите, а *Союз* этот есть новость, в которую замешано много народу. *Словом, Союз воняет заговором государственным*».

Итак, в руках следствия подписка двух офицеров об их вступлении в тайный союз: факты неприятные, однако сюжет полицейский, а не военный. Сабанеев намекает: ваше, начальственное дело — как отнестись к этому, давать ли ход? Без прямого приказа никаким политическим расследованием заниматься не буду...

Меж тем в это самое время генерал-майор Орлов, отвечающий за 16-ю дивизию, за Раевского, за тайный союз,— хочет, но не может вернуться в Бессарабию: его не пускают дальше Тульчина, штаба армии, где он открыто и резко защищает свою дивизию, своих людей. Он прорывается к главнокомандующему, и Витгенштейн извещает Киселева о нелегком разговоре; Киселев, конечно, информирует Сабанеева, и тот без особого удовольствия узнает слова Орлова, что «он (Орлов) совершенно оправдается и что более никто дисциплины не нарушает, как г[осподин] Сабанеев. Что он не сумневается, что сия история ему повредит в мнении государя, но не меньше того он очень спокоен»; Орлов только просит, чтобы и Киселева подключили к расследованию, ибо «если одному Сабанееву оставить, то он будет стараться всякими домогательствами его очернить».

Ситуация деликатная. Сабанеев обижен всерьез: он, который защищал солдат и боролся с палками, оказы-

вается, виновник всех беспорядков; Киселеву отвечено, что «система (Орлова) исключительно для него только полезна — он отец и командир, а другие — ничто или тираны. Пусть его будет отцом. Не лучше ли мне смотреть на Милосердова издалека. Он может образумиться или доказать, что мы все не что иное, как старые драбанты, последователи слепой рутины. Ни того, ни другого ждать не выгодно. Не лучше ли мне оставить его на поприще славы и удалиться с закоренелостью моею под тень моих акаций. Прошу дружеского откровенного совета Вашего. Могу ли я надеяться, по крайней мере, при отставке не быть посрамлену и брошену, как поношенный туфель?..»

В «Приложении» к этим рассуждениям — прошение Сабанеева об отставке: или я, или — Орлов с Раевским...

Что скажет высшая власть?

Витгенштейн боится, что информация о скандале, в который замешаны уже несколько генералов и офицеров, распространится помимо его штаба: у царя есть свои прямые «информаторы», и неизвестно, как в Петербурге отнесутся к аресту майора и перепалке командира корпуса с командиром дивизии.

Царю надо как можно скорее доложить — но до того нужно самому понять, как и о чем доложить: что доказано, а о чем можно судить лишь с большой осторожностью.

Центр зловеще молчит. «Не мне их судить»,— сказал царь; значит ли это, что не ему, а *нам*, на Юге, их судить?

И тогда-то, по пути из Тульчина в Одессу, генерал Павел Дмитриевич Киселев заезжает в Тирасполь. Сабанеева в эту пору в крепости нет — он разбирается с правыми и виноватыми в Кишиневе. Начальник штаба армии приказывает открыть гауптвахту, караулу уйти и надолго оставить его одного с арестованным майором Раевским.

Ситуация более чем примечательная.

Взгляды Киселева мы знаем; дружеские его связи с Орловым и Сабанеевым, Александром I и Пестелем также понимаем.

Зачем приехал? О чем толковать?

В огромных, многотомных собраниях бумаг по делу Раевского можно отыскать несколько его собственных свидетельств о той встрече. На другой день после нее майор пишет Киселеву: «Вы не будете иметь причин раскаиваться, и при худом окончании дела моего я все почитать буду решение Ваше как знак снисхождения и великодушия».

Полтора года спустя: «Вы не могли сделать для меня более, но Вы сделали все, что предписывал Вам возвышенный образ мыслей, все, на чем я основываю надежды мои к оправданию.

Я покорюсь безропотно жребию моему, если правосудие найдет меня виновным и подпишет приговор мой. Но где бы я ни был, какая бы участь ни ждала меня — везде за предел жизни я унесу признательность мою к Вам.

Слова мои не суть ласкательства... Я не раболепствовал пред тем, в чьих руках были участь и жизнь моя, и не унизил себя лестью».

Еще признание: «Генерал Киселев через несколько недель после ареста моего спрашивал меня лично о существовавшем Союзе. Он обещал мне свое покровительство и милосердие государя».

Много лет спустя Ю. Г. Оксман опубликовал любопытнейшие выписки из тех мемуарных отрывков Раевского, которые попали в руки Щеголева. Это позднейшая, сибирская версия той беседы:

«Когда еще производилось надо мною следствие, ко мне приезжал начальник штаба 2-й армии генерал Киселев. Он объявил мне, что государь император приказал возвратить мне шпагу, если я открою, какое тайное общество существует в России под названием Союза благоденствия. Натурально, я отвечал ему, что «ничего не

знаю. Но если бы и знал, то самое предложение вашего превосходительства так оскорбительно, что я не решился бы открыть. Вы предлагаете мне шпагу за предательство?» Киселев несколько смешался: «Так вы ничего не знаете?» — «Ничего»...»

Сложив вместе несколько свидетельств, мы вроде бы должны обнаружить их противоречивость; однако, вчитавшись, увидим, что все сходится...

Киселева больше всего беспокоит судьба Михаила Орлова: товарищ, человек своего круга (именно в эту пору Киселев жаловался генералу Закревскому: «Не поверишь, любезный друг, сколь трудно мне действовать против приятеля и товарища давних лет,— изволь (оторвать) меня от посредничества между Орловым и Сабанеевым...»).

Вопрос же о тайном обществе крайне любопытен.

Киселев знал многое, как и многие; вспомним пушкинскую реплику о «заговоре»: «Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем? О заговоре кричали по всем переулкам...»

Другое дело, что Киселеву и его начальникам, вплоть до царя, важно понять отличие «мирных» союзов прежних лет, формально распущенных,— и новых, кажется более опасных.

Киселев был не прочь получить от Раевского подробности насчет программы и участников нового, боевого тайного союза и, кстати, понять роль генерала Орлова в этих объединениях. Одновременно проверялась стойкость Раевского: не выдаст ли на следствии Орлова, да и самого Киселева?

Раевский на многое отвечать отказался, чем Киселева и смутил, и удовлетворил: во всяком случае, начальник штаба мог быть спокоен, что Орлова майор не продаст. Более того, на другой день, явно по совету Киселева, Раевский просит разрешения «отдать генералу Орлову денежный отчет за шестимесячное управление школою», и вообще желает привести в порядок свои дела.

Разрешение получено не было, но зато майор мог отныне ссылаться на свое желание отчитаться, упорядочить; его трудно будет упрекнуть по крайней мере с этой стороны...

Кроме нескольких сохранившихся «цитат» из тюремной беседы Раевского с Киселевым была, несомненно еще и *потаенная часть*. Судя по косвенным признакам разговор был весьма откровенным, сложным, деликатным.

Выглядело это примерно так: Киселев признал благородные намерения Раевского и доказывал, что он сам, а также Сабанеев, в сущности, хотят того же — порядка и прогресса в армии, в стране. Соглашение между двумя группами «прогрессистов» пока, однако, затруднительно, ибо царь слишком многого опасается, Аракчеев слишком во все вникает; но — надо погодить, не торопиться: *молчание и терпение...*

Вот как тот же Киселев будет вскоре увещевать другого заговорщика, Орлова,— и мы имеем полное право применить это наставление к диалогу с Раевским (слова, вероятно, были другими, но суть, но мысли — те же!): «Все твои суждения в теории прекраснейшие, в практике неисполнительные. Многие говорили и говорят в твоем смысле, но какая произошла от того кому польза? Во Франции распри заключились тиранством Наполеона... Везде идеологи, вводители нового в цели своей не успели, а лишь ждали предлог к большему и новому самовластию правительства»; Киселев воображает будущую революцию: «Тут, несомненно, нашлись бы благонамеренные и представилось много желательных улучшений, но вместе с ними появились бы и люди 93-го года, и предложения развратные, и порядок заменился бы пагубною анархиею, и блистательные для некоторых минуты обратились бы в плачевные для них и народа последствия. Я полагаю, что гражданин, любящий истинно отечество свое и желающий прямо быть полезным, должен устремиться к пользе

дела, ему доверенного. Пусть каждый так поступает и больше будет счастливых».

Киселев допускает, что за такие мысли, «с духом времени не сходные», его могут назвать «рабом власти», но он все равно стоит за малые, постепенные дела, хотя бы «в пользу почтенных мучеников, солдат наших». Заканчивая длинное послание, Киселев говорит: «В суждениях моих могу ошибаться, но цель есть благонамеренная — и потому одинаковая с твоею. Разница в том, что ты даешь волю воображению твоему, а я ускромляю свое; ты ищешь средство к улучшению участи всех и не успеешь, а я — нескольких, и успеть могу; ты полагаешь, что исторгнуть должно корень зла, а я хоть срезать дурные ветви; ты определяешь себя к великому, а я к положительному. Но, любезный Орлов, сколь приятен мне разговор с тобою и сколь желательно мне убедить тебя, что слова, что мечтания не прибавляют ни на волос блаженства, что добрый исправник по мне полезнее всякого крикуна-писателя, мистиков, членов библейских и всех благотворительных обществ,— словом, что относительно к добру я предпочитаю действие, сколь ни малое, но точное, — всем великим, обширным замыслам и блаженству, единственно на красноречивых прениях основанному».

Не в первый и не в последний раз — российский конфликт одного «доброго пути» с другим.

Примерно так же, по всей видимости, урезонивал своего любимца Радищева министр, влиятельный вельможа Александр Романович Воронцов: когда Радищева осудили, начальник его жалел, написал губернаторам, чтобы они облегчили ему путь в ссылку, позже отогревал у себя в имении...

А через несколько десятилетий после Киселева, Орлова, Раевского восточносибирский губернатор Синельников будет огорчаться, что талантливый, яркий Лопатин занимается революцией, а не «настоящим делом»; попробует «приручить», закроет глаза на неудачный по-

бег, простит даже попытку спасти Чернышевского — и напишет просьбу царю, как о Чернышевском, так и о Лопатине; наверху, впрочем, губернатора не поймут, и Лопатин снова убежит: «не сработается» с Синельниковым — как и Сабанеев, Киселев с Орловым, Раевским.

Через сто без малого лет после ареста Раевского великий поэт сформулирует старинный и вечный спор:

Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства,
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство...

Осип Мандельштам, может показаться, согласен с мыслью Киселева — о труде и постоянстве; но сами стихи выдают потаенную, может быть, подсознательную авторскую мысль; мелькнул неодобрительный эпитет «слепые небеса»,— зато о «жертвующих» — «живые», о «вольности» — «сладкая».

Все правы по-своему — и Раевский в камере, и Киселев, отсылающий часового и входящий в эту камеру.

«Все перепуталось...»

ПОСЛЕ РАЗГОВОРА

Выходя из камеры, Киселев не обещает Раевскому, как и другу Орлову, легкой жизни, быстрого оправдания; но намекает, что, насколько это будет в его силах, постарается помочь.

Раевский позже, конечно, не раз вспомнит эту беседу; в зависимости от настроения и хода следствия будет то возмущаться коварством начальника штаба армии, то надеяться на его просвещенное благородство.

Киселев промелькнул в Тирасполе, в Кишиневе. Аккуратный Павел Долгоруков, конечно, не пропустил такого события в своем дневнике: «Мы удостоились лицезрения г. Киселева, который как редкий метеор блистал в сонмище кишиневских тусклых планет»; он показался чиновнику «напыщенным своим званием, достоинствами и богатством... Мне удалось поймать несколько слов, кинутых мимоходом, и той же чести удостоился Пушкин».

Старые знакомые — а ведь не спросишь: «Как там Раевский?»

Меж тем довольно скоро результаты тюремного свидания генерала и майора делаются достоянием многих важных лиц.

Киселев намекает Сабанееву и Витгенштейну, что не стоит слишком замешивать во всю эту историю генерала Орлова. Тем самым, конечно, положение Раевского ухудшается — все обвинения на него одного; но, с другой стороны, ослабляется тема сговора, заговора, тайных обществ: не может же тайный союз состоять из одного злоумышленника!

Киселев и Витгенштейн колеблются — где при нынешних обстоятельствах им выгоднее вести дело Раевского? У Сабанеева вроде бы проще всего, но командир корпуса — «лицо заинтересованное», и по справедливости, по закону надо бы передать дело в другую часть. Одно время хотели отправить майора в соседний, 7-й корпус генерала Рудзевича; однако после некоторых колебаний решили вопреки правилам (какие там правила!) все же оставить в 6-м корпусе: Рудзевич нейтрален, но зато не поленится углубиться в такие подробности, которые скомпрометируют «соседа». Чего доброго, слишком многое узнает и об Орлове, и о тайном союзе. Пусть Сабанеев зол, прямолинеен, но все же не станет слишком уж копать против самого себя...

Сабанеев ворчит: он солдат, человек свободный, совсем не склонный к делам политическим. Его заботы —

расположение бригад, провиант, качество воды *. Через несколько дней пишет Киселеву: «Исследование о деяниях Раевского требует времени, впрочем, я не медлю, но судите о ходе наших почт... Граф Витгенштейн, вероятно, торопится упредить могущие дойти до Петербурга слухи. Сие он делает, по мнению моему, справедливо, и я бы на месте его донес, что от меня известно и что по сему предписано сделать исследование и Раевский арестован».

По длинной, но быстрой цепи «Сабанеев — Киселев — Закревский — Волконский — царь» движутся новости с Юга, определенные, полувысказанные, недосказанные; по той же цепи — обратно. Государь не изволил отозваться и дать ясные указания; в подобных случаях молчание важнее слов. Из Петербурга не велят ничего прекращать, но и не требуют углубленного розыска: «Не мне их судить»...

Удивительные и в своем роде уникальные события.
Умом Россию не понять...

Сабанеев и Киселев согласны, что дело Раевского нужно вести сообразно предписанию, а также молчанию свыше. Осталось уладить только «орловский вопрос».

Сабанеев соглашается вывести киселевского друга из-под удара, но просит не возвращать его больше в дивизию. Условие принято; Орлов дивизию не получит, станет жить в Киеве, затем в имении, в Москве с молодой женой и детьми, издалека ловить слухи о молдавских делах. Изредка его настигают вопросы следователей, и он отвечает, что действовал всегда в духе приказов генерал-

* В письме между прочим мелькает «село Бабель над Днепром, в 12 верстах от Измаила... здесь, в Бабеле, лучше вода». Именно от этого географического названия, по всей видимости, произошла фамилия прекрасного писателя, родившегося 13 июля 1894-го и расстрелянного 26 января 1940 года. (*Прим. авт.*)

лейтенанта Сабанеева: «О прекращении жестокого обращения офицеров с нижними чинами».

Вопрос. Зачем он, Орлов, назначил Раевского вести дивизионную школу?

Ответ. «Признав в нем способности ума, трудолюбие, желание быть употребленным по сему предмету и, сверх того, познания, приобретенные в университетском воспитании, я поручил ему временно управление школы, и после короткого моего отсутствия, заметив в юнкерах большие успехи, я сделал общее положение и оставил его постоянным начальником. Пусть тот, кто меня обвиняет в назначении Раевского, назовет хотя одного штаб-офицера 16-й дивизии, которого мог бы я с пользою назвать начальником школы...

В течение сего времени я заметил только в нем несколько пылких выражений, таких, каковым сам я был подвержен в моей молодости и коих теперь не упомню. Строгие наставления от меня и действие собственного его рассудка и в сем случае имели полезное влияние. В конце 1821 года Раевский был таков, каковым бы желал всегда его видеть».

Если бы какой-нибудь фантастический компьютер мог принять в себя всю информацию о явной и тайной политике 1820-х годов, о расстановке политических и военных сил в центре и на окраинах, осведомленности и неосведомленности властей, о тайных связях и деятельности Раевского; если бы этой машине было предложено определить оптимальную линию поведения подследственного майора Раевского, линию, которая была бы наиболее безболезненной с точки зрения жизни, карьеры,— то машина, наверное, посоветовала бы майору признать дисциплинарные нарушения и объяснить корпусному командиру, что недостатки есть продолжение достоинств; что стремление улучшить положение солдат, избавить их от

палок, возможно, повело к излишним вольностям. И тогда Раевского, вероятно, сослали бы в дальний гарнизон, засчитали заключение в наказание (мы основываемся, как читатель увидит, на некоторых последующих деталях этого процесса).

У Раевского, однако, «свой компьютер», куда вложены трудно обсчитываемые понятия чести, смелости, достоинства, гордости, уверенности в правоте.

И тогда-то по всем военным правилам генерал-лейтенант Сабанеев с немалым числом готовых на все людей объявляет атаку на майора.

В следственный комитет входят известный уже нам малосимпатичный начштаба 6-го пехотного корпуса генерал-майор Вахтен, генерал-майор Черемисинов, склонный к полицейскому сыску, и еще несколько подобных лиц. Затем офицеры, юнкера длинной чередой приглашаются на допросы. Одни показывают довольно охотно, другие изворачиваются, упираются,— но все почти Сабанеева боятся.

Впрочем, трепещут и перед грозным в контратаках Раевским. Два главных доносчика путаются, сбиваются, к тому же Сабанеев вряд ли может скрыть свои чувства, слушая, к примеру, как отвечает на вопросы полковник Нейман:

«По какому поводу ставили вы рядовых на колени?»

Ответ. «Быв очевидцем взыскания с равных мне и офицеров за самомалейшее наказание палками, избегая подвергнуться таковому же взысканию, ставил на колени».

Палками Орлов не велел бить, и Сабанеев не велел,— но Нейман нашел *выход*...

Вслед за офицерами и юнкерами — солдаты. Их допрашивают о Раевском скопом и в отдельности, в казармах и в строю. Но они, за редким исключением, как один, повторяют: «Майор Раевский приказывал нам служить верою и правдою богу и великому государю до последней капли крови!»

Раевский удивлен и тронут. Много лет спустя запишет: «Никогда я не говорил ничего подобного солдатам».

Известные тюремные стихи Раевского сейчас публикуются с одним неверно прочитанным словом:

Напрасно голос громовой
Мне верной *чести* боевой
В мою защиту отзывался...

Непонятно, что это за «верная честь боевая»?

Точнее — в старинных списках:

Напрасно голос громовой
Мне верной *черни* боевой...

Верная чернь, солдаты, договорились не губить майора, на которого начальство бросает целый корпус.

Сабанеев — Киселеву (29—30 марта 1822 года): «Раевский во всем запирается и на каждый вопрос пишет преобширные диссертации».

Впрочем, когда диссертации, а когда — одно-два слова. Неделю спустя Сабанеев предлагает длинный, запутаннейший вопрос, смысл которого, что, согласно многим свидетельствам, Раевский одобрял восстание Семеновского полка.

Ответ. «Буйство Семеновского полка я никогда не одобрял».

Еще более длинный и сложный вопрос приведем целиком:

Сабанеев: «Что между начальником и солдатом не должно быть различия, а равенство должно быть. Противу сей статьи, Ваше благородие, пишете: «Начальник же равен быть солдату не может и не должен потому, что это закон порядка. Порядок без постепенности быть не может, а как скоро, говорил я, начальник и солдат, то о равенстве говорить не мог; да и майор Загорский, верно, не сообразил и не знает, что *равенство* есть пустое

слово, которого действия в действительности не существует. Следственно, я имею довольно понятий, чтобы не говорить того, и показание это считаю за несправедливое», а как по существу свидетельского доказательства Вы должны были отвечать литерально *, говорили вышеупомянутое или нет, то имеете здесь отвечать решительно, ибо Вы вместо прямого ответа распространились только о незнании майора Загорского, что равенство есть пустое слово, о Ваших понятиях и прочее?»

На это многословие майор отвечает одной фразой: «О слове «равенство» я никогда не говорил».

Если бы он мог поделиться своим опытом со многими будущими декабристами, которые, отвечая на вопросы следствия, говорили и писали слишком много, слишком подробно — и попадались на каждом шагу!

Раевский подробен только тогда, когда анализирует противоречия противника: тогда он пишет 5—10—15 возражений, намекает на несогласованность разных свидетелей, доказывает, что показания из них выбиты.

Так, некий подпоручик утверждает: «*Слышал от майора Раевского (но при ком и из какого разговора, не помню): похоже, что общество нашего полка не согласно на конституцию или на слово свобода (чего не упомню)*, чего желают первые особы».

Раевский же говорит, что среди первых особ он мог иметь в виду, между прочим, государя императора, а затем прибавляет: «Просто о свободе я никогда и ни о каких первых особах не говорил, но говорил об освобождении крестьян, чего первые особы желают, а под первыми особами разумел генерал-лейтенанта графа Воронцова, генерал-лейтенанта Васильчикова и министра господина Кочубея и не упомню других, о которых тогда слух носился, что они хотели дать крестьянам своим свободу».

Итак, где нужно — целая диссертация, а в другой

---

* То есть с буквальной точностью. (*Прим. авт.*)

раз двух-трех слов достаточно, чтобы отбросить враждебных генералов, офицеров, юнкеров.

Противнику приходится силы перегруппировывать...

А за стенами Тираспольской крепости — молдавская весна 1822 года.

Чиновник Долгоруков все записывает кишиневские происшествия.

22 мая: «У наместника обедала одна домашняя сволочь».

25 июня — 32 градуса жары.

18 июля: В Кишинев приходит 33-й егерский полк, который в страшную жару «для одной токмо дислокации» делает 300 верст... «Русский солдат все на свете вынесет».

20 июля: «Наместник ездил сегодня на охоту с ружьем и собакою. В отсутствие его накрыт был стол для домашних, за которым и я обедал с Пушкиным. Сей последний, видя себя на просторе, начал с любимого своего текста о правительстве в России. Охота взяла переводчика Смирнова спорить с ним, и чем более он опровергал его, тем более Пушкин разгорался, бесился и выходил из терпения...»

21 июля: За обедом у Инзова горячий спор Пушкина с отставным офицером Рутковским, рассказывающим небылицы о «граде весом в 3 фунта». После обеда решают драться на дуэли. В комнате Пушкина происходит резкое объяснение. Инзов приказывает посадить Пушкина под домашний арест.

21 августа: на воротах кишиневского острога надпись — «Не для пагубы, но ради исправления».

27 августа: командир 17-й дивизии Желтухин обедает у Инзова: «Удивил нас всех своею неловкостию в обращении. Он такую солдатскую мелочную дрянь порол за столом о палатках, о высокорослых и малорослых солдатиках, о ранжирах... что мы, посматривая один на другого, не могли удерживаться от смеху...»

Заключенный Тираспольской крепости (как выяснится позже) вполне осведомлен о событиях на воле. Далеко не все офицеры корпуса склонны его губить.

До него доходят слухи о поисках новых бумаг и свидетелей; иногда, впрочем,— известия утешительные, например о смерти одного из худших доносчиков, Вержейского, который вроде бы принял яд.

Меж тем известие об аресте Владимира Раевского давно дошло до Хворостянки, до отца, братьев и сестер. Мы легко угадываем их волнение, толки, сожаление одних, упреки других. Один же из братьев совершает безумный поступок, о котором сохранились две версии. Первая — что отставной корнет Григорий Раевский, задолжав в Курске большие суммы и подделывая документы почерком отца, помчался, спасаясь от местных властей, в Одессу, откуда был намерен искать поддержки у брата, но попался и сел в тюрьму. Старший же брат-майор объяснял дело иначе: юный, экзальтированный корнет был потрясен известиями из Тирасполя и мечтал узнать подробности; отец не отпускал, но Григорий все же подделал подорожную и помчался то ли выручать заключенного, то ли узнать, в чем обвиняется. Обе версии совпадали в одном: юный, странный Григорий Раевский ехал к брату, но не доехал; и вроде бы нет за ним особой вины, но из Одессы его поскорее убирают подальше, в Шлиссельбург, где, как не раз водилось в русской истории, заключенного *забыли*,— и тут разум его начал повреждаться...

Благоуханная молдавская весна 1822 года.

...На воздухе упругом
Качались ветки, полные листвой.
Стоял апрель. И жизнь была желанна...

(Д. Самойлов. «Пестель, поэт и Анна». 1965 г.).

СТИХИ

Тирасполь, 28 марта 1822 года:

Итак, я здесь... за стражей я...
Дойдут ли звуки из темницы
Моей расстроенной цевницы
Туда, где вы, мои друзья?
Еще в полусвободной доле
Дар Гебы пьете вы, а я
Утратил жизни цвет в неволе,
И меркнет здесь заря моя!
В союзе с верой и надеждой,
С мечтой поэзии живой
Еще в беседе вечевой
Шумит там голос ваш мятежный...

Много лет ходили по России списки длинного стихотворения, едва ли не поэмы, в 179 строк. Порою имя автора при стихах отсутствовало; довольно часто их завершала подпись — «Кондратий Рылеев».

Раевскому в старости предстоит встреча со своим потаенным трудом, приписанным казненному сотоварищу.

Только в 1890 году, через 68 лет после рождения на свет, эти стихи с большими пропусками появятся в «Русской старине». Прислал рукопись известный нам внук декабриста Владимир Вадимович (может быть, у него была заверенная дедом копия?).

Долго, *со вкусом,* автор тюремного послания перечисляет, чего он лишился (а у них, шумных «вечевых» собутыльников,— все это есть):

Еще расцвет душистой розы
И свод лазоревых небес
Для ваших взоров не исчез.
Вам чужды темные угрозы

Как лед, холодного суда,
И не коснулась клевета
До ваших дел и жизни тайной,
И не дерзнул еще порок
Угрюмый сделать вам упрек
И потревожить дух печальный.
Еще небесный воздух там
Струится легкими волнами
И не гнетет дыханье вам,
Как в гробе, смрадными парами.
Не будит вас в ночи глухой
Угрюмый оклик часового
И резкий звук ружья стального...

Раевский не первоклассный поэт,— но сильный, сердитый, напористый.

Вполне возможно, что Пушкин рядом, в Кишиневе, отозвался на эти стихи в своем «Узнике» (тоже в 1822-м!):

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..

Не побывав в тюрьме, Пушкин знает тюрьму.

Вернемся, однако, к длинному стихотворному письму «К друзьям в Кишинев»; здесь перечислены главнейшие происшествия, случившиеся после ареста,— и, может быть, майор нарочно повествует о них в стихах, чтобы в случае перехвата прикинуться дурачком и сослаться на простительную, неодолимую страсть к поэзии (к этому приему — перекликаться стихами или песнями — прибегнут в недалеком будущем декабристы — узники Петропавловской крепости, а Евгения Гинзбург и другие заключенные Казанской тюрьмы — в 1937 году).

Грозил мне смертным приговором
«По воле царской» трибунал.
«По воле царской?» — я сказал,
И дал ответ понятным взором.
И этот черный трибунал
Искал не правды обнаженной,
Он двух свидетелей искал
И их нашел в толпе презренной.
Напрасно голос громовой
Мне верной черни боевой
В мою защиту отзывался,
Сей голос смелый пред судом
Был назван тайным мятежом
И в подозрении остался.
Но я сослался на закон,
Как на гранит народных зданий.
«В устах царя,— сказали,— он,
В его самодержавной длани,
И слово буйное «закон»
В устах определенной жертвы
Есть дерзновенный звук и мертвый...»
Итак, исчез прелестный сон!..

Перед следователями — ни вздоха, ни секундной слабости. Иное дело — стихи, да еще к друзьям.

Коли выпала такая доля, можно заглянуть и в будущее; и тут уж — верное пророчество, потаенное эхо тех давних упоминаний о Востоке и Сибири, что звучали много лет назад в стихах к другу Батенькову.

Исчезнет все, как в вечность день;
Из милой родины изгнанный,
Средь черни дикой, зверонравной
Я буду жизнь влачить, как тень,
Вдали от ветреного света,
В жилье тунгуса иль бурета,

Где вечно царствует зима
И где природа как тюрьма;
Где прежде жертвы зверской власти,
Как я, свои влачили дни;
Где я погибну, как они,
Под игом скорбей и напастей.

Стихотворцы недаром боятся собственных пророчеств. Одни довольно точно описывают дуэль, где «поэт роняет молча пистолет...»; другой через шесть лет видит себя среди тунгусов и бурят.

Географию Раевский знает очень хорошо: в «прописях» для юнкеров и солдат — Байкал, Ангара...

В конце же письма-поэмы — как бы отчет своему генералу, повторяющий то, что сказано Киселеву; отчет, который, конечно, со временем прочтет бывший командир 16-й дивизии,—

Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сносил,
Нигде себе не изменил
И в дни убийственныя жизни
Немрачен был, как день весной,
И даже мыслью и душой
Отторгнул право укоризны.
Простите...

Понимаем, отчего многие переписчики принимали эти строки за рылеевские: рассказывают, что накануне казни, в крепости, Кондратий Федорович выцарапал гвоздем на оловянной тарелке:

Тюрьма мне в честь, не в укоризну,
За дело правое я в ней,
И мне ль стыдиться сих цепей,
Коли ношу их за отчизну.

В конце послания из Тираспольской крепости помещено поэтическое предсказание того, что будет в стране: не первое в русской литературе, но одно из первых — желанная и страшная картина того, что должно произойти.

Простите... Там для вас, друзья,
Горит денница на востоке
И отразилася заря
В шумящем кровию потоке.
Под тень священную знамен,
На поле славы боевое
Зовет вас долг — добро святое.
Спешите! Там волкальный звон
Поколебал подземны своды
И пробудил народный сон
И гидру дремлющей свободы!

Они знают не только географию, но также историю, особенно недавнюю: французская революция, якобинский террор, реки крови, Наполеон. Взывая к революции и свободе, Раевский, конечно, восклицает — «добро святое»; но рядом, как печальное эхо, «шумящий кровию поток», «волкальный звон» (то есть страшный шум смертного пира, исходящий из подземного царства древних германцев). Наконец, сильный образ — «гидра дремлющей свободы!».

Заключенный Тираспольской крепости хочет взрыва, хотя бы потому, что «темницы рухнут», но понимает или поэтически предчувствует, что будет страшно; что многим (наверное, и ему самому!) не сносить головы.

Пророческое мастерство Раевского производит впечатление и на того друга-поэта, который еще лучше сочиняет...

Мы не знаем, кто именно, но, очевидно, верный офицер летом 1822-го вручит стихотворное послание «певцу

Кавказа». Несколько раньше это было бы трудно сделать, ибо почти месяц Александр Сергеевич находился под арестом за очередную лихую выходку.

В кругу старинных друзей, где не хватает только Раевского, Пушкин готовит новые проказы, между прочим сочиняет озорную поэму о царе Никите и его дочерях, затевает дуэль с офицером Зубовым; стихотворное письмо Раевского ложится на пушкинский стол рядом с почти готовым «Кавказским пленником», «К Овидию», набросками «Бахчисарайского фонтана».

Конечно, Пушкину неловко читать про себя, что он «пьет дар Гебы», «рвет свежие цветы»; но дело не в бытовых подробностях; Раевский даже из-под стражи продолжает давний многомесячный спор о назначении поэта...

Господи, где и как только не спорят в России!

Сорок лет спустя роман Чернышевского «Что делать?», написанный в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, вызовет знаменитый отзыв Писарева, который сочиняется в другой камере той же крепости...

В 1822-м один из поэтов-собеседников в тюрьме, другой — «в полусвободной доле».

Пройдет два года, и Пушкин будет переведен в более тяжелую ссылку, под надзор, в Михайловское —

Из края в край преследуем грозой,
Запутанный в сетях судьбы суровой...

Такая уж у него была судьба — гонимому приветствовать и ободрять еще более гонимых. Через пять лет напишет «Во глубине сибирских руд»; но ведь и сейчас, в 1822-м, надо как-то отозваться на призыв приятеля, острого собеседника, обладателя «мраморного терпенья», мечтающего украсить Пушкина «лаврами Бейрона» и притом поучающего из Тираспольской крепости:

Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,

Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как ясный заговор,
Как преступление, на плаху,
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать.
Пора, друзья! Пора воззвать
Из мрака век полночной славы,
Царя-народа дух и нравы
И те священны времена,
Когда гремело наше вече
И сокрушало издалече
Царей кичливых рамена.

Можно ли не ответить?

И Пушкин начинает. Мы присутствуем при интереснейшем, очень сложном диалоге.

«НЕ ТЕМ ГОРЖУСЬ Я...»

Диалог 1822 года, во многих отношениях неясный, непонятный, где кое-что не завершено или пропало: поэтому несколько поколений о нем не знали, и лишь в конце 1930-х годов выдающийся пушкинист Мстислав Александрович Цявловский услышал и расшифровал старинные речи.

На 48-м листе записной книжки, которая заполнялась на юге, Пушкин начал стихи —

Недаром ты ко мне воззвал
Из глубины глухой темницы.

Хотя майор «из глухой темницы» продолжает опровергать юного приятеля,— тот сразу же признает особое право узника: «*Недаром ты...*»

Значит ли это, что Пушкин сразу соглашается, и уж готов «оставить другим певцам любовь»?

На том же 48-м листе, чуть ниже, начинаются новые стихи (или, может быть, продолжение первых двух строчек?).

Некоторые строки идут легко, порою — мысль не дается, слова и целые фразы зачеркнуты.

Не тем горжусь я, мой певец,
Что привлекать умел стихами
Вниманье пламенных сердец,
Играя смехом и слезами,

Не тем горжусь, что иногда
Мои коварные напевы
Смиряли в мыслях юной девы
Волненье страха и стыда...

Все понятно: Раевский уверен, что Пушкин пишет не о том; занимается лирикой, когда дело идет о великих гражданских вопросах. Пушкин же, как видим, убеждает «друга в темнице», что вовсе не гордится своим умением вызывать смех, слезы, любовь. Так и ждешь, что в следующих строках поэт обрушится на тиранов и обратится к «царю-народу», то есть «пойдет путем Раевского».

Однако 23-летний Пушкин уже много ведь написал и в этом духе — «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревню», «Кинжал»; он торопится сообщить Владимиру Федосеевичу, что этими своими сочинениями он теперь тоже не гордится —

Не тем, что у столба сатиры
Разврат и злобу я казнил,
И что грозящий голос лиры
Неправду в ужас приводил,

Что непреклонным вдохновеньем,
И бурной юностью моей,
И страстью воли, и гоненьем
Я стал известен меж людей,—

Иная, высшая награда
Была мне роком суждена —
Самолюбивых дум отрада!
Мечтанья суетного сна!..

Иначе говоря, твое, Раевский, «пора воззвать!» — для меня уже пройденный опыт.

Но чем же тогда Пушкин гордится или хотел бы гордиться, если оспаривает оба жребия, описанных Раевским (и *любовь*, и *кровь*)?

Отвечая на этот вопрос, Цявловский писал в своей статье, опубликованной в 1941 году: «Стихотворение не окончено, но и в том, что написано, нельзя не видеть одного из самых значительных, глубоко интимных признаний поэта в его размышлениях о своем призвании. Нам кажется, что зачеркнутые последние два стиха намечают тему бессмертия поэта в потомстве».

Осмелимся предположить, что один из лучших пушкинистов не хотел или даже опасался слишком подробно развертывать эту мысль на глазах чересчур внимательных и напуганных редакторов предвоенных страшных лет. В самом деле, в 1937-м, когда очень торжественно отмечалось 100-летие со дня гибели поэта, постоянно писали о Пушкине-революционере, враге самодержавия, стороннике народа.

О том, что взгляды поэта были в действительности много сложнее, что не следует позднейшие идеологические установки переносить на первую треть XIX века,— все это лучшие пушкинисты более или менее отчетливо понимали всегда; однако раньше 1960-х годов подобные мысли было высказывать рискованно...

Так или иначе, но Цявловский не стал в 1941 году подчеркивать, что Пушкин «не гордится» перед Раевским ролью сатирика, непреклонного обличителя.

Не уточнялся и ответ на главнейший вопрос — чем же поэт склонен гордиться?

Последние строки начатого послания — «самолюбивых дум отрада! Мечтанья суетного сна» — зачеркнуты; но перед тем ведь сказано: «Иная, высшая награда была мне роком суждена».

Пройдет четырнадцать лет, и незадолго до смерти Пушкин эту строчку «возобновит» в одном из последних стихотворений:

Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права...

Нельзя, конечно, по совпадению одной строки («иная, высшая...», «иные, лучшие...») делать вывод, будто юный Пушкин в Кишиневе думал так же, как в 1836-м; но нельзя и совсем отбрасывать сравнение.

В самом деле, чего же все-таки хотел Пушкин? Споря с Раевским, чем гордился?

В чем «иная награда»?

Если дело не в лирике и не в политике, то остается, кажется, лишь одна «самолюбивая отрада» — сам поэт, его высокий дух, внутренняя свобода!

Не углубляясь сейчас в дебри творческой психологии, заметим только, что и в самые его бурные, *революционные* годы Пушкина не оставляла мысль о высшей ценности, которая «внутри нас»; об этом, как само собой разумеющемся, скажет Александр Блок, когда в своей речи «О назначении поэта» обратит внимание на раннюю пушкинскую строчку —

Сокроюсь с тайною свободой...

В своем последнем стихотворении Блок снова ее вспомнит:

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!

Тайная свобода — «царство божие внутри нас» — вот чем готов был гордиться Пушкин, отвечая Раевскому. Вот о чем не мог писать Цявловский в годы, когда ничего не оставалось, кроме тайной свободы...

Впрочем, эта важнейшая мысль только начала созревать в первых стихах и поэмах. Пушкин не готов еще отстаивать ее с той силой, как несколько лет спустя; как в строках —

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе...

В 1822-м Пушкин на самом деле еще многим гордится из того, чем будто бы «не гордится», — и сам проговаривается, ибо уж очень сильно звучат строки поэта о том, как ему «безразлично» —

Что непреклонным вдохновеньем
И бурной юностью моей,

И страстью воли, и гоненьем
Я стал известен меж людей...

Нет, не поверим, что здесь — отречение, равнодушие. Скорее отыщем здесь некоторую неправду, кокетство. Да к тому же уместно ли сообщать узнику, пострадавшему за свободу, что ты не гордишься собственной борьбой и даже «гоненьем»?

Думаем, что по этим причинам начатое пушкинское послание останавливается, замирает. Ответ не идет, и этот факт требует не менее серьезных размышлений, чем пушкинское желание отвечать...

Ответ задерживается, в то время как в тюрьме уже сочиняется второе послание.

В июле 1822-го Иван Липранди ночевал в Тирасполе у своего брата Павла, адъютанта Сабанеева. Ему хотелось увидеться с Раевским, и брат советовал: «Просить мне позволения у самого Сабанеева, который близко знал меня со шведской войны, и отказа, может быть, и не было бы; но я, знавши, как Раевский дерзко отделал в лицо Сабанеева на одном из допросов в следственной комиссии, не хотел».

Удалось договориться с комендантом крепости, и рано утром, в то самое время, когда Раевского повели на прогулку, Липранди пошел навстречу: «Я вышел из экипажа и провел с ним полчаса, опасаясь оставаться долее. Он дал мне пиесу в стихах, довольно длинную, под заглавием «Певец в темнице», и поручил сказать Пушкину, что он пишет ему длинное послание, которое впоследствии я и передал Пушкину, когда он был уже в Одессе».

«Длинное послание» нам неизвестно, и по его поводу строятся разные догадки; а вот «Певец в темнице» через два дня был Пушкину вручен: «Александр Сергеевич зашел ко мне вечером и очень много расспрашивал о Раевском, с видимым участием. Начав читать «Певца в темнице», он заметил, что Раевский упорно хочет брать

все из русской истории, что и тут он нашел возможность упоминать о Новгороде и Пскове, о Марфе Посаднице и Вадиме, и вдруг остановился»...

Почему Пушкин *вдруг остановился*, узнаем чуть позже. Пока же он комментирует вот какие строки:

Во прах и Новгород и Псков,
Конец их гордости народной.
Они дышали шесть веков
Во славе жизнию свободной.

Погибли Новгород и Псков!
Во прахе пышные жилища!
И трупы добрых их сынов
Зверей голодных стали пища.

Но там бессмертных имена
Златыми буквами сияли;
Богоподобная жена,
Борецкая, Вадим,— вы пали!

Липранди, напомним, вел дневник, где фактические, даже мелкие подробности фиксировались довольно точно. Поэтому мы верим, что Пушкин, начав читать «Певца в темнице», как бы вернулся к старым спорам с Раевским о Новгороде и Вадиме. Пушкину, по-видимому, надоели риторические обращения к старинным русским вольностям; он вроде бы не очень верит, что в Древнем Новгороде и Пскове было так уж хорошо, и нам, сегодняшним, нужно им подражать...

Чтобы лучше расслышать важнейший спор, мы снова ненадолго отвлечемся от последовательного повествования, оставив Раевского в его долгой тюрьме, в бесконечном единоборстве со следователями и судьями.

ВАДИМ

Вадим, в честь коего через четверть века в Сибири будет назван один новорожденный...

«В лето 8367 (859) в Новгороде восстали славяне, меря и кривичи на варягов и начали сами собою владети и города ставити и не было в них правды, и восстал род на род, и кровопролития беспрестанные. И собравшись, решили: «Поищем себе князя, и послали за варягами».

В 862 году являются три брата — Рюрик, Синеус и Трувор — и начинают наводить порядок.

Еще через два года, в 864-м, новгородцы «оскорбились» — и не желают быть рабами у Рюрика и рода его: «Того же лета убил Рюрик Вадима Храброго, и иных многих убил новгородцев, советников его».

Мы ведем рассказ по Никоновской летописи — огромному, примерно в тысячу листов, рукописному тому, названному в честь некогда обладавшего им патриарха Никона.

События происходят за 958 лет до того, как в кишиневской квартире и Тираспольской крепости восклицают: «Вадим! Вадим!»

Впрочем, что значат века и тысячелетия перед драматизмом самой ситуации: сторонник умирающих свобод Вадим восстает против наступающего самовластия. Мы знаем немало подобных исторических эпизодов на закате первобытности, в начале цивилизации.

Ах, эти вадимы всех времен и народов! Девятьсот лет Русь, Россию мало заботило, что в 864-м Рюрик истребил Вадима и его сторонников; по правде говоря, лишь несколько ученых монахов, наверное, имели о том событии мало-мальское понятие.

Лет за 30 до рождения Раевского и Пушкина, однако, настал час.

Василий Татищев, один из первых русских историков, написав о Вадиме и его старшем родственнике, новго-

родском князе Гостомысле, можно сказать, вводит сюжет в «светскую литературу». В 1786-м сама Екатерина II обрабатывает его для придворного театра: Вадим восстает против Рюрика, терпит поражение, но (вопреки летописи!) прощен благородным победителем. Правда, при восшествии самой Екатерины на престол ее несчастный супруг Петр III был удавлен (и тем уподобился Вадиму из летописи), однако официально этот факт не объявлен; зато просвещенный курс императрицы, культ милости и добродетели — все это требовало Вадима, признавшего ошибки и за то помилованного...

Так понимала дело Екатерина II.

Однако в литературе и искусстве (как выражались древние) «нет царского пути», и за перо вскоре берутся несколько подданных императрицы.

В те годы, когда 19-летний Сабанеев переходит из Московского университета в турецкую кампанию и появляются на свет старшие братья и сестры Владимира Федосеевича,— в эту пору Яков Борисович Княжнин оканчивает трагедию «Вадим Новгородский». Меж тем прошло всего несколько лет после сочинения императрицы, и конечно же это — ответ, почтительный спор в театральной форме.

Княжнин начал репетировать трагедию, но тут случились кое-какие происшествия — штурм Бастилии, французская революция. Княжнин догадался, что возможны опасные аналогии (революционеры на Волхове и на Сене!), решительно забрал трагедию из театра и вскоре умер.

Пьеса вышла в свет через два года после кончины автора, в очень знаменитом 1793 году. Вышла — но вскоре сожжена рукою палача: запрет сохранился и при трех следующих царях.

Меж тем монарх Рюрик (у Княжнина — Рурик) тор-

жествует над бунтовщиком Вадимом, и притом он довольно благороден: так в чем же дело, откуда уж такой гнев Екатерины? Наверное, немного взыграло авторское самолюбие, но, конечно, было кое-что и поважнее...

Дело в том, что и победитель Рурик, и гибнущий Вадим разговаривают на равных,— но сторонники свободы как-то более убедительны!

Один из соратников Вадима произносит монолог, который наверняка знали наизусть и Раевский, и Пушкин:

Что в том, что Рурик сей героем быть родился,—
Какой герой в венце с пути не совратился?
Величья своего отравой упоен,—
Кто не был из царей в порфире развращен?
Самодержавие, повсюду бед содетель,
Вредит и самую чистейшу добродетель
И, невозбранные пути открыв страстям,
Дает свободу быть тиранами царям.
Воззрите на владык вы всяких царств и веков,
Их власть есть власть богов, а слабость — человеков!

Под гром событий, среди подобных споров и монологов, начинается XIX век. Раевский, Пушкин уже учатся читать и писать, когда, на десятом столетии своей посмертной биографии, Вадим становится чрезвычайно заметной политической фигурой.

1803 год. В. А. Жуковский начинает, но не оканчивает сочинение в прозе: Вадим мечтает о бунте против варягов, воображает себя «гражданином Великого Новограда, воином-победителем...». Последняя фраза отрывка: «Ты плачешь, Гостомысл?»

Рассказ обрывается. Нелегко нежному, чувствительному поэту писать о политике, бунте, крови. Ему ближе плачущий герой...

Через 15 лет в разговор вступает Карамзин. Пересказав по древним летописям появление Рюрика с братьями, историк обращается к читателям, к самому себе: «Не знаем, благословил ли народ перемену своих гражданских уставов? Насладился ли счастливою тишиною, редко известною в обществах народных? Или пожалел о древней вольности? Хотя новейшие летописцы говорят, что славяне скоро вознегодовали на рабство, и какой-то Вадим, именуемый *Храбрым*, пал от руки сильного Рюрика вместе со многими из своих единомышленников в Новограде — случай вероятный: люди, привыкшие к вольности, от ужасов безначалия могли пожелать властителей, но могли и раскаяться, ежели варяги, единоземцы и друзья Рюриковы, утесняли их — однако ж сие известие, не будучи основано на древних сказаниях Нестора, кажется одною догадкою и вымыслом».

Историк допускает, что ничего этого не было, и Вадима, может быть, не было; но если был, то надо взглянуть сразу с обеих сторон. Будущее за Рюриком, за крепким монархом, но можно понять и тех, кто привык к вольности. В исторической драме равные права имеют обе позиции...

Карамзин, несомненно стремившийся к объективной, высокой истине, многим пламенным современникам показался, однако, чересчур сложным и «равнодушным». Совершенно не устраивает подобный философский взгляд, например, Рылеева; Вадим для него *свой брат* (и, разумеется, в это время сходно думает уже и Владимир Раевский).

Грозен князь самовластительный!
Но наступит мрак ночной,
И настанет час решительный,
Час для граждан роковой.

По Рылееву — как Вадим восстал в 800-х годах, так и мы в 1800-х!

Однако вождь декабристов тут же испытывает героя и себя, обращаясь к нравственно труднейшей теме: но если сограждане не хотят, не готовы к бунту — прав ли тогда Вадим?

Несмотря на хлад убийственный
Сограждан к правам своим,
Их от бед спасти насильственно
Хочет пламенный Вадим.

Набросок Рылеева не окончен, но его герой готов ввязаться в бой; подобно автору, знает, что его «погибель ждет», но восклицает: «А все-таки надо!»

Лет за 30 до того, при Екатерине, Княжнине, главный вопрос был — *за Рюрика или Вадима*? Теперь же, в 1820-х, заговорщики, конечно, за Вадима, но главный вопрос: «Их от бед спасти насильственно»?

Как при таких обстоятельствах и Пушкину не впасть в «вадимство»?

Сначала (можно сказать, на глазах Раевского!) он начал поэму: Вадим спрашивает у сообщников, каково настроение новгородцев, и узнает:

...народ нетерпеливый,
Старинной вольности питомец горделивый,
Досадуя, влачит позорный свой ярем...
Младые граждане кипят и негодуют —
Вадим, они тебя с надеждой именуют...

Вадим, узнав об этом, отзывается:

Безумные! Давно ль они в глазах моих
Встречали торжеством властителей чужих
И вольные главы под иго преклоняли?
Изгнанью моему давно ль рукоплескали?..
Теперь зовут меня,— а завтра, может, вновь...
Неверна их вражда, неверна их любовь,
Но я не изменю...

На этих словах Пушкин останавливается, и мы уж знаем, что если стихотворное послание или поэма у него не идут (вспомним неоконченный ответ Раевскому), то здесь причина не творческая, но идейная...

Сохранился сложный план неосуществленной части: пушкинский Вадим готовит бунт, Новгород колеблется, кипят страсти, но внезапно появляются фигуры, у прежних авторов неизвестные или едва намеченные. Особенно интересен знатный новгородец, некогда друг Вадима по имени Громвал. Этот человек на стороне Рюрика из самых лучших побуждений, но ему не нравится, что новый правитель презирает народ; поэтому Громвал колеблется, находит доводы за Вадима и против: в результате этого гибнут близкие люди, неясна и судьба сомневающегося. Может быть, Пушкин уж примеряется здесь к своему будущему: свободный человек, не желающий примкнуть исключительно к одному лагерю,— мирящийся с царем, но думающий об опальных друзьях...

Так или иначе, но в 1822-м поэма не пошла; позже возникнет и погаснет замысел трагедии о Вадиме...

Пройдут годы, уйдут на казнь и в каторгу декабристы,— и Пушкин вдруг напечатает начало неоконченной поэмы, которое мы только что цитировали; однако даже имени главного героя автор не доверит печати: *Вадим,* знак революции, под запретом.

Не окончил Пушкин своих Вадимов, наверное, потому, что не находил ведущей, глубокой мысли. Он постепенно охладевает к древнерусскому замыслу, не собираясь уподобиться Вадиму или поклониться Рюрику...

Вот каков был в 1820-х годах Вадим Храбрый, революционер 1860-х.

Вот сколько подтекста было за восклицанием Пушкина: «Раевский упорно хочет брать все из русской истории... О Новгороде и Пскове, о Марфе Посаднице и Вадиме».

Пушкин как-то недоволен, не скрывает своего неудо-

вольствия от друзей, на воле спорит с узником Раевским (который всех зовет в партию Вадима) — «и вдруг остановился».

«КАК ЭТО ХОРОШО...»

После длинного отступления мы вернулись к той описанной Липранди внезапной «остановке»...

Раевский в тюрьме, Пушкин читает тюремное послание.

Неоконченный стихотворный ответ Раевскому, незавершенный *Вадим* при сем присутствуют...

Липранди: ...и вдруг (Пушкин) остановился. «Как это хорошо, как это сильно; мысль эта мне нигде не встречалась; она давно вертелась в моей голове; но это не в моем роде, это в роде Тираспольской крепости, а хорошо»,— и пр. Он продолжал читать, но, видимо, более серьезно. На вопрос мой, что ему так понравилось, он отвечал, чтобы я подождал. Окончив, он сел ближе ко мне и к Таушеву и прочитал следующее:

Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род
И мысль и взор казнит на плахе...

Он повторил последнюю строчку... и прибавил, вздохнув: «После таких стихов не скоро же мы увидим этого Спартанца».

О, это не в моем роде, это в роде Тираспольской крепости...

Раевский в очень сильных, *энергических* словах выразил уже ходившую мысль (она у Рылеева, Пушкина, в их «Вадимах») — о рабстве, забитости, страхе «истукана, немого народа».

Отсюда возможны разные выводы: либо сдаться, «уйти к властям»; либо заколебаться, задуматься; либо — «но я не изменю!».

Раевский рисует грустную, отчаянно-грустную картину — «Борецкая, Вадим, — вы пали!». Но вдруг сразу вслед за этим, кажется даже вопреки этому, Владимир Федосеевич снова оптимист — и пророчествует своему народу:

Он пал на край своей могилы,
Но, рано ль, поздно ли, опять
Восстанет он с ударом силы!

Это *в роде Тираспольской крепости.* Для Пушкина — слишком революционно, опасно, — притом что поэт отнюдь не остыл...

Именно весной и летом 1822 года хроника его жизни полна, например, такими происшествиями.

За обедом у Инзова объявляет полковнику Эйсмонту, «что он никогда крепостных людей за собой иметь не будет, потому что не ручается составить их благополучие, и всякого владеющего крестьянами почитает бесчестным, исключая отца своего, который хотя честен, но не имеет на этот счет одинаковых с ним правил. Эйсмонт ловил Пушкина на словах, но не мог выдержать с ним равенства в состязании».

В другой раз Долгоруков описывает, как Пушкин, опять же за обедом у Инзова, «составляя, так сказать, душу собрания», рассказывает, «по обыкновению, разные анекдоты», потом рассуждает «о Наполеонове походе, о тогдашних политических переворотах в Европе и, переходя от одного обстоятельства к другому, вдруг отпустил нам следующий силлогизм: «Прежде народы восставали один против другого, теперь король неаполитанский воюет с народом, прусский воюет с народом, гишпанский — тоже; нетрудно расчесть, чья сторона возьмет

верх». Глубокое молчание после этих слов продолжается несколько минут, и Инзов прерывает его, «повернув разговор на другие предметы».

В конце июля многотерпеливый Инзов все-таки опять сажает поэта под арест, после чего, второго августа, Пушкин переписывает набело весьма крамольные *Исторические замечания*: «Екатерина уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку — а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами *, и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность».

Кажется, будто Пушкин все же последовал совету Раевского — «Оставь другим певцам любовь»; он берется за дело в *раевском* смысле и, наверное, неспроста набело переписывает свои *Исторические замечания* — не для печати, но, возможно, для распространения...

Однако инстинкт, талант, чутье предостерегают: может быть, именно благодаря тюремным стихам Раевского Пушкин отчетливее различает «свой предел», который не следует переходить...

Надо, конечно, отвечать Раевскому, нехорошо, невежливо не ответить.

Но как же говорить с тем, кто «воззвал из темницы»?

Пушкин рисует пером на полях черновика портрет Владимира Федосеевича, чтоб яснее видеть собеседника. «Недаром ты ко мне воззвал...»

---

* Это неверно, но Пушкин следует распространенному преданию. (*Прим. авт.)*

Раевский сулит поэту «перелом судьбины лютой».

Пушкин через несколько лет: «Куда бы нас ни бросила судьбина...»

Заочные разговоры с Пушкиным, кишиневскими друзьями... Зная Раевского, угадываем, что было и многое другое; что он ведет, конечно, разнообразную *подземную* жизнь в Тираспольской крепости: арестованный — но пока еще не осужденный — продолжает быть «господином майором» и окружен немалым числом сочувствующих.

«БУЙНЫЙ СЕЙ МАЛЬЧИК»

Меж тем после краткой передышки, летом 1822 года, вражьи цепи снова собраны воедино и накатывают на майора волна за волной.

Протоколы, протоколы — множество протоколов допросов, на которых Сабанеев делает отметки: «можно уличить», «явно запирается», «имеются свидетельства».

Благодаря доносам и допросам мы слышим и видим характернейшие подробности:

«Майор Раевский при сборе роты спрашивал нижних чинов, говоря: «Здоровы ли вы, друзья?» И, ко многим из них приходя, просил у них понюхать табаку... Иногда просил (штабс-капитана) о засвидетельствовании своего почтения нижним чинам командуемой им роты».

Раевский: «Табак нюхал иногда, поклон роте посылал».

Сабанеев: «Табак нюхать — значит фамильярное обращение с солдатами, а посылать поклон добрым солдатам, с коими служил, не только не нахожу поступком противузаконным, но даже похвальным».

Показаний много, даже слишком много. Начальники жалуются, что Раевский снова пишет диссертацию за диссертацией и ловко парирует очные ставки — *нет чтобы признаться!*

Приходится, ввиду затяжки следствия, беспокоить царя этим «мелким делом» (и без того возможен выговор за «сокрытие»), и все это не очень-то приятно тульчинскому начальству, потому что там, на самом верху, как бы не знают никаких подробностей и «удивляются» происходящему.

Дежурный генерал Главного штаба Закревский — Киселеву:

«Скажи, что за Раевский, откуда поступил и зачем так долго с ним церемонились?»

И вот наконец то самое, чего опасался Витгенштейн.

20 апреля 1822 года под номером 36 сам начальник Главного штаба его императорского величества князь Петр Волконский предписывает:

«До сведения государя императора дошло, что в городе Тирасполе содержится под арестом 32-го егерского полка майор Раевский, бывший директором дивизионного лицея при 16-й пехотной дивизии, вследствие сего государю императору угодно, чтоб Ваше сиятельство уведомили меня немедленно, какой лицей существовал или существует при 16-й пехотной дивизии и почему так именуется, ибо на сие нужно высочайшее разрешение. Также, за что содержится майор Раевский под арестом и почему не было о сем рапортовано, если он сделал важный какой-либо проступок?»

Царь «не понимает», что за лицей, кто разрешил? А ведь разрешили Сабанеев, Киселев, Витгенштейн — и одним только царским вопросом все генералы *заподозрены.*

Если отписать наверх, что арест майора — пустяк, то зачем тогда беспокоить высочайшую персону подробностями и отчего не отпустить майора на свободу? Если же дело серьезное,— как смели столь долго умалчивать?

Приходится доказывать, что дело серьезное.

30 апреля Витгенштейн подробно оправдывается, что лицей — это не более чем школа и не нужно придавать значение громкому названию: что обстоятельства очень сложны, относятся к былым годам, и поэтому требуется время для их распутывания, но — «виноваты, исправимся!».

Из Тульчина — в 6-й корпус; из корпусной квартиры — следователям: «Скорее, скорее, император гневается!»

Однако 32-го егерского полка майор Раевский решительно не желает хоть немного помочь следствию:

Против врагов и клеветы
Я не прошу у вас защиты:
Враги, презрением убиты,
Иссохнут сами, как трава.

Не все следователи выдерживают. Один из них, подполковник Радченко, пишет потаенную записку: «Правительство, казалось, искало не открытия истины, но жертвы в пример другим».

Другой аудитор, Круглов, вдруг нагрубил усердному инквизитору генералу Черемисинову и за «непочтительность» отдан под суд. Круглова арестуют, а он покончит с собою и оставит записку на имя подследственного Раевского: «Поручая себя волнам Дуная, прощаю моих врагов и коварных обольстителей. При всей опытности я не мог ускользать от сетей бесчестных».

Однако торопят, торопят,— и вот предварительное следствие оканчивается.

Сабанеев извещает Киселева, что скоро представит бумаги, а мы не можем отказать себе в удовольствии привести часть этого письма, даже не очень комментируя и лишь ограничиваясь несколькими сносками (текст, частично опубликованный, цитируется по архиву академика Дубровина).

Сабанеев начинает послание отнюдь не с «революционной персоны»: из дивизии, которой командует шкуродер Желтухин, за кратчайший срок сбежал 71 человек: «Вот до чего дожили мы с нашей системой управления... Слыханное ли дело, чтобы русский солдат думал бежать к туркам. Никогда!.. Какой срам! Вот каково вверить дивизии желтухиным, а полки адамовым и проч. * Впрочем, главные всему виновники — те, кто имеет право и возможность говорить государю правду и молчит **. В рассуждении дела Раевского, то буйный сей мальчик неминуемо получит достойное наказание. Он был переведен из кирасир и никому не был известен; как же скоро мнения его обнаружились, тогда и надзор сделался деятельный и успешный. На днях ожидается следственное дело, которое, по рассмотрению, доставлено Вам будет».

Зрелый муж, 50-летний Сабанеев, и буйный мальчик, 27-летний Раевский...

МАЙОР И ЦАРЬ

Все то же долгое, жаркое молдавское лето 1822 года. 7 июня длинная выписка о разных провинностях майора Раевского отправляется быстро, даже минуя штаб армии, в Петербург.

Наконец Закревский, Волконский, Аракчеев, Александр I узнают подробности, весьма их интересующие.

«Обстоятельства дела» сгруппированы в семи «отделениях»: I.— «О свободе, равенстве, конституции и о кольце, Союз означающем»; II.— «О поступке Семеновского полка, который майор Раевский находил похвалы достойным»; III.— «О фамильярном и дружеском обраще-

---

* Адамов — командир полка, как раз отставленный Орловым; но Сабанеев знает, что в этом случае Орлов совершенно прав. (*Прим. авт.*)

** Подразумеваются, конечно, Аракчеев, Волконский, Закревский и другие петербургские персоны. (*Прим. авт.*)

нии майора Раевского с нижними чинами и о толковании оным слова — тиранство»; IV.— «О внушениях, делаемых майором Раевским юнкерам, бывшим в дивизионной школе, клонящимся к нарушению повиновения и проч.»; V.— «О подговоре солдат к побегу за Днестр к городу Вознесенску»; VI.— «Объяснение майора Раевского против писем, писанных им к разным лицам» и VII.— «О разговорах майора Раевского с нижними чинами насчет корпусного командира».

Последние пять пунктов — дело вроде бы местное, дисциплинарное; но вот первые два (снова и снова повторяем): в другие времена, при другом правлении, тут бы самодержец распорядился быстро и страшно...

Этот же самодержец держит бумаги при себе почти два месяца.

Наконец 31 июля Волконский извещает Витгенштейна, что дело Раевского «имел счастие представлять государю императору», царю же «благоугодно было повелеть», чтобы майора Раевского «предать военному суду» «при том же 6-м корпусе в г. Тирасполе под наблюдением самого генерал-лейтенанта Сабанеева, поручив ему иметь особенный надзор как за правильным и строгим производством такового суда, так и за непродолжительным оного окончанием».

Еще раз, как прежде, документ, спущенный с престола, требует произвести и окончить дело «с возможной точностью и без лишней потери времени». Насчет лицея царь как будто успокоился.

Добился своего и Киселев: суд велено производить в 6-м корпусе, то есть не выносить сор из избы; в царском решении нет ничего об Орлове. Уже упомянутый подполковник Радченко комментировал это умолчание совершенно определенно: интриги Сабанеева и Киселева, знающих, что в споре о положении и правах солдат Орлов был совершенно прав, а они не правы. «Вместо поправления своей ошибки они решились оболгать и погубить Раев-

ского, дабы оправдать себя в глазах государя. Какая адская политика! Политика, достойная веков Тиберия и Калигулы».

Все идет гладко; правда, Волконский распорядился — «со всех прописей, употреблявшихся в ланкастеровой школе, бывшей под ведением майора Раевского... доставить один полный экземпляр ко мне для представления государю императору».

Обеспокоенный Киселев отвечал: «Таблицы ничего предосудительного в себе не заключают. Писанина слов, о коих упоминается в деле, еще не доказана и, вероятно, доказана не будет».

Иначе говоря, не нужно придираться к словам «конституция, Вашингтон, Риего» и т. п.

Киселев знает, что пишет и кому пишет: недавно ведь приняты довольно суровые меры: закрыта масонская ложа, отставлен подозрительный генерал Павел Пущин — и все сделано спокойно, «без шума», без стремления копнуть слишком глубоко, но с убеждением, что, если копнуть, многое откроется,— да надо ли открывать?

Итак, суд над Раевским еще не начался, концепция же готова: разумеется, осудить, но не шуметь, не раздувать.

«СУДИ МЕНЯ...»

«...Судья неправедный»: генералы, министры, государь не слишком обременяют себя юриспруденцией. Никто почти не рассуждает о нарушении закона: дело, в котором заинтересован Сабанеев, передано на рассмотрение самого Сабанеева. Нарушались инструкции о незаинтересованном суде, которые существовали еще со времен Петра Великого; это вполне соответствовало известному определению, что деспотизм и собственных законов не соблюдает.

Требуется только суд быстрый и бесшумный.

Для начала назначают семь человек в Комиссию военного суда, которая прямо зависит от Сабанеева. Киселев поинтересовался, что за люди эти судьи, то есть не подведут ли? Сабанеев тут же дал характеристику презусу (председателю) подполковнику Албычеву,— и нам сегодня уж не понять, над кем смеется генерал-лейтенант?

«Вы хотите знать, что за птица Албычев и может ли быть членом Полевого аудиториата? О способностях его к сей должности сказать не умею. Он здесь, в суде над Раевским (где я бываю всякий почти день), сидит и молчит. Следовательно, ничего более сказать не могу как *человек скромный*! В полку, по свидетельству дивизионного и полкового командиров, *человек бесполезный*».

Наш знакомец подполковник Радченко:

«Всякий недальновидный человек ясно видеть может, мог ли г-н Сабанеев оправдать Раевского, будучи прежде того обвинителем его, в этом случае оправдание значило обвинение самого себя. Комиссия была наряжена из трех полевых офицеров и четырех инвалидных, находящихся под командою или в корпусе г-на Сабанеева, следовательно, члены были безмолвные лица или просто исполнители воли своего господина. В продолжение всего времени комиссия под председательством самого г-на Сабанеева не искала раскрытия истины, но приискивала двух свидетелей к каждой его статье».

И вот снова спрашивают 50 офицеров, 2500 солдат, многих юнкеров, 7 доносчиков; иногда — в строю, на ходу, хором.

Нет возможности даже приблизительно обрисовать, что творилось в Тирасполе в эти судебные дни,— кажется, один Раевский умел не забыть и сопоставить все дурные перипетии происходящего.

По-прежнему единственное вещественное доказательство — злополучные прописи: «Вашингтон, Мирабо, Квирога». Зато в огромных томах судопроизводства, на сотнях листов, пахнущих оговором и каторгой,— на каж-

дом шагу любопытнейшие сцены, реплики, водевильные и трагические стычки: прямо Щедрин, Сухово-Кобылин, Островский в ту пору, когда Сухово-Кобылину шесть лет, другие же два знаменитых автора еще не появились на свет...

Итак, перелистаем, просто перелистаем!

«1822 г. сентября 18-го числа на основании Воинских процессов 1-й главы 14-го пункта, чтоб подсудимый майор Раевский с пристойным воздержанием дело свое доносил вкратце, от презуса уговариван был.

За презуса подполковник Албычев.

Вопрос 1. Как Вас зовут? Сколько от роду лет, какой веры, и ежели христианской, то на исповеди и у святого причастия бывали ль ежегодно?

Ответ. Владимир Федосеев сын Раевский, от роду имею 27 лет. Веры греко-российской; у святого причастия и у исповеди бывал как сего года, так и прежде всегда, кроме прошлого, 1821-го, ибо по болезни быть не мог... Под судом никогда не бывал, без суда, во всю мою службу, был арестован господином генерал-майором Пущиным на 24 часа домашним арестом за неприличные выражения в аккерманскую полицию и за то, что якобы я несправедливо показал, что в квартире подполковника Неймана был умышленный выстрел, тогда как он действительно был, в ночное время, а господин Нейман показал противное тому».

Вопрос. «Полковой священник 32-го егерского полка Луциевич показывает, что во время бытности Вашей командиром 9-й роты Вы при исповеди им, Луциевичем, этой роты между разговорами говорили, что подчиненные Ваши Вам друзья и что скоро уничтожится деспотство, и что Вас в противном ни законы, ни государь не уверят.

Ответ. Не знаю, о каком деспотстве священник Луциевич говорит, ибо, говоря о государе и законах или ссылаясь в том, что ни государь, ни *законы* меня не уверят, не мог я и иметь в мыслях никакой власти, ибо где есть

законы, там нет деспотизма! Здесь, кажется, господин священник только хотел навести сомнение, следуя примеру офицеров».

Вопрос. «Какую надобность имели Вы утверждать пред ротою, говоря нижним чинам, что их «никто не смеет наказывать, потому что Вы имеете дивизионного командира-отца... Между тем и я Вас могу защищать?»

Ответ. «Роте я не утверждал и не говорил, что их никто не смеет наказывать. А называл ли дивизионного начальника отцом — не помню, ибо этому близко двух лет прошло. «Между тем и я вас буду защищать» — мог я сказать по нижеследующим причинам. По случаю непомерных побегов делал я исследование и в 5-й егерской роте нашел нижеследующее: 1) господин поручик Андриевский следуемую казенную дачу провианта нижним чинам продавал, от чего люди терпели ощутительный голод, тем более что стояли по бедным деревням около Килии. 2) Босиком зимой заставлял людей маршировать на дворе. 3) Производил неумеренные и жестокие побои. 4) Подходя к роте, он иначе не называл солдат, как «подлецы», «шельмы», «злодеи», «я из вас все жилы и кишки вытяну на молдаванское мотовило».

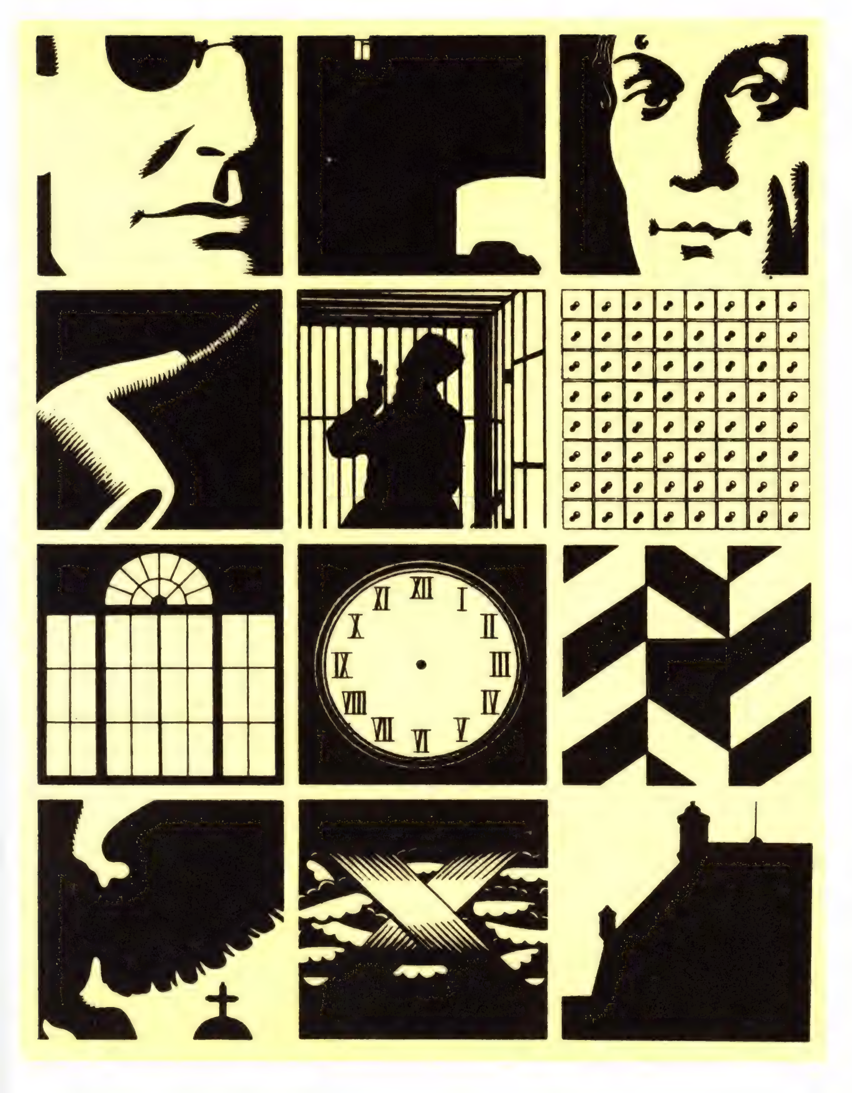
Хорошее чтение для Сабанеева...

Еще и еще фразочки из доносов, с которыми Раевский то соглашается, то полусогласен, то насмехается.

Унтер-офицерам Железневу и Карелину Раевский грозил: «Вы рады, что я оставляю роту, чтобы иметь случай тиранить солдат, однако я чрез месяц или чрез два явлюсь пред роту и ежели узнаю, что кто-нибудь толкнет солдата, то велю того на штыки поднять».

Другие эпизоды:

«Майор Раевский спрашивал у роты, коею он командовал: «Примете ли, ребята, на штыки подполковника Неймана, если он Вас будет наказывать?» Рота отвечала: «Примем, Ваше благородие».



«Майор Раевский, придя к роте, говорил ей, что «если полковник прибудет к вам, то первая пуля ему в лоб за то, что он вас так тиранит».

«Господин Раевский говорил сии слова: *«Благодаря просвещению нынешних времен надобно надеяться, что и в России уравняются состояния».*

«Когда по ошибке приведена была рота, командуемая Раевским, для содержания караула, тогда он говорил роте: «Вот какие подлецы, привели роту напрасно, возьмите на штыки и полкового командира, и адъютанта»,— рота смеялась, и он смеялся».

«Говорил господин Раевский, что нижних чинов не следует наказывать, потому что мы все равны, ибо как солдат, так и начальник имеет одну душу».

«Раевский говорил, что он сказал солдатам: *«Если кто захочет наказать, выдьте 10 человек вперед, уничтожьте одного, спасете 200».*

Поручик Гомановский: «Я возразил господину Раевскому, что «Вы Вашими поступками бунтуете людей». Тогда Раевский, оборотясь к роте, сказал: «Смотрите, ребята, вас бунтовщиками называют».

«*Майор Загорский* уличал майора Раевского в том, что он называл 1-й баталион 32-го егерского полка палочным, деспотическим, что им командуют тираны».

Оказывается, майор Раевский говорил своим солдатам: «Прежде вас били, а теперь палки уничтожились, чего же бежать?»

Вдобавок — панибратство: «Не угодно ли, ребята, понюхать табачку?»

«Здравствуйте, братцы! Здоровы ли вы? Какие вы худые, бедняжечки, видно, вас много учат!»

«Придет время, в которое должно будет, ребята, и вам опомниться».

Портупей-юнкер Янович уличает: «Точно рассказывал г. Раевский о Мирабо, что он был *участником во французской революции* и что он писал много сочинений против

своего государя. А о Квироге... что он, Раевский, хвалил его поступок и торжественно рассказывал, что *знатные дамы кидали цветы»*.

Ответ. «О Мирабо никогда и не думал говорить.

О Квироге, может быть, и говорил как о тогдашней газетной новости».

Рядовой Платонов. Раевский говорил, что «Орлов, ваш защитник,— это — первый генерал в армии... Пойдем, ребята, за Дунай, будем служить с Орловым», а начальник корпусного штаба господин генерал-майор Вахтен не стоит того, чтобы он, Раевский, и оделся для него.

Вопрос. В замечании сочинения Вашего «Мысли о солдате» заключаются следующие слова — «и генерал, который судит, судит так справедливо, сам первый нанес удар свободе искать справедливости»... Кто тот генерал, который нанес удар свободе и какой свободе?

Ответ. «Генерал, о котором я говорю, есть господин корпусной командир генерал-лейтенант и кавалер Сабанеев; нанес удар — относилось к унтер-офицерам Охотского полка Кочневу и Матвееву, которые оставлены без наказания господином дивизионным начальником и после отданы под суд господином корпусным начальником».

Особенно острым был разговор о походе за Днестр: дело в том, что к востоку от Днестра, близ Вознесенска, находились южные военные поселения — забитые и угнетенные больше других, горючий материал для бунта. И вот *портупей-юнкера Сущов и Михаловский* тоже уличали майора Раевского, что точно он своей роте рядовым описывал возмущение в Вознесенске и говорил: «Пойдемте, ребята, со мною за Днестр, в Вознесенск, а там тотчас взбунтуются, и пойдет как огонь, а то видите, как вас трактуют». Михаловский присовокупил, что Раевский говорил: «Как солома вспыхнет, так и Россия вспыхнет».

Один из самых загадочных моментов следствия: Раев-

ский громко, при многих свидетелях, оказывается, призывал — революцию делать. Напрашивается связь с откровенным замыслом Орлова — поднять дивизию, а остальные присоединятся. Неужто Раевский был так уверен, что — не донесут, что вот-вот повторится дело Квироги — Риего: восстанем и дойдем до столицы?

Несбывшееся...

Другой вариант разговора о походе за Днестр: «Пойдете ли со мной за Днестр, там все пред нами трепетать будет». На что один песельник отвечал Раевскому: «Как можно идти, если мы государю присягали?» — «Дурак же ты,— отвечал Раевский,— если и сам государь нарушил присягу, обещался с народом обращаться хорошо, а теперь нас мучит».

«Рядовой Игнатий Шеловский уличал майора Раевского в том, что он говорил — «служба тяжела» и спросил: «Пойдешь ли, Шеловский, за мною за Днестр?», на что он господину Раевскому отвечал: «Я принимал присягу и идти не желаю». Господин Раевский сказал: «Вот дурак, не хочет идти», а Шеловский говорит, что Раевский говорил ему о сем тихо».

Третий вариант — безобидный: «Пойдемте за Днестр, там к нам пристанут девки».

Раевский хорошо понимает, что за призыв к бунту полагается строжайшая кара, вплоть до расстрела. Но у него есть и сильный защитный ход: кто же о таких делах толкует при множестве свидетелей? Если бы имел прямые революционные замыслы, то не стал бы открыто спорить с начальством и бороться со злоупотреблениями. Доносчики либо шуток не понимают (идти к девкам, а не бунтовать), либо выдумывают.

«Если бы я действительно говорил о Вознесенске и о бунте, то юнкер Сущов не преминул бы в первом своем доносе показать сего, но мне именно господин генерал-майор Киселев сказал, в бытность свою в Тирасполе, что *«донос Сущова найден вздорным»*. Комиссия вместо того,

чтобы отдалить юнкера Сущова от дела, допустила его в темных местах быть свидетелем, чего не вправе была: 1) яко доносчика на меня, 2) как человека, который обещался мне мстить при свидетелях, 3) как человека, бывшего все время моего нахождения в полку под судом за побег и имевшего на меня злобу, ибо я его выгнал из дивизионной школы».

Против каждого сколько-нибудь угрожающего свидетельства пишется очередная прехитрая «диссертация»: юнкера обвиняют майора в панибратстве, а меж тем сами жалуются на его суровость, даже грубость: выходит, он не распускал нижних чинов, а, наоборот, держал их в строгости; но ведь именно по причине этой строгости,— утверждает Раевский,— юнкера столь радостно соглашаются давать показания на своего бывшего начальника: «Могли ли юнкера, большею частию бедная шляхта польская, не обольститься этим, будучи незрелы ни летами, ни умом, не понимающие почти вопросов, но слишком недовольные моим прежним строгим обращением».

Нужны доказательства пристрастности этих юнкеров? Пожалуйста: «Когда я был посажен под арест, от радости, перед отправлением в Тирасполь, всю ночь пьянствовали и при громком крике холостыми и боевыми патронами прославляли мой арест, а на другой день хотели разграбить весь запас муки из школы, о чем я тогда же говорил господину Радичу — адъютанту господина корпусного начальника и через него, запискою, просил адъютанта генерала Орлова для прекращения буйства сего взять меры».

Таким образом, показания юнкеров-доносчиков скомпрометированы их собственной радостью, которая, оказывается, зафиксирована в записке Раевского, вовремя поданной наверх (из-под ареста!) и адресованной генералу Орлову и генералу Сабанееву.

Майор крепко стоит почти против целого корпуса,— но сверху торопят.

21 марта 1823 года, почти через 14 месяцев после ареста Раевского, члены суда подписывают *сентенцию*, то есть приговор: «Майора Раевского... лишить живота, взыскав с него издержанные на прогоны деньги, всего тысячу семьсот шестнадцать рублей четыре копейки для пополнения тех сумм, из коих они позаимствованы».

Лишить живота — казнить. Но это несерьезно: «турецкая расправа»!

В тот же день сентенция передана генералу Сабанееву, который пишет свое мнение: «*Раевского, как вредного для общества человека, удалить от оного в Ставропигиальный Соловецкий монастырь или другое какое место,* где бы вредное распространение его образа мыслей не могло быть поводом к нарушению спокойствия, если же приводимые против Раевского свидетельства признаются к обвинению его недостаточными, в таковом случае полагаю: *как чиновника, впадшего в подозрение столь важное, удалить от службы и иметь его под строгим полицейским надзором*».

Как видим, Сабанеев не употребляет страшных слов — «лишение живота, чинов, дворянства», это прерогатива царская. Генерал, однако, сам предлагает два варианта: либо Соловки, либо отставка под надзором; он, конечно, уверен, что (как это обычно практикуется) наверху предпочтут более мягкое решение, может быть еще и убавят.

Киселев, Витгенштейн, Волконский, царь: четыре инстанции почти без сомнения утвердили бы без шума приговор крепкий, но не кровавый — и дело с концом...

Тут бы Раевскому согласиться, признать — и далее, наверное, обеспечил бы себе сравнительно спокойную биографию: жил бы, скажем, с роднею в Курской губернии, со временем, путем прошений и ходатайств, вернул бы право служить, поступил в статскую службу, какую-

нибудь губернскую канцелярию, глядишь, еще бы и карьеру сделал — как очень многие из декабристов. 14 декабря в этом случае его могло и не коснуться, ибо — сочли бы уже наказанным и вряд ли заново привлекли по делу о тайных обществах: Следственный комитет 1825—1826 годов в основном ведь интересовался позднейшими делами, Северным и Южным обществом, планами вооруженного восстания, а Раевский даже не может быть отнесен к южанам (в следственных документах его будут именовать членом Союза благоденствия, формально упраздненного в начале 1821 года).

Конструируя несбывшийся вариант этой судьбы, мы отчасти сраниваем ее с участью Пушкина: на поэта как на источник вольнодумства было подано в 1825—1826 годах около 20 декабристских показаний,— но он уже к тому времени был наказан ссылкою в Михайловское и поэтому *не привлечен.*

В 1823-м Раевский, сверх того, мог бы расположить вершителей своей судьбы самим фактом кроткого согласия: царская воля была ведь — все решить побыстрее, потише.

Однако майор наш особенный.

ПРОТЕСТ

Второе тюремное лето... На воле, в большом мире и молдавском, кое-что происходит. Орлов окончательно отставлен, ему велено «состоять по армии»; Пушкин начал «Евгения Онегина», оканчивает «Бахчисарайский фонтан», обсуждает с Иваном Липранди громкую историю Киселева с Мордвиновым: сложные армейские интриги привели к ссоре двух генералов; командир бригады Мордвинов пошел на совершенно необычный шаг — вызвал на дуэль начальника штаба армии. Большинство знатоков чести, в том числе опытный бретер Липранди, Морд-

винова осуждали: эдак каждый подчиненный, недовольный начальником, станет с ним стреляться. Кажется, один Пушкин находил в «генеральском поединке» другую сторону; ему нравилось, что никому почти не известный генерал смело вызвал весьма заметную персону, «фаворита государя»: поэт явно подразумевал *свое* — то, что не раз сталкивало его с вельможами.

Дуэль состоялась, Мордвинов убит, Киселев выплачивает семье Мордвинова пенсию, царь Киселева прощает.

То было одно из весомых доказательств императорского благоволения к начальнику штаба 2-й армии, и Раевский, зная в тюрьме обо всей этой истории, волен был гадать, как это отразится на его судьбе: Киселев поможет, как обещал, или, наоборот, укрепившись в царском мнении, не станет ни о чем беспокоиться?

Киселев беспокоился, но совсем не о Раевском: Александр I все более странен, сумрачен; у него свои сведения о том, что творится на Юге; он знает ничуть не меньше Киселева о тайных обществах — и генерал должен гадать, отчего царь их как бы не видит. Пушкин позже, в X главе «Евгения Онегина», напишет — «Наш царь дремал»; вернее было бы сказать, что у царя была постоянная бессонница, во время которой являлся и убитый отец, и новые конспираторы. В связи с этим особое значение для всех, кто служил на Юге, приобретал высочайший смотр 2-й армии, назначенный на осень 1823 года.

Судя по переписке Киселева и Сабанеева, они заняты исключительно «царским экзаменом», но, разумеется, понимают, что надо серьезно обдумать, как отвечать царю на неожиданные вопросы; скажем, об офицерах-заговорщиках или о Раевском, дело которого второй год никак не решится,— а это уж подозрительно.

Сабанеев — Киселеву, 4 июня 1823 года: «Боюсь слишком горячего усердия перед смотром задорного Желтухина (которого Вы так выхваляете и который, по мнению

моему, не должен командовать не только дивизией, но даже и ротою). Надобно унять, но как унять, когда Вы прошлого года ему потакнули; несмотря на то, я все-таки тиранить, мучить, утомлять и истощать не позволю, сколько от меня зависит».

3 июля: «У Желтухина с 1 по 16 мая бежало 34, умерло 11 солдат. Этому варвару мало до того нужды, но мне стыдно смотреть равнодушно на такие мерзости».

Киселев, как видно, знает «петербургские настроения», царский испуг при слове «лицей» и успокоение при известиях о «желтухинском порядке». Сабанеев же недостаточно силен, чтобы опрокинуть ненавистного подчиненного, и, сверх того, вынужден жаловаться Киселеву на другого нижестоящего, правда не генерал-майора, а майора: «Одна чума за Прутом, под сумнением, а другая у меня под глазами. *Это Раевский*. Нельзя ли, почтеннейший отец и командир, сделать мне величайшее одолжение, избавить меня от этого человека. Не все ли равно, где он будет содержаться — в Тульчине или в Тирасполе? В Тульчине тем лучше, что он имеет какую-то надобность объясняться с аудиториатом, черт его возьми. Пиши он, что хочет, лишь мне не быть под сумнением, а потому надеюсь, что все кляузы, какие по злобе вздумает на меня взвести Раевский,— будут мне известны, дабы и я мог оправдаться в свою очередь. Хотя и больно мне оправдываться от клевет на меня Раевского, который, разумеется, что только может, выдумывать на меня будет, но делать нечего. Я прошу только того, в чем не было отказано самому Раевскому...»

Да, трудно приходится боевому генералу, если он отказывается от продолжения *кампании* и просит других взяться за дело... Кстати, на многих офицеров и чиновников, наблюдающих все эти события, немалое впечатление производит «выход из строя» одного доносчика за другим: после самоубийства Вержейского и сумасшествия одного из главных обвинителей, юнкера Сущова,

крепко проворовался и взят под стражу другой свидетель — штабс-капитан Цых. Можно сказать, что здесь уже предвосхищена судьба будущих знаменитых «стукачей», выступавших на процессе декабристов; помещик Бошняк через несколько лет после своих доносов на декабристов-южан пропадет в Польше, причем отступавшие русские войска, кажется, «забудут» захватить его с собой; дольше проживет, но все равно зарежется погубитель Пестеля капитан Майборода. Наконец, унтер-офицер Шервуд, предавший многих заговорщиков и за то повышенный, награжденный,— проворуется, долгие годы проведет в тюрьмах, а после канет в небытие.

Трудно, неловко, противно Сабанееву меж двух огней: Желтухин и Раевский.

Дело в том, что майор воспользовался своим законным правом (Киселев не помешал!) и подал наверх *Протест* против суда, да какой!

В нем 99 возражений против Сабанеева, судей, свидетелей, против сомнительных фактов, ложных или недоказанных обвинений. В ход идет многое, даже цитаты из наставлений генерала Сабанеева: «Во всем этом деле не закон был судьею, но *судья законом,* как сказано в печатном катехизисе, который издал господин генерал-лейтенант Сабанеев для солдат».

Больше того, у себя в камере Раевский удивительно осведомлен о петербургских мнениях, беспокоящих командира корпуса, и бьет больно, очень больно: «Хотя судная Комиссия учреждена была под непосредственным надзором того начальника, который обвинил меня, но для того ли, чтобы осудить непременно, несмотря ни на какие оправдания, законы и вину? Я твердо уверен в противном и потому-то оправдываюсь безбоязненно. Господин корпусной начальник отзывался мне везде волею вышней власти. Даже общий слух носился в Кишиневе, будто бы его превосходительство говорил, что ему писали из Петербурга, что, «доживши до седых волос, его превосходи-

тельство не видит, что у него делается в корпусе или 16-й дивизии». Впрочем, это один слух, но если он справедлив, то господин корпусной начальник, основываясь на этом, должен был взять строгие меры в 16-й дивизии».

Однако всего этого Раевскому мало; исследователи его художественного творчества должны бы проанализировать *Протест* как великолепный образец прозы, где в центре образ генерал-лейтенанта. Всем известно, что Сабанеев защищает солдат и очень этим гордится,— так не пожалеем и этой репутации!

«Во второе заседание корпусной начальник господин генерал-лейтенант и кавалер Сабанеев, разгорячась на меня в присутствии Комиссии, сказал мне: *«Я бы Вам смолчал, но когда Вы тронули меня, когда стали рассуждать обо мне с солдатами, то... извините меня»*. Эти слова были сказаны в Комиссии с угрозами. Чего же мне было ожидать, когда главный судья мой обнаружил так гласно негодование свое? Мог ли член, говорящий мне о собственной обиде, быть справедливым?»

Еще и еще:

«Начальник 6-го пехотного корпуса господин генерал-лейтенант и кавалер Сабанеев собственными руками бил рядового 1-й егерской роты до того, что он весь окровавленный вышел из его спальни, равно 9-й егерской роты унтер-офицера Колесникова и рядового и кавалера Шеловского — всех трех под допросом.

Умалчиваю о тех, коих я не видал, оставляю то, что в комнаты корпусного командира господина генерал-лейтенанта и кавалера Сабанеева приносимы были пуками палки и громкие угрозы какого-то камчатского кнута (конечно, того самого, который был употреблен в Камчатском пехотном полку). Прошу покорнейше спросить солдат, и дело обнаружится со всею ясностию».

«Сущов с дерзкою усмешкою начал рассказывать разный вздор, который к делу приклеен быть не мог, наконец, добавил: «(Раевский) говорил с похвалою о Ровиге».

«Не о Ровиго,— подхватил корпусной начальник,— но о Квироге!» «Точно так, Ваше превосходительство» — и это поступило в дело».

«Так же незаконно на личную ставку ввели всех юнкеров вместе, где делалась улика фронтом, как торжественное ура!.. Корпусной командир сам спрашивал, «говорил ли майор Раевский то-то и то-то?» Ответ на все вопросы в один голос был: «*Говорил!*» Видя явное наущение и зная хорошо своих юнкеров, я спросил Чернолуцкого: «Что я говорил?» — «*Вы говорили, что Вашингтон писал разные стихи против французского короля и когда ехал через Мадрид, ему бросали цветы*». Если Комиссия имеет довольно духу и чести, она не откажется подтвердить это. Я улыбнулся и сказал господину корпусному командиру: «Вот как они слышали!» — «Молчите! — был ответ, а засим вслед юнкера были высланы».

Обидев генерала, Раевский, можно сказать, расшвыривает свидетелей, причем ловко соединяет тех, которые еще могут быть опрошены, с другими, кто покончил самоубийством, сошел с ума, проворовался.

Ссылаются на солдат: тут Раевский парирует иронией, логикой, даже математическим расчетом: «Меня обвиняют во вредных внушениях нижним чинам — где же эти внушения, когда изо всей массы солдат, под командою моею состоявших, число голосов положительных к числу отрицательных относится, как 1 : 100. А в добавление представляю вышнему начальству на рассмотрение положение солдат: *с одной стороны,* господин корпусной и бригадный генералы, офицеры полка и фельдфебель роты, при них палки, власть, угрозы, обольщение и страх будущего гонения; *с другой* — заключенный, подобно преступнику, офицер, от которого не только защиты, но и самой благодарности ожидать невозможно было».

У майора, повторим, есть какая-то собственная «тайная полиция», которая ведет свое следствие и способна обвинить всех обвинителей. Он, например, точно знает,

как шла обработка солдат одним из генералов-следователей: «Господин генерал-майор Черемисинов то прогонял, то снова призывал людей, угрожая им разными жестокостями, наконец нашел лучшее средство — он просто в кругу песенников начал читать то, о чем нужно было, повторяя: «Ведь говорил!» Солдаты, не понимая ни вопросов, ни чего от них хотят, одни сказали — «да», другие — «нет», а господин генерал-майор Черемисинов просто велел подписать грамотным и тем кончил допрос. Вот почему существует по следственному делу *согласие показаний*; по судному — *разногласие*, а по очной ставке — *совершенное сознание* со мною».

Прочитав это, Сабанеев не выдержал и написал примечание: «Почему же знает Раевский, как допрашивал генерал-майор Черемисинов? Потому, вероятно, что везде были сообщники Раевского, одной с ним злодейской шайки».

Господи, ну что же нужно этому майору! Ведь так было, есть и будет. Не сомневаемся, что Сабанеев и многие другие были искренне обижены на Раевского за его «диссертации». Как-то не по-российски, не по-нашему,— поклонился бы, покаялся, ну и мы бы в долгу не остались. Так нет, он буквально сыплет компрометирующими, обидными примерами. Майор точно рассчитывает, что семерых судей спросят: «Зачем же вы подписывали такие несообразности?»

Очень просто (Раевский указывает разных свидетелей):

«Ах, если бы Вы знали, что со мною делали? Сущов еще не к тому склонял, корпусной командир говорил, что я пропаду, если не покажу... и проч. и проч.».

«Что ж было делать? Если б мы не подписали эту Сентенцию, то корпусной командир положил бы самое строгое мнение!»

«— Ну почему же Вы подписали? — *Потому*, что не хотел быть за это *обойден*... треснул себя по лысине и подписал!..»

В заключение еще одна пикантная сценка меж просвещенными людьми: «Корпусной начальник спросил у меня довольно умеренно — кого я считаю пристрастным? Не зная говорить двуязычно, я отвечал: «*Никого, кроме Вас самих!*» Его превосходительство не сказал ничего на это, но велел при себе продолжать очную ставку. Здесь-то включили статью «о деспотизме» с пустозвучными доказательствами. Я не подписал черновой очной ставки. Но господин корпусной начальник, недовольный моим справедливым негодованием, в присутствии членов, своих адъютантов и людей назвал меня «*преступником*», поведение мое «*мерзостным*», угрожал мне крепостью и, делая другого рода колкости, говорил: «*Вы не Катон и не Брут!*» К чему здесь упомянуты Катон и Брут, мне неизвестно».

Вот куда дело пошло — не Катон, не Брут, которые, как известно, погибли, сражаясь против деспотизма. Катону или Бруту можно то, чего нельзя майору Раевскому!

Не станет Раевский доказывать свое родство с древними римлянами; тем более что — «двойной внутренний и наружный караул охранял меня, а внутренний страж и ночью даже находился со мною в одной тесной комнате. Когда я говел, тогда офицер и унтер-офицер конвоировали меня в церковь».

Даже слугу ему не оставили — отправили в курское имение.

Может быть, это был тот арнаут, который, узнав, что хозяина арестовывают, предлагал решить дело просто, по-восточному: «Сабаней резай». Раевский с трудом его удержал.

Строгие меры и прочее — это для Владимира Федосеевича пустяки. Главное, что противник в обороне, и сам генерал-лейтенант вынужден оправдываться перед Тульчиным: «Раевский до окончания суда содержался даже

не на гауптвахте, но в особой комнате при гошпитали, сперва в крепости, а потом в городе, за наружным караулом и внутренним надзором... Не только позволено ему было выходить на крыльцо его темницы, но даже прогуливаться по крепости за присмотром жившего при нем инвалидного унтер-офицера».

Дух майора укрепился. *Протест* идет к высшему начальству; кроме 99 «возражений», в нем отмечены 23 нарушения закона во время самого суда.

И при всем при этом Раевский замечает какое-то странное нежелание судей обвинять по некоторым очень любопытным пунктам, где, казалось бы, у нападавших были неплохие шансы.

Майор, кажется, готов обвинить противников даже в том, что они его «плохо обвиняют».

Действительно, была ведь в бумагах Раевского «политическая линия» — тайное общество, прописи. Мы чувствуем, как незримо и явно из Петербурга в Тирасполь шли намеки — этих материй не очень касаться и как бы не замечать... Вот — опаснейший сюжет о походе за Днестр, то ли для восстания, то ли «с девками»: суд предпочтет не углубляться, поверив доводам майора.

Или все те же учебные тексты насчет конституции и деспотизма, Квироги, Риеги. Раевский в ответ спрашивает судей: «Какой вред могли произвесть имена людей славных, в числе других написанные? Ужели правительство, желая и поощряя образование юношества, запрещает упоминать о том, что помещено в учебных книгах?»

Сабанеев снова не выдержал и к этому месту сделал примечание — «Людей славных Квирога и Риего, кончивших жизнь свою в петле. Генерал Сабанеев».

Однако и эту материю раскапывать не стали...

Риего действительно повесили, и как раз в то время, когда Раевский писал протест; Квирогу не вешали... Однако дело не в этом.

Дело в том, что, защищаясь, Раевский почти что смеется над обвинителями: ведь дело ясное, что он революционер, заговорщик; но революция не началась, заговор почти неуловим; он дерзко стимулирует Сабанеева и других углубиться в эти сюжеты и не столько знает, сколько чувствует, что они на это не пойдут; что здесь кроется тайна глубочайшая!

По-разному складывались отношения судей и подсудимых в российской политической истории. Случалось, пытками выбивали показания о том, чего обвиняемые не делали и даже не собирались делать: недавний пример — сталинские процессы 1936—1938 годов. Чаще все-таки суд стремился выяснить, что было на самом деле; бывало, обвинители точно знали, что совершил обвиняемый, и тот знал, что они верно говорят, но все же — не имеют достаточных доказательств. Если *преступник* в подобных случаях держался крепко, в частности если судили убежденного революционера,— то возникала нелегкая для самодержавной, деспотической власти коллизия: следовало бы отпустить, оставив в подозрении; но не может же авторитарная власть освободить своего врага только оттого, что не имеет доказательств!

Почти через 40 лет после процесса Раевского в Петербурге будут судить Чернышевского. Следователи и судьи знали, что он «революционер № 1», но ловок — не достанешь. И тогда прибегли к фальшивке, подделали почерк Николая Гавриловича на весьма компрометирующем документе; подделали, чтобы доказать... правду (то есть причастность Чернышевского к революции и, кстати, именно к этому документу); иногда наши историки столь увлекаются, разоблачая безобразия царской юстиции, что у них выходит, будто засудили невиновного человека: нет, Чернышевский был чрезвычайно виновен перед той властью, ей было за что его ненавидеть и судить,— но вот доказательств не было, и пришлось подделать! Сенатские секре-

тари, которых собрали для удостоверения подлинности произведенной подделки, сначала разделились — семь «за» и семь «против»; ну тут уж самодержавная система сработала, привели новых секретарей, с ними *поговорили*, и со второй попытки подделанный почерк Чернышевского был признан ему принадлежащим, со счетом 15:0 «в пользу правосудия».

Случай Раевского — тот, да и не тот. В 1863—1864 годах следствие и суд любой ценой старались уличить, утопить противника; Раевский внушал следователям и судьям не больше симпатии, чем Чернышевский, но вот с *любой ценой* обстояло довольно сложно.

Сабанеев кричал, нажимал, бил солдат, прибегал даже к фальшивым свидетельствам, чтобы доказать военную, дисциплинарную, уставную вину Раевского; но там, где «воняло заговором политическим»,— он замедлял усердие, да и не хотел, да и не имел указаний.

Марк Константинович Азадовский 130 лет спустя, кажется, первым угадал, уловил это обстоятельство и, как помним, писал Оксману, что опасается за будущее своей гипотезы — непривычной, необычной, трудной для публикации. Ученому удалось, пусть посмертно, обнародовать свои мысли (благо на дворе был уже 1956 год): всего несколько фраз, требовавших обдумывания, разработки, новых поисков...

Итак, повторим: на Раевского обрушиваются свидетельства о сказанных им словах, а он требует доказательства совершенных дел: иначе получается суд за образ мыслей, против чего не раз высказывался просвещенный император Александр. Слишком глубоко закапываться в потаенные мнения и связи Раевского опасно для престижа 6-го корпуса, ибо, если там глубокая крамола, значит, действительно Сабанеев, «дожив до седых волос», ничего не видит; к тому же, вообще не приказано слишком многое узнавать...

Среди бумаг Раевского нашелся, например, случайно не уничтоженный список членов тайного общества, который был отправлен в Тульчин, походил по рукам нескольких генералов, в том числе Киселева, и... пропал (позже этот эпизод тщательно обсуждался на следствии по делу декабристов, но так и не доискались, кто виновник).

Повторим (и не в последний раз, после еще будем о том толковать!), что Раевский какой-то особой политической или поэтической интуицией ощутил «слабину» противников: не касаясь тайного общества, кишиневского подполья, весьма нелегко было строить обвинение; приходится нажимать на последствия, игнорируя причину. Скажем, говорить об агитации среди солдат, но не настаивать, что это делалось в расчетах на будущее восстание или мятеж. Без «заговора политического» все обвинения против майора сводятся к сотням нудных, противоречивых мелочей: несуразный дом на песке без фундамента. Раевский же упрямо настаивает: если у вас есть серьезные обвинения, в заговоре, в государственной измене, в подготовке восстания,— давайте, выкладывайте, тогда я буду по всей форме виноват. Если же нет, то извинитесь; в крайнем случае, зачтите заключение в наказание, отпустите, ибо все ваши мелочи перепутаны, противоречивы и легко разрушаются разумной логикой того, кто *не боится* даже корпусного командира...

Кое-что зная, о многом догадываясь, майор в Тираспольской крепости смело дергал длинную веревку или цепь, которая через Тульчин и Главный штаб вела к императору, к его меланхолии, страху, огорчению, усталости, к формуле «не мне их судить». Сабанеев тоже чувствует, что ход процесса надо соотнести с обстановкой в высших сферах; в его душе, как мы знаем, сталкиваются стремление к порядку, укреплению собственной репутации,

а также нежелание выносить сор из «корпусной избы» и старинное суворовское отвращение к делам и заговорам политическим, боязнь потерять честь, превысить свои полномочия в борьбе с майором и дворянином.

Бывало, что весьма важный и знатный человек многое терял в глазах общества благодаря отпору, вызову, насмешке какого-нибудь желторотого поручика; так, на репутации графа генерал-губернатора Воронцова весьма дурно отразилась его «административная победа» над чиновником X класса Александром Сергеевичем Пушкиным.

Если Сабанеев кое о чем догадывается, то уж многознающий и умный Киселев знает и чувствует почти все.

В течение ряда лет он тонко и точно находит верную пропорцию между верноподданничеством и вольнодумством; знает, что надо арестовать Раевского, но не слишком углубляться в его тайны; знает, что надо образумить Орлова и одновременно его спасти; угадывает, когда нужно одобрить аракчеевца Желтухина и рассеять подозрения царя насчет опасных заговоров. И закрыть глаза на исчезновение списка заговорщиков.

Споры XX столетия о том, что знал и чего не знал Киселев, не был ли он связан с декабристами,— все это примерка другой, позднейшей психологии к совершенно особой ситуации начала 1820-х годов,— когда Раевского и некоторых других судили, но — «не мне их судить»...

Пока что осенью 1823 года из штаба 2-й армии, через Закревского и Волконского, царю внушают, что армия хороша; что же касается *Протеста* Раевского, то сейчас главное — затянуть, переждать высочайший смотр.

Смотр, маневры состоялись в начале октября 1823 года. Перед Александром промаршировали солдаты, ведомые Витгенштейном, Киселевым, Сабанеевым, Желтухиным, Пестелем.

Смотр проходит отменно; никаких жалоб — офицеры в порядке, солдаты довольны, Раевский и другие арестанты надежно упрятаны и голоса не имеют...

«Превосходно! Точно гвардия»,— произносит царь, когда перед ним проходит Вятский полк под командой Пестеля.

Впрочем, с того смотра доносятся и другие фразы.

Генерал-майору Сергею Волконскому Александр вдруг советует заниматься службой, «а не управлением моей империей, в чем вы, извините, толку не имеете». Намек прозрачен: я знаю про вас все, но пока ничего не предпринимаю...

Киселев просит о смягчении участи примерно сорока разжалованных офицеров (Раевского среди них нет — он еще *не разжалован*): Александр отказывает.

Наконец, при многих свидетелях происходит любопытный обмен репликами между весьма значительными вельможами, Аракчеевым и Киселевым (сцену записал декабрист Басаргин).

Аракчеев: «Мне рассказывал государь, как вы угодили ему, Павел Дмитриевич. Он так доволен вами, что я желал поучиться у вашего превосходительства, как угождать его величеству. Позвольте мне приехать для этого к вам во 2-ю армию; даже не худо было бы, если б ваше превосходительство взяли меня к себе в адъютанты». Слова эти всех удивили, и взоры всех обратились на Киселева. Тот без замешательства отвечал: «Милости просим, граф; я очень буду рад, если вы найдете во 2-й армии что-нибудь такое, что можно применить к военным поселениям. Что же касается до того, чтобы взять вас в адъютанты, то, извините меня,— прибавил он с усмешкою,— после этого вы, конечно, захотите сделать и меня своим адъютантом, а я этого не желаю». Аракчеев закусил губу и отошел.

Так шутили, намекали, угрожали во время знаменитого смотра,— но в целом Александр доволен. Последовали награды. Царь понимает, что надо на кого-то опираться, поэтому награждает и своего фаворита Киселева, и Сабанеева, хотя Лимон — не его человек и доверия полного нет.

12 декабря, в день рождения государя, Иван Васильевич Сабанеев получает следующий чин — становится генералом от инфантерии — полным генералом (выше только фельдмаршал)...

Киселев, конечно тоже награжденный, вскоре после смотра просится в отставку, устал. Царь отпускает его в отпуск за границу.

Надо думать, столь неожиданный упадок духа и сил во многом объясняется той двойственностью, двойной ролью, о которой мы говорили. Сабанееву немного легче: он меньше знает, понимает не всю «тонкую механику». Впрочем, в этом смысле еще легче Раевскому: по крайней мере, его не коснулась многомесячная муштра перед смотром...

Вскоре и Витгенштейн просится на воды: 2-ю армию временно принимает Сабанеев.

И как раз в это самое время истекает срок рассмотрения протеста Раевского Тульчинским аудиториатом.

То ли Киселеву и Сабанееву было недосуг; то ли на этот раз боялись давить на судей, потому что скоро все станет известным и в конце концов дойдет до Раевского в его тираспольской камере,— но бесхитростные аудиторы 2-й армии, два полковника и два генерала, вдруг пришли к выводу, что во время следствия и суда над Раевским было совершено множество ошибок: «Отступления и упущения последовали при самом начале дела, и потому на все части оного распространились так, что поступков подсудимого, отдельно совершенно доказанных, от подающих одно подозрение объяснить невозможно».

Более того, аудиторы совершенно резонно заметили, что большая часть путаницы произошла из-за передачи дела Сабанееву: заколдованный круг, судят заинтересованные лица,— лучше было бы все передать в какую-нибудь более нейтральную инстанцию. Откуда было знать двум полковникам и двум генералам, что это сам царь

Александр распорядился решить все скоро, «незаметно», при Сабанееве, а не *доискиваться* (как это могли бы сделать в соседнем 7-м корпусе). Правда, скоро и бесшумно не вышло,— но все равно получалось, что тульчинские аудиторы замахнулись на царское решение, не поняли таинственной царской мысли.

Чего доброго, они сами, армейские законники, захотят узнать то, чего им знать не следует...

Витгенштейн и Киселев могли бы облегчить царскую задачу, если б утвердили приговор: они имели право, и он вступил бы в законную силу — сослать в Соловки или, более вероятно, отставить и под надзор. Однако руководители 2-й армии «притомились»: они сами раздвоены, сами не уверены; они как бы уменьшенное подобие, приглушенное эхо «петербургских настроений».

Один Раевский — цельный и громогласный, и чем больше они стараются «обойти», тем больше он требует самого прямого пути. Настаивает на ясности, которой *там* не хотят; не хочет тихо окончить дело — а там как раз хотят...

Меж тем уже почти два года прошло со времени ареста. Следствие, суд и пересуд миновали, последнее слово за «верхами».

18 января 1824 года император требует дело Раевского к себе.

НЕВСТРЕЧА

Как раз в эти-то зимние январские дни в Тирасполе случилось одно внешне малозначительное происшествие, о котором не можем не рассказать.

Пушкин уже переехал в Одессу, но не забывает кишиневских приятелей. В середине января 1824 года вместе с Иваном Липранди пускается в небольшое путешествие по Молдавии.

Приехали в Тирасполь, остановились у Павла Липранди. Спутник Пушкина отправился с деловым визитом к Сабанееву и звал с собою поэта, но тот не захотел: «Это, однако же, не помогло ему: когда Иван Васильевич спросил меня, где брат? — и получил в ответ, что он остался дома с Пушкиным, то тотчас был послан ординарец за ними. Пушкин не раскаивался в этом посещении, был весел, разговорчив, даже до болтовни, и очень понравился Пульхерии Яковлевне, жене Сабанеева. После ужина, в 11 часов, мы ушли. Простое обращение Сабанеева, его умный разговор сделали впечатление на Пушкина, и когда мы рассказали ему первый брак Сабанеева, то он сделался для него, как выразился, «лицом очень интересным».

Как все это понять?

Поэт уже четвертый год живет в южном изгнании; Иван Липранди находится в сложных конфликтных отношениях с начальством (недавно вернулся на службу, правда не военную, а гражданскую). Сабанеев, прежде имевший зуб на Пушкина и дурно отзывавшийся о Липранди, как будто не помнит зла (может быть, на перемену его мнений подействовал любимый адъютант Павел Липранди?).

Настроение у генерала неплохое: новый чин — это ведь «вотум доверия». Возможно, генерал не хотел также терять свою прежнюю репутацию человека культурного, оригинального, своеобычного (что подразумевал Липранди под «первым браком» Сабанеева,— не понимаем: то ли это шуточка насчет «незаконного брака» с Пульхерией Яковлевной, то ли мелькнувшая в письмах генерала француженка из Нанси?).

На другой день Пушкин и братья Липранди отправляются в Бендеры, где поэт беседует со стариком, родившимся в XVII столетии,— со 135-летним казаком Искрой, помнившим Петра I и Карла XII, но Пушкин «добивался от Искры своими расспросами узнать что-либо о Мазепе, а тот не только не мог указать ему желаемую

могилу или место, но и объявил, что такого и имени не слыхал. Пушкин не отставал, толкуя ему, что Мазепа был казачий генерал и православный, а не басурман, как шведы,— все напрасно».

Затем — снова в Тирасполь с Павлом Липранди, и, разумеется, не раз вспомнили общего приятеля Раевского, который здесь, рядом, в крепости. Адъютант Сабанеева решил сделать поэту приятное — и далее (согласно записи Ивана Липранди) разыгралась довольно странная сцена: «Когда Пушкин проснулся, брат мой был уже у Сабанеева и, возвратясь, нашел Пушкина готовым к отъезду. Но предложение видеться с В. Ф. Раевским, на что Сабанеев, знавший их близкое знакомство, сам выразил согласие, Пушкин решительно отвергнул, объявивши, что в этот день, к известному часу, ему неотменно надо быть в Одессе. По приезде моем в сию последнюю, через полчаса, я был уже с Пушкиным... На вопрос мой, почему он не повидался с Раевским, когда ему было предложено самим корпусным командиром,— Пушкин, как мне показалось, будто бы несколько был озадачен моим вопросом и стал оправдываться тем, что он спешил, и кончил полным признанием, что в его положении ему нельзя было воспользоваться этим предложением, хотя он был убежден, что оно сделано было Сабанеевым с искренним желанием доставить ему и Раевскому удовольствие, но что немец Вахтен не упустил бы сообщить этого свидания в Тульчин, «а там много усерднейших, которые поспешат сделать то же в Петербург»,— и пр. Я переменил разговор, видя, что куплеты «Певца в темнице» были главной причиной отказа, и находил, что Пушкин поступил благоразумно: ибо Раевский не воздержался бы от сильных выражений, что, при коменданте или при дежурном, было бы очень неловко, и, как заключил я во время разговора, Александр Сергеевич принимал это в соображение. «Жаль нашего Спартанца»,— не раз, вздыхая, говорил он».

Многие пушкинисты, стараясь всячески выгородить поэта (не мог же он струсить!), соглашаются, что все дело в Сабанееве: с какой, дескать, стати генерал, ненавидевший Раевского и просивший убрать того прочь,— с какой стати он столь милостив? Уж не провокация ли с целью скомпрометировать Пушкина?

Категорически не согласимся! Все-таки поразительное умение у потомков — измерять предков отнюдь не по закону XIX столетия! Генерал ведь связан понятиями чести, устроить «провокационное свидание» значило в ту пору опозориться на всю Россию. Да зачем ему таким странным способом вредить молодому поэту? Скорее, наоборот: суд над Раевским окончен, сам генерал просил о смягчении приговора — так что теперь он как раз заинтересован в «левой» репутации; может быть, даже с удовольствием вспоминает прежнюю реплику «щенка Пушкина» о «якобинстве» командира корпуса...

И, кстати, Сабанеев в определенной степени преуспел, пожал плоды своего радушия, гостеприимства. Через три недели после тираспольского эпизода, в середине февраля 1824 года, Пушкин, приехав в Одессу, насладился одним происшествием, о котором поведал Ивану Липранди (а тот записал): «А вот кто потешил меня — так это Иван Васильевич (Сабанеев), и рассказал нам, что граф и графиня (Воронцовы) неотступно просили Сабанеева тоже быть в каком-либо костюме. Как ни отговаривался Иван Васильевич и ни ссылался на свою фигуру, но должен был наконец обещать и сдержал свое слово — «как подобает русскому»,— прибавил Пушкин. Генерал Сабанеев надел фрак, в котором фигура его... не могла не быть смешной. Это было еще ничего, но он на шею и на фрак нацепил все имеющиеся у него иностранные ордена (а их было много, ибо, будучи начальником главного штаба главной армии в 1813 и 1814 годах, он получил оные от всех союзников и по нескольку) и ни одного русского. Пушкин был в восторге, что Сабанеев

употребил иностранные ордена как маскарадный костюм. Восторг этот разделяли, однако же, не все, а иностранные консулы думали даже видеть в этом недоброжелательное намерение и как бы желание оскорбить значение их орденов в глазах русских.

Надо полагать, что это так и было передано в Петербург, ибо Иван Васильевич получил от князя П. М. Волконского сообщение, что государю такое костюмирование не было приятно».

Как видим, поэт и генерал взаимно расположены в ту зиму 1824-го, когда исполнилось два года со дня ареста Владимира Федосеевича.

Так что же, Пушкин забыл Раевского, изменил прежней дружбе?

О нет! Еще через год, в Михайловском, во время последней встречи с «другом бесценным» Иваном Пущиным (цитируем воспоминания этого декабриста): «Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать».

Оценим «подводный смысл» этой фразы: Пущин и другие декабристы так же скрывали свое участие в тайном обществе от Пушкина, как и Раевский. Положим, поэт, как и многие другие, знал о тайном союзе, кое о чем догадывался, но тем обиднее было молчание друзей. Не ведая подробностей того, как допрашивали, судили Раевского, Пушкин своим особым чутьем, в общем, сумел разобраться во всем происходившем. Во-первых, Раевский в Кишиневе почти не скрывал своих политических взглядов; даже в тюрьме сочинил стихотворное послание «в духе Тираспольской крепости»; во-вторых, там, в Молдавии, все-таки не осуждали совсем *невинного:* Сабанеев, формально говоря, выполнял свой долг; как он это делал —

другой вопрос (учитывая притом, что генерал едва ли не «карбонарий»!). В общем, и майор, и генерал имеют свои резоны, пусть неодинаковые; поскольку же Пушкин глядит как бы со стороны (Раевский — добрый приятель, но не посвятил поэта в свои тайны; Сабанеев — любезный генерал, но Пушкин не знает его секретов), то мы обязаны приглядеться к собственной, независимой позиции поэта.

Большинство специалистов теперь едва ли сомневается в том, что примерно с 1823 года в сознании, психологии, взглядах Пушкина происходит огромный поворот — то, что принято иногда называть «кризисом 1823 года». Поэт по-прежнему сохраняет дружеские связи с декабристами, по-прежнему разделяет их идеалы, очень обо многом думает, как они. Однако при всем при этом умом, чувством, художественным инстинктом отталкивается, постепенно удаляется от прежней пылкой, прямолинейной революционности, «от Тираспольской крепости», начинает иначе смотреть на исторические судьбы России и пути ее к обновлению. На смену «Вольности», «Кинжалу» приходят I глава «Евгения Онегина», стихотворение «Свободы сеятель пустынный...»

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь...

Самое любопытное для нашего разговора, что стихотворные строки 1823—1824 годов, свидетельствующие о важных переменах в душе Пушкина,— это «ближайшие родственники» тех стихотворных фрагментов, которые остались от пушкинских попыток отвечать Раевскому, раскрыться перед ним столь же откровенно, как он сам это сделал в камере Тираспольской крепости.

Сорок три года спустя Раевский помянет Пушкина добрыми, но, по старому кишиневскому обычаю, чуть насмешливыми словами: «Я Пушкина знал как молодого человека со способностями, с благородными наклонностями, живого, даже ветреного, но не так, как великого поэта, каким его признали на святой Руси за неимением ни Данта, ни Шекспира, ни Шиллера и проч. знаменитостей. Пушкина я любил по симпатии и его любви ко мне самой искренней. В нем было много доброго и хорошего и очень мало дурного. Он был моложе меня пятью или шестью годами. Различие лет ничего не составляло. О смерти его я очень, очень сожалел и, конечно, столько же, если не более, сколько он о моем заточении и ссылке».

Дружба, сочувствие — но пути разные, противоречия щекотливые,— и нелегко было бы толковать и спорить рядом с охраной, или даже оставив ее за стеной. Раевский не умел и не желал говорить о пустяках ни в кишиневских гостиных, ни в крепости. Понятно, сразу пошел бы разговор о назначении поэта, о том, что следует воспевать («оставь другим певцам любовь» и т. п.).

Как быть Пушкину?

Одно дело спорить, горячиться в офицерском кишиневском собрании, объясняя, что поэзия — не риторика и тому подобное; совсем другое — оспаривать мнение человека, который уж два года находится в заключении и один стоит против сотен. Иван Липранди понял, что Пушкин опасался неосторожных слов «при коменданте или при дежурном»,— и это, конечно, резонно; но был, полагаем, еще один мотив, которого Липранди не заметил. Дело в том, что спор может выйти более жестким, чем прежде,— ведь разница во взглядах за два прошедших года усилилась. Как быть? Притворно согласиться, не возражать, но ведь это нечестно, да и невозможно — «это не в моем духе»...

Но спорить, опровергать — вроде бы тоже неуместно, можно ухудшить настроение узника...

Встретиться было бы нужно, полезно, благородно; однако трудно без спора, еще труднее со спором.

Конечно, если бы знать, что больше случая никогда не будет...

О лицейском товарище Горчакове Пушкин напишет —

Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись...

С Раевским и обняться не пришлось; правда, Пушкин 5 февраля 1822 года, предупреждая Раевского о грозящей опасности, пытался попрощаться:

— Позволь мне обнять тебя!

— Ты не гречанка!

1824—1825

Дело майора снова у царя.

Из южной армии немало виновных, смещенных, подследственных отосланы, живут в имениях, служат по гражданской части (мы не раз называли Павла Пущина, Орлова и других): обошлось без шума; но Раевский сам хотел — и вот результат.

Приговор не утвержден; Раевский и его непосредственные судьи даже не знают, где *Дело:* думают, что в Тульчине, не зная о Петербурге.

Видно, никто не осмелился напомнить императору, ибо один росчерк пера все бы решил; но государь не вспоминает, может быть, не хочет вспоминать, у него другие мысли.

Вот хроника забот дворцовых:

Январь — февраль 1824 г. Тяжелая горячка у Александра, несколько дней положение критическое.

Весна. Васильчиков говорит царю, что весь Петербург следил за ходом его болезни.

Александр: «Те, которые любят меня?»

Васильчиков: «Все!»

Александр: «По крайней мере, мне приятно верить этому, но, в сущности, я не был бы недоволен сбросить с себя это бремя короны, страшно тяготящей меня».

Конец апреля — начало мая. Изувер и мистик архимандрит Фотий производит сильнейшее впечатление на царя своими пророчествами о заговорах, переворотах, гибели России: «От 1812 года до сего 1824-го ровно 12 лет: Бог победил видимого Наполеона, вторгшегося в Россию, да победит Он и духовного Наполеона лицом твоим».

15 мая. Под влиянием бесед и пророчеств давний друг царя, князь А. Н. Голицын, заменен А. С. Шишковым на посту министра духовных дел и народного просвещения.

23 июня. Умирает от чахотки юная, уже просватанная Софья Нарышкина, дочь Александра I и его возлюбленной Марии Антоновны Нарышкиной. Царь очень ее любил и увидел в этом событии «перст божий».

Осень. Царю, как и прежде, не сидится в столице: на два месяца отправляется в путешествие по России, до Урала и обратно.

7 ноября 1824 г. На второй день после возвращения в столицу — страшное петербургское наводнение. Снова слухи о «божьем гневе».

Конец 1824-го. Начало серьезной болезни Елизаветы Алексеевны, жены Александра I, с которой после многолетней размолвки царь теперь сблизился.

Все это время Александр продолжает получать сведения от своих агентов о заговоре, но истинных его размеров не понимает; однажды записывает: «Есть слухи, что пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит или, по крайней мере, сильно уже разливается и между войсками; что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных миссионеров для

распространения своей партии. Ермолов, Раевский, Киселев, Михаил Орлов, Дмитрий Столыпин и многие другие из генералов, полковников, полковых командиров; сверх сего, большая часть разных штаб- и обер-офицеров».

Фамилии заговорщиков, как нам сейчас понятно, не совсем *те*, однако заметим, что Киселев, Михаил Орлов и даже живущий на Юге генерал Николай Николаевич Раевский — лица, близкие к нашему «делу», нашим обстоятельствам.

С лета 1825-го. Новые важные доносы о скором восстании.

Примерно в это время состоялась секретная беседа Александра I с мужем своей сестры голландским наследным принцем Вильгельмом Оранским: недоверчивый император случайно разоткровенничался с коронованным родственником, далеким от российских дел, и признался в сильном желании — отречься от престола; Вильгельм Оранский решительно отговаривал Александра.

В это же время набирают силу и декабристы: вот их главная хроника.

Зима 1823/24 года. Люди Пестеля на Юге, люди Рылеева на Севере укрепляются, совещаются, становятся все решительнее.

Январь 1824-го. Киевская контрактовая ярмарка, во время которой происходит тайный съезд лидеров Южного общества; сближение с польскими заговорщиками.

Март — апрель. Пестель в Петербурге ведет переговоры с северянами. Обнаруживаются острые противоречия: Пестель настаивает после победы революции на диктатуре, северяне — чтобы народ решил свою судьбу на Земском соборе. Тем не менее выработан общий план действий.

1824 год. Пестель на Юге, Никита Муравьев на Севере дорабатывают проекты будущей русской конституции.

Конец 1824-го. Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин предлагают (уже не в первый раз) план захвата царя — во время предстоящего смотра в Белой Церкви.

Январь 1825-го. На очередных киевских контрактах снова встречаются южные лидеры; первый «белоцерковский план» сочтен преждевременным. Подготовка «взаимных действий» с поляками.

Лето 1825 года. Новый «белоцерковский план» захвата императора. В Петербурге появляется Александр Якубович, объявляющий тайному обществу о своем решении убить царя.

Все отчетливее вырисовываются планы революции, одновременно на Севере и Юге, весной 1826 года.

Про Раевского, томящегося в Тираспольской крепости, заговорщики знают, не забывают.

Одни строят планы вооруженного восстания на том, что бунт освободит тираспольских узников, и Раевский сразу станет революционным генералом, не меньше Сабанеева.

Другие менее оптимистичны: старинный друг Гавриил Батеньков, предполагая, что Владимира Раевского могут отправить в Сибирь, предупреждает приятелей-земляков, чтобы они по мере возможности обеспечили ссыльному добрые встречи по сибирскому тракту: как угадать Батенькову и свою недалекую, печальную судьбу, и то, что его старания для Раевского не пропадут зря,— но позже, много позже...

А пока что медленно движется 1824-й, за ним 1825-й. Скорость времени, заверяем, была точно такой же, как сегодня; хотя мы с конца XX века худо различаем дальние «верстовые столбы», и нам почти все равно, что 1820-й, что 1830-й,— но два года — всегда два года, и узник Тираспольской крепости уж больше не посылает стихов друзьям (мы, по крайней мере, не знаем об этом ничего), но обращается к посещающей его птице, да не к орлу из пушкинского «Узника», а к простому скворцу:

Еще удар душе моей,
Еще звено к звену цепей!
И ты, товарищ тайной скуки,
Тревог души, страданий, муки,
И ты, о добрый мой скворец,
Меня покинул наконец!
Скажи же мне, земной пришлец,
Ужели смрад моей темницы
Стеснил твой дух, твои зеницы?..

Когда ж, как ржавчиною сталь,
Терзала грудь мою печаль,
Кому ж? — скворцу лишь было жаль!
И мнилось — пел мой друг сердечный:
«Печаль и жизнь не бесконечны».

Медленные времена, в Кишиневе солдат и юнкеров больше не обучают грамоте и свободе, и юнкер Янович, недавно доносивший на своего майора, радуется, что избавился от тетрадок, в которые ему так много приходилось писать под диктовку.

А в тех тетрадках, которые сохранились и до сего дня, мы находим чудесные изречения и примеры, которые неплохо характеризуют майора, но не удерживают от доноса юнкера.

Диоген отвечает изгоняющим его жителям родной Синопы: «Вы меня выслали из города, а я вас оставлю в ссылке в домах ваших»; затем о Сократе: «Друзья его хотели доставить ему случай к побегу и подкупили темничного стража, но Сократ не хотел на то согласиться; он принял яд, что случилось за 400 лет до нашего летоисчисления».

Диктант сопровождается «резолюцией» Раевского: «Девять ошибок, никуда не годится».

Так и не захотел Раевский бежать, хотя наверняка имел случай к побегу; он оставил юнкера-доносчика и ему


Санктпетербургъ
декабря дня 1822
Экспедиторъ

подобных «в ссылке в домах ваших» и хорошо понимал, что все это «никуда не годится»...

Тихие годы; как будто улеглись волнения в Европе: революции в Италии, Испании, Португалии подавлены.

От Тибровых валов до Вислы и Невы,
От сарскосельских лип до башен Гибралтара:
Все молча ждет удара,
Все пало — под ярем склонились все главы.

Автор этих стихотворных строк летом 1824 года получил в Одессе подорожную и прогоны, строгое предписание, каким путем ехать (в частности, рекомендовалось миновать Киев), а также новое место назначения — село Михайловское Псковской губернии.

А я от милых южных дам,
От жирных устриц черноморских,
От оперы, от темных лож
И, слава богу, от вельмож
Уехал в тень лесов Тригорских,
В далекий северный уезд;
И был печален мой приезд.

Больше пути А. С. и В. Ф. не пересекутся.

Те же, кто остались на Юге,— независимо от своих отношений с майором — движутся по 1824-му и 1825-му, не зная (в отличие от нас), что у них впереди.

14 февраля 1824 года Сабанеев пишет начальнику Киселеву за границу, сообщая разные новости и между прочим пеняя за то, что Киселев «не дал случая оправдаться против самой бессовестной лжи (Раевского). Можно ли всклепать на меня такие небылицы?»

5 мая того же года еще одно длинное послание, где, впрочем, о Раевском ни слова (дескать, царь мол-

чит, и мы молчим); на этот раз Сабанеев настроен веселее и просит прислать из Франкфурта «бутылки три-четыре хинного вина».

Чуть позже Сабанеев делится своими излюбленными наблюдениями о русском солдате: «Я довольно знал добродетелей русского солдата, я привык их видеть, но не мог не удивляться постоянному и безропотному их терпению, заслуживающему всяческого уважения».

Так и слышим комментарии из Тирасполя — что майор тоже удивляется «безропотному терпению», но все же надеется, уверен, что настанет «день ропота»; а если нет — придется повторить собственные стихи —

Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе...

В столице же вроде бы забыли о Раевском. Нет его.

Так бывало в старину: иные императоры забывали распорядиться, и человек десятки лет сидел неведомо за что. При восшествии на престол Елизаветы Петровны был объявлен по всей России сыск любезного ей офицера: бумаг никаких о нем не было, с трудом нашли, да и то, кажется, случайно.

Царское молчание страшнее сотен лжесвидетелей и доносчиков.

Меж тем из родной Хворостянки Курской губернии, кроме известия о беглом и арестованном брате Григории, одна за другою приходят другие печальные вести. Умирает вдруг старший брат Андрей, тоже майор, литератор-переводчик. Умирает сестра Наталия, по мужу Алисова. Печальные события ускоряют смерть отца.

«Буйный сей мальчик» — аттестовал 27-летнего майора его генерал; теперь ему уж тридцать, стал сиротой, не мог оплакать нескольких близких.

Конечно, пока он окончательно не приговорен, к нему

и охранники обращаются «ваше высокоблагородие»; конечно, получает книги и журналы (случайно сохранился список одной из литературных присылок: «Северные цветы», «Полярная звезда», «Сын отечества», «Северная пчела», несколько книжек «Северного архива»).

Конечно,— прогулки в тюремном дворе; конечно,— постоянная связь с волей.

Сабанееву надоело следить, да, кажется, и стыдно. Позже, много позже (уже при Николае I) обстоятельства ухудшатся, и несколько офицеров по приказу Сабанеева будут схвачены, допрошены: зачем ходят к Раевскому, что делают? Мелькает имя подпоручика инженерной команды Ивана Бартенева (который 20 лет спустя будет иметь возможность рассказать обо всем, что видел и слышал, своему приятелю Виссариону Григорьевичу Белинскому).

Посетители Раевского лишнего не сказали, и мы, восхищаясь этим, одновременно жалеем, что из-за их сдержанности так мало знаем о тюремных тайнах майора.

Итак, Сабанеев допрашивает подпоручика Бартенева.

«*Вопрос*. Какого рода было знакомство Ваше с майором Раевским?

Ответ. Пришедши на гауптвахту Тираспольской крепости уже около года тому назад, чтобы рассмотреть карниз для сделания подобного при арках порученного мне вновь строящегося в Бендерах порохового погреба, я увидел на галерее оной майора Раевского. Он вступил со мною в разговор по архитектурной части; потом, пригласив меня внутрь (где было тогда много офицеров, пришедших к разводу), обратился к словесности. Узнавши, что я выписываю альманахи и журнал, пленил меня обширностью познаний и красноречием; потом попросил убедительно, жалуясь на нестерпимую скуку и отсутствие образованных людей, приносить к нему, когда случится быть в Тирасполе, новые книжки журнала «Сын отечества» для общего чтения и суждения о литературном их достоинстве, на что я решился, хотя не

без опасения, дорожа суждениями довольно ученого человека в отдаленном крае России.

Вопрос. Известно ли Вам было запрещение ходить к Раевскому?

Ответ. Запрещение ходить к Раевскому мне было известно только по слухам, но так как я ходил к нему весьма редко и ненадолго, то есть именно на время прочтения любопытных статей журнала и прямо на гауптвахту, не скрываясь, то, считая это маловажным делом, полагал могущее быть взыскание меньшим пользы моего образования».

Наконец, любопытнейший третий вопрос Сабанеева: «Для чего отдал Вам Раевский свои бумаги?»

Ответ. «Однажды летом 1825 года, заставши Раевского в горести и тронувшись этим, я спросил о причине. Он отвечал, что получил письма от родных своих, в коих упрекают его слухами о проступках его против законных властей и называют, основываясь на оных, самым дурным человеком, делающим срам доброму семейству. Он сказал мне, что, зная меня как человека скромного, трезвого и никогда не могущего впасть в подозрение, решается и заклинает именем страждущего человечества вверить мне оправдание свое перед родственниками. Он говорил, что мне можно будет когда-нибудь ехать в случае отпуска домой в Костромскую губернию через Курскую, заехать в его деревню и отдать родным его бумаги, которые он намеревался вручить мне с условием, что если по прочтении найду их опасными для себя, отдать ему оные назад или сделать с ними что угодно. Они содержали в себе «Протест» его, три письма Вашего высокопревосходительства и его к Вам черновое. Я принял их, прочел и считал священным долгом беречь последнюю утешительную надежду несчастного».

Образ жизни узника, его грусть, связь с волей, живой разговор — все тут; наверняка таких сцен было довольно много, только власть не доискалась.

Однако что за удивительные вещи показывает инженерный подпоручик грозному генералу от инфантерии: оказывается, Раевский в камере получил «три письма вашего высокопревосходительства»! Судя по сохранившемуся черновику, узник отвечал генералу, причем это — отнюдь не следственные вопросы, которые все вшиты в многотомное дело Раевского и отправлены высшему начальству.

Но что вообще за переписка между столь непримиримыми врагами, столь противоположными по своему положению людьми — узником-офицером и тюремщиком-генералом?

О, это очень не простой рассказ, который поведем не торопясь!

«Протест» Раевского у царя; освободить майора не желают, окончательно приговорить не решаются. Киселев наконец вернулся из долгого отпуска, Витгенштейн тоже. Сабанеев, уставший от южных дел, получил было предложение командовать войсками на Кавказе вместе с Ермоловым (Ермолов — за горами, Сабанеев — в горах). Дело кончилось поездкою командира 6-го корпуса на Кубань; когда же он возвращался обратно, то у Харькова лишь немного разминулся с Александром I.

Стояла осень 1825 года. Царь следовал в Таганрог, Сабанеев — в Тирасполь.

Киселев вскоре спросил Сабанеева, не знает ли он что-либо о сроках пребывания императора в Таганроге.

Сабанеев (25 октября 1825 года): «О намерении государя пробыть несколько месяцев в Таганроге ничего положительного сказать не могу, но как скоро узнаю, не замедлю уведомить».

Пройдет еще четыре дня, и 29 октября Сабанеев вдруг совершенно определенно сообщает Киселеву, что собирается в Таганрог. У него, оказывается, много дел к императору: прежде всего, собственные, весьма прохудившиеся финансы и еще какие-то *вопросы*.

Мы догадываемся, более того,— уверенно утверждаем, что генерал собирается поговорить с царем о Раевском, четвертый год сидящем в тюрьме без всякого приговора...

Царю Александру в его таганрогских печалях только Раевского и не хватает.

ТАГАНРОГ

Сабанеев — Раевскому: «Успех в ходатайстве об освобождении Вас почел бы я наивеличайшей ко мне милостью государя императора, и день тот наисчастливейшим днем в моей жизни».

Единственная сохранившаяся цитата из нескольких писем Сабанеева Раевскому; подлинники либо уничтожены, либо в каком-то архиве ждут своего открывателя.

Судя по всему, письма генерала были таковы, что Раевский не случайно присоединил их к своему «Протесту» и хотел отправить домой, родным...

А впрочем, кто знает? Хитроумные планы майора могли быть много сложнее; зачем посылать тексты в Хворостянку, где сейчас управляет делами буйный, распутный брат Петр Федосеевич? Заключенный Тираспольской крепости столь хорошо его знает, что просит начальство уберечь свою долю имения от проигрыша в карты и других импульсивных действий родственника (несколько лет спустя Петруша Раевский все пропьет, попадет в тюрьму «за буйные поступки» и умрет там от холеры, не прожив на свете и 30 лет...).

Так что нет у нас полной уверенности, будто подпоручик Бартенев в самом деле отправлял важные копии родным — может быть, цель была совсем иная?

Как понять? Или — «умом... не понять»?

Четыре года Раевский — «Я не боюсь Сабанеева».

Сабанеев: «Не боитесь... Я Вас арестую! Раевский, буйный сей мальчик...»

И вдруг — успех ходатайства перед царем об освобождении Раевского будет для Сабанеева «наисчастливейшим днем жизни».

Для подобных дел необходимы объяснения разнообразные.

Материальные: видя, что дело от царя не возвращается и приговор суда не утвержден, генерал справедливо начинает опасаться, что это признак высочайшего неудовольствия (разве разглядишь из южных степей все хитросплетения царского «не мне их судить»?). Кроме того, Сабанеев (так же как Киселев и Витгенштейн) всегда опасается, что если начнется уж слишком детальный разбор дела Раевского, то всплывут многие корпусные, армейские недостатки и злоупотребления, которых в Петербурге знать не должны.

Еще один «материальный резон»: Раевский может пойти на все; в показаниях мелькают имена юнкера Сущова и других, пригретых генералом и его невенчанной женой Пульхерией Яковлевной.

Наконец, по мнению ленинградского исследователя И. В. Немировского, Сабанеев к осени 1825-го довольно много уже знал о «большом заговоре» декабристов, по сравнению с которым вина Раевского достаточно мала и «заслуживает снисхождения».

Разные начальственные лица 6-го корпуса, внимательно приглядываясь в ту пору к сложному переплету общероссийских и бессарабских дел, случалось, искренне или притворно жалели Сабанеева. Столько раз уже упомянутый в нашем повествовании зверский генерал Желтухин писал «себе подобному», начальнику штаба корпуса генералу Вахтену: «Поверьте, рано или поздно наделает ваш тираспольский (Раевский) неприятностей нашему генералу, и жаль будет Ивана Васильевича. ибо, не льстя ему, он верный подданный своего го-

сударя, патриот примерный, который всегда будет необходим отечеству».

Итак, корпусному генералу вроде бы надо опасаться Раевского...

Идеальные же причины неожиданных писем Сабанеева, может быть, в том, что старому, боевому, толковому, суворовского закала генералу все же стыдно за столь длительное подавление «буйного мальчика»; в майоре легко отыскать черты собственной юности, и, как ни посмотреть,— он достоин уважения за свои твердые, хотя для службы недопустимые взгляды. Во всяком случае, четыре года заключения — более чем достаточный срок наказания за любую его вину, и если это дальше продлится, то Сабанееву придется оправдываться перед такими знаменитыми, уважаемыми товарищами юных лет и многих войн, как Ермолов, Денис Давыдов.

Вряд ли они посоветуют извиниться перед Раевским, но отчего же все-таки по-русски не протянуть руку?

Осмелимся заметить, что обе версии, материальная, идеальная, не так уж противоречат друг другу. Деловые опасения, естественно, могли посетить генерала, но при этом совсем не обязательно было писать узнику, да еще в столь сильных выражениях.

Нет, тут чего-то не хватает, что-то произошло, и нам никак не втиснуть сложность характеров в простые, исторические рамки.

Подождем...

Странная и страшная осень 1825 года.

Царь Александр, подавленный доносами Шервуда и Бошняка, опасается взрыва, повторения 1801 года; когда в Грузине аракчеевские слуги убьют ненавистную сожительницу Змея Настасью Минкину, царь в Таганроге не усомнится, что это обнаружились действия тайного общества, направленные на сокрушение духа графа Аракчеева...

заблуждение, «у страха глаза велики»; однако в военных лагерях под Киевом члены тайного общества Соединенных славян действительно клянутся той осенью нанести смертельный удар императору, и Бестужев-Рюмин возбуждает их чувства чтением пушкинского стихотворения «Кинжал», того самого, что наверняка одобрял Раевский, но в эту пору уже не очень одобрял сам Пушкин (его, впрочем, не спрашивают — творение от автора независимо!).

В эти самые месяцы, утомленный раздорами меж разными фракциями декабристов, Павел Иванович Пестель обдумывает идею, не явиться ли вдруг к царю в Таганрог с открытым забралом, с повинной: открыть всех заговорщиков в обмен на реформы и полную поддержку реформатора?

В это самое время Раевский, наверное немало знающий или подозревающий о событиях на воле, ждет решительных событий, а его погубитель, генерал Сабанеев, тоже собирается в Таганрог — просить за Раевского.

О, Русь...

Итак, все узлы стянуты; и убийцы, и доносчики, и просители, и выжидатели — все размышляют, как бы попасть к государю в Таганрог.

19 ноября 1825 года, на сорок восьмом году жизни и двадцать пятом году царствования, Александр I внезапно умирает в Таганроге.

Лейб-медик Вилье записал, что заболевший император не хотел лечиться и вел себя странно:

«Уже с 8-го ноября я замечаю, что его занимает и смущает его ум что-то другое, чем мысль о выздоровлении».

«Я отлично знаю, что мне вредно и что полезно,— сказал Александр.— Мне нужны только уединение и покой. Я уповаю на волю Всевышнего и на свой организм.

Я желаю, чтобы вы обратили внимание на мои нервы, так как они чрезвычайно расстроены». Вилье отвечал: «Я полагаю, что это случается с монархами чаще, нежели с прочими людьми».— «А в настоящее время я имею на это причины более, чем когда-либо»,— возразил император.

Среди огорчений и доносов, ожидая покушений заговорщиков, Александр вызывал в Таганрог любезного друга Аракчеева; а тот объявил себя больным, тяжко больным от горя (гибель Настасьи Минкиной) — да еще сам себя «уволил от дел» (забыв, что это прерогатива императора), не откликнулся на отчаянный призыв из Таганрога; меж тем болезнь Аракчеева оказалась нетяжелой, потому что в начале декабря Змей уж вернулся в строй и действовал вполне энергично. Петр Волконский, сопровождавший царя, знал все подробности последних переговоров Александра и любимого министра; знал, очевидно, и то, что Аракчеев представил убийство Минкиной как тайный заговор — а царь (мы хорошо понимаем почему), царь поверил и очень огорчился. Не можем удержаться, чтобы не процитировать письма двух заметных особ по поводу всей этой истории.

Волконский: «Проклятый Змей и тут отчасти причиною сего несчастия мерзкою своею историею и гнуснейшим поступком, ибо в первый день болезни государь занимался чтением полученных им бумаг от Змея и вдруг почувствовал ужаснейший жар, вероятно происшедший от досады, слег в постель и более уже не вставал».

Генерал Закревский (как помним, давний корреспондент Киселева и Сабанеева): «Змей... сам теперь раскрыл гнусный свой характер тем, что когда постыдная история с ним случилась, то он, забыв совесть и долг отечеству, бросил все и удалился в нору к своим пресмыкающимся тварям...»

ЭХ, В ТАГАНРОГЕ...

Эх, в Таганроге, эх, в Таганроге,
Эх, в Таганроге солучилася беда...

Так начинается странная народная песня, которую еще вспомним.

В Таганроге царь не хотел жить, не хотел лечиться, не хотел царствовать...

Император всея Руси, чей титул состоял из 35 географических названий, зная, что его вот-вот должны убить, не испытывал по этому поводу особой радости, но не находил спасения по многим причинам.

Лучше и легче было уйти: уйти в другой мир или затеряться в этом — в конце концов, не так уж важно...

Мы отнюдь не собираемся, в интересах нашего повествования, доказывать, будто майор из Тираспольской крепости прогнал Александра с престола. Однако мы не склонны лишать майора его доли в тех чрезвычайных огорчениях, которые делали царя все печальнее и печальнее, а время от времени заставляли произносить — «пора в отставку», «не мне их судить»...

Раевский подождет, ему долго сидеть — главные же линии нашего повествования, столь расходящиеся в пространстве и времени, обязательно сойдутся (пусть читатель не сомневается!) — нельзя им не сойтись.

Эх, в Таганроге солучилася беда:
Там убили, там убили,
Там убили молодого казака...

Эта песня существовала в нескольких вариантах. В некоторых из них — казака клали в гроб вместо кого-то, возникала тайна, и немало мемуаристов связывало ее содержание с загадкой кончины Александра; с загадкой — «царь умер или ушел?».

Век спустя заспорят, мог ли царь скрыться на глазах двора и свиты. Впрочем, в двух тысячах верст от Петербурга, на краю империи, чего только не могло случиться! Достаточно прочитать воспоминания царского квартирмейстера, который сетовал, что в Таганроге невозможно было установить должный церемониал вокруг гроба: «Доктора жаловались, что ночью все разбежались и что они не могут даже добиться чистых простынь и полотенец. Это меня ужасно раздосадовало. Давно ли все эти мерзавцы трепетали одного взгляда, а теперь забыли и страх и благодеяния!»

Все должны были знать четыре человека:

Лейб-медик Вилье, который (в своих интересах) не скажет, конечно, ничего лишнего.

Императрица Елизавета Алексеевна, которая переживет мужа всего на несколько месяцев и, возвращаясь в столицу, умрет по дороге.

Начальник штаба генерал Дибич, который через пять лет умрет от холеры.

Наконец, известный уже нам генерал Петр Волконский, про которого говорили, будто он произносит за год в среднем одно слово — и это слово «нет!».

«Если бы царь ушел, это как-нибудь просочилось»: мы воспроизводим спор, случившийся в XX веке. В ответ на эти слова великий князь Андрей Владимирович, член царствующей фамилии, вздохнет и заметит: «В XIX веке люди еще умели держать тайну; а кроме того, в конце концов кое-что ведь просочилось...»

Через несколько дней после 19 ноября Петр Волконский сообщает из Таганрога в Петербург, царской семье, что тело Александра забальзамировано по всем правилам, но при этом черты лица сильно изменились, и генерал считает необходимым гроб закрыть.

После того траурный кортеж медленно, с длительными

остановками, двинулся на север, и надо ли говорить, что везде, особенно в Москве, плотно закрытый и тщательно охраняемый гроб, меры безопасности (в 9 часов запирались ворота Кремля, заряженные пушки у каждого входа, пехота и кавалерия наготове, по городу разъезжают ночные патрули) — все это вызывало слухи: здесь что-то не так, в гробу лежит «не тот», или вообще никого нет. И по той же — и соседним дорогам — в тот же Петербург, обгоняя траурное шествие, везут Пестеля, Муравьева-Апостола, Грибоедова, Раевского...

Только через четыре месяца тело Александра доставляют в столицу. Гроб открывают на короткое время для избранного круга — царской семьи, европейских родственников и дипломатов. Прусский принц Вильгельм (будущий император Германии Вильгельм I), по свидетельству адъютанта, «был чрезвычайно поражен видом покойника». Один дипломат утверждал, будто императрица-мать Мария Федоровна воскликнула: «Нет, это не мой сын!»; другой запомнил, что она сказала: «Да, это мой милый сын, мой дорогой Александр».

Вздохнув над тем, каковы бывают исторические свидетельства, заметим, что даже вторая версия — «Да, это мой милый сын!» — предполагает некоторые сомнения, спор с «теневым оппонентом», утверждающим нечто противоположное. Позже, когда кто-то удивлялся — «что же, мать не узнала собственного сына?» — вспомнили, как последняя жена Ивана Грозного признала в Гришке Отрепьеве своего Дмитрия...

Март 1826 года: торжественные похороны Александра I в Петропавловском соборе, пушечный салют. Идущий полным ходом процесс над декабристами прерван: некоторые из заключенных, например генерал Орлов, при первых залпах встают навытяжку в своих камерах и отдают последние почести усопшему императору.

Надо ли удивляться, что вскоре поползут десятки, даже сотни слухов.

У московского мещанина Федорова изымают рукопись, где перечислены разные версии таинственного окончания александровского царствования; вот некоторые из них:

«Когда государь был в Таганроге, то приходят к той палате несколько солдат и спрашивали, что государь делает, им отвечали, что государь пишет, то и пошли прочь, также и на другой день пришли, получили тот же ответ и ушли опять, тогда пришли на третью ночь, им ответили, что государь ходит по покоям, то один солдат взошел к государю и сказал ему: «Вас сегодня изрубят, приготовьтесь непременно», то государь сказал солдату: хочешь за меня быть изрубленным, то солдат сказал: я не хочу ни того, ни другого; то государь сказал ему: ты будешь похоронен как я, а род твой будет весьма награжден, то солдат на оное тогда согласился. Он надел на себя царский мундир, а государя спустил в окно, а на солдата вбежали изверги и всего изрубили вместо государя».

«Когда Александр Павлович был в Таганроге и там строился дворец для Елизаветы Алексеевны, то государь приехал в оный из заднего крыльца, стоявший там часовой остановил его и сказал: не извольте входить на оное крыльцо, вас там убьют из пистолета. Государь на это сказал: хочешь ли ты, солдат, за меня умереть, ты будешь похоронен, как меня должно, и род твой будет весь награжден, то солдат на оное согласился, надел государя шинель и шляпу и пошел в отделываемый дворец, прикрыв лицо шинелью. Как взошел в первые комнаты, то вдруг из пистолета по нем выстрелили, но не попали, солдат повернулся, чтобы назад идти, то другой выпалил по нем, прострелил его, солдата подхватили и потащили в те палаты, где жила супруга государя, и доложили ей, что государь весьма нездоров и потом после помер, яко государь. А настоящий государь, бросив ружье, бежал с часов, но неизвестно куда, и писал Елизавете Алексеевне письмо, чтобы оного солдата похоронили как меня».

«Государя убили, изрезали и долго его тела искали и наверное не могут утвердить, нашли ли его тело, и нельзя узнать, для того на лицо сделали восковую маску».

«Государя напоили такими напитками, от которых он захворал и умер. Все тело его почернело так, что никак и показывать не годится. Для того и сделали восковую накладку, а гроб свинцовый в 80 пудов».

«Государь жив, его продали в иностранную неволю».

«Государь жив, уехал на легкой шлюпке в море».

И наконец: «Государево тело сам государь станет встречать и на 30-й версте будет церемония, им самим устроенная, а везут его адъютанта, изрубленного вместо него, который ему сказал, а он бежал и скрывался до Петербурга».

Мещанин Федоров, при всей своей эрудиции, не смог исчерпать сюжет: тогда же и вскоре были зафиксированы рассказы о фрейлине, поцеловавшей царя «отравленными губами», о засеченном солдате, которого положили в царский гроб (вот она, песня «Эх, в Таганроге», а также тема, после использованная Львом Толстым).

Один подробный рассказ уж совсем казался построенным на реальных фактах: действительно, на глазах Александра в Таганроге выпал из тройки и разбился фельдъегерь Масков (известно, что этот случай произвел на царя очень сильное впечатление). Потомки же фельдъегеря, вплоть до праправнуков, живущих в наши дни, нисколько не сомневаются, даже не понимают, как можно защищать иную версию, кроме той, что в гроб под видом царя положили именно их предка,— Александр же скрылся...

Слухи удивляющие и в то же время — обычные. Почти обо всех русских царях и царских детях шли толки в народе, будто их подменили, спрятали, увели; будто в могилу положили не настоящего царя,— а настоящий,

скажем, царевич Алексей Петрович, Петр II, Петр III, Иоанн Антонович, Павел — вовсе не умерли, а скрылись, но в свой час вернутся и поправят все дела в государстве. В прекрасной книге К. В. Чистова «Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв.» множество примеров народных преданий о «хороших царях», слухов, столь сильных, что они способны «поднять из гроба» Петра III в образе донского казака Емельяна Пугачева или — спасти от смерти царя Александра I.

Итак, перед нами «обычная версия», но поражает большое количество связанных с нею историй; к тому, признаемся, довольно жутко вообразить Александра I, который, спрятавшись в толпе, встречает свой собственный гроб...

АЛЕКСАНДР ПОСЛЕ АЛЕКСАНДРА

Побежали месяцы, годы, десятилетия. Волны слухов про «благословенного императора» прошли и отступили, освобождая место новым тревожным видениям. Более всего,— о благостном императоре Константине, который будто бы вовсе не отрекался после Александра, а наоборот, хотел дать народу волю, но господа заставили хорошего царя уступить место другому и волю спрятали. После этого, как известно, появилось сразу несколько лже-Константинов — странное эхо александровского завещания.

Кое-какие слухи, без всякого сомнения, просачиваются даже в тираспольскую камеру давно заключенного, но не осужденного майора; однако для него смена царей в конце 1825 года — прежде всего грубая реальность, влияющая на дальнейшую судьбу. Ему не до слухов — «царя убили — царь ушел».

На престоле Николай, жизнь Раевского вскоре определится, пойдут десятилетия иркутской, сибирской жизни,

и лишь на ее закате, в 1860—1870 годах, достигнут и села Олонки Иркутского уезда странные фантастические новости, гуляющие по Сибири.

Оказывается, близ Томска, на заимке купца Хромова, долго жил и в 1864 году помер ссыльнопоселенец Федор Кузьмин или Федор Кузьмич, чрезвычайно похожий на императора Александра I. Мало кто в Томске и округе сомневался, что это и есть сам государь: ушедший из Таганрога в 1825-м, арестованный несколько лет спустя на Урале и высеченный за бродяжничество, а затем навек поселенный в Западной Сибири.

Не беремся угадать, как встретил подобные рассказы Владимир Федосеевич Раевский, недавно возвративший по амнистии дворянство.

Старый скептик, верно, ухмыльнулся, но многое вспомнил, ибо вся сознательная молодость, от первых отцовских уроков до четвертого года тираспольской отсидки, все московские, петербургские годы учения, все войны и походы, служба, тайное общество, поэзия — все умещалось в царствование Александра I, который либо скончался в ноябре 1825-го, либо — с одним из своих же узников «разделял Сибирь» в течение нескольких десятилетий.

Мало того: как и Раевский, переживший после кончины причудливые исторические приключения, царь также оброс длинной посмертной биографией.

Соединяя эти персонажи при жизни, мы обязаны продолжить это занятие и в конце прошлого века, и в течение нашего.

1880—1910 ГОДЫ

Томские слухи о том, что Федор Кузьмич — это Александр I, наконец попадают в печать. Выяснилось, что загадочный сибирский старец оставил после себя запутанный, очевидно, масонский шифр, где между прочим про-

слеживалось слово «струфиан» (в переводе с латинского — *страус*).

Обычная склонность человечества к таинственному, как известно, усиливается накануне великих потрясений, революций: люди, чувствуя приближение неслыханных перемен, катаклизмов, ловят в разных, порой второстепенных происшествиях важнейшие намеки, «знаки будущего».

Воображение читателей конца XIX века было сильно раззадорено; версия об Александре, прожившем после смерти еще около 40 лет в Сибири, приобретает большую популярность и в литературе, и в науке. Мало того, на стенах томской часовни, воздвигнутой в честь «святого старца», появляются надписи: «Вставай, царь Александр, наведи порядок!» Сибирские разговоры на эту тему приобретают такие размеры, что вмешивается влиятельнейшее лицо — обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев: с одной стороны, ему приятно, что жители Томска, и более всего поклонник старца купец Хромов, имеют столь сильные монархические чувства,— но при этом культ Александра I как-то оборачивается против нынешнего правительства, которое вовсе не собирается бросить все и покаянно скрыться в Сибири. Поэтому Победоносцев замечает, что «нелишним было бы чрез духовное начальство пригласить известного ревнителя по старце к воздержанию в его прославление». Вскоре Исаакий, епископ Томский, докладывал в Петербург: «Мои беседы доселе не имели успеха. Хромов говорит, что он не обращает в продажу изображений Федора Кузьмича, а раздает оные только его почитателям, и то по неотступным просьбам последних. Что же касается личности Федора Кузьмича, то Хромов, по его словам, никому не навязывает своих взглядов и даже неохотно говорит об этом предмете с людьми посторонними, но сам лично убежден, что старец Федор Кузьмич есть Александр Благословенный. Разубедить его в этом мне очень трудно, по-

тому что Хромов не слушает и не хочет слушать никаких убеждений; уверенность в святости жизни Федора Кузьмича и заявление, будто бы сделанное последним при смерти,— что он, Федор Кузьмич, есть Александр Благословенный,— для Хромова выше всяких доказательств, и потому, вероятно, это убеждение он унесет с собою в могилу».

Так обсуждали «александровский вопрос» в 1880-х годах. Если бы в исторических спорах дело решалось голосованием, то, без всякого сомнения, подавляющим большинством голосов Александру I присудили бы не 48, а 87 лет жизни (1777—1864).

Разумеется, утверждалось и нечто иное; историк К. В. Кудряшов доказывал (в начале XX века), что старец Федор Кузьмич вовсе не Александр I, а другой исчезнувший представитель высшего общества, генерал Федор Уваров: в 1827 году он покинул дом и ушел в бродяги, чтобы искупить свой тяжкий грех — присвоение имения шурина Михаила Сергеевича Лунина, осужденного по делу декабристов.

Один из лучших знатоков биографии Александра I, его внучатый племянник великий князь Николай Михайлович, много занимался Федором Кузьмичом и в конце концов высказал гипотезу, что это — один из незаконных детей Павла I (вот почему похож на Александра!); однако другой член царской фамилии, великий князь Андрей Владимирович, уже после революции, в эмиграции, говорил, что Николай Михайлович сомневался, иногда склонялся к «царской версии», но по семейно-этическим соображениям не все свои идеи публиковал. В начале XX столетия великие князья однажды прямо спросили кузена, Николая II,— что он думает о возможной тайне Александра I? Последний русский царь отвечал, что «все может быть», однако решительно запретил вскрывать могилу предка в Петропавловском соборе: «Грех!»

На минуту остановимся и задумаемся.

В начале XX века (а еще больше в наши дни) усиливается стремление к тайне, взрыву обыденности.

Однажды автор этих строк во время лекции в очень солидном физико-математическом учреждении предложил проголосовать — кто за то, чтобы Александр на самом деле умер в Таганроге 19 ноября 1825 года, а кто — за таинственный уход?

Подавляющее большинство было конечно же за тайну. Казалось бы, чем волнует загадка Таганрога аудиторию научно мыслящих, серьезных людей, отделенную почти двумя веками от Александра и его времени? Однако так устроен человек; предпочтение таинственного, очевидно, в его природе, в том свойстве, которое Иван Петрович Павлов определил как «инстинкт *что такое*?».

Пастернак знал, где «кончается искусство, и дышит почва и судьба». Однако случается вдруг и наоборот: почва, судьба необъяснимы без вмешательства искусства, без самых невозможных выдуманных, нереальных сопоставлений. Это хорошо чувствовал один из лучших художников-историков Владислав Ходасевич, когда однажды (на закате жизни, в одной из эмигрантских газет) вот как оценил *художественность* русской политической истории XVIII—XIX веков (мы приводим текст, не публиковавшийся в Советском Союзе, сопровождая его лишь краткими примечаниями):

«Того, что в литературе зовется «действием», в этих событиях с избытком хватило бы на несколько драматических хроник, превосходящих шекспировские по внешнему размаху и внутреннему содержанию. Историку этой эпохи жизнь не поскупилась доставить неслыханное количество самого эффектного материала, каким обычно пользуются драматурги. Тут есть рождения принцев, коронования императоров, их мирные кончины, их свержения,

заточения, убиения, их раскрашенные трупы *, их призраки **: есть гроб одного из них, извлеченный из земли через 34 года и вознесенный на катафалк рядом с гробом неверной его жены ***; есть тайные браки, любовные придворные интриги, претенденты, сокрытые завещания, подкупы, поединки, перехваченные письма; аресты, казни, собрания заговорщиков, великолепные празднества, вдруг омрачаемые известиями о начавшихся войнах или мятежах; есть тоскующие принцессы, пленные короли, лукавые царедворцы, верные наперсники и клевреты, фавориты и фаворитки, коварные дипломаты, заезжие авантюристы, придворные лекари, поэты, астрологи, прорицатели, шпионы, доносчики; есть огромные массы статистов, составляющих обычную заключительную строку в списке действующих лиц: «солдаты, вестники, слуги, стража, народ, палач». С ними врываются на подмостки отзвуки колоссальных событий, совершающихся за сценой: войн, мятежей, пожаров. Очень возможно, что упорное стремление к созданию исторической трагедии большого стиля, идущее от Ломоносова и Сумарокова через Державина, Озерова и Княжнина до Пушкина, объясняется не только влиянием чисто литературных обстоятельств, но и реальными переживаниями эпохи, столь насыщенной драматургическим материалом».

Ходасевич подробно рассматривает одну из многих исторических драм, происходивших «на самом деле»:

«Императрица Елизавета Петровна «изменяет» Петру III, мечтая передать престол Павлу ****. Во II акте Екатерина II, перехватив корону у Петра III, «изменя-

---

* Павел I, чей труп гримировали для сокрытия страшных увечий.

** Павел I рассказывал, что ему являлся призрак Петра Великого, восклицавший: «Бедный Павел!»

*** Петр III и Екатерина II. (*Прим. авт.*)

**** Петр III был племянником императрицы Елизаветы Петровны, а Павел I — внучатым племянником. (*Прим. авт.*)

ет» Павлу, составляя завещание в пользу Александра Павловича. В III акте Павел I, став наконец императором, «изменяет» Александру Павловичу, подыскивая себе другого преемника. Ни в одном случае «изменяющей» стороне не удастся осуществить свой замысел, но и это каждый раз происходит по-новому... По имени центрального персонажа, вокруг которого она вся вращается, как вокруг оси, всю эту трагедию можно было назвать «Павел»...

К трем указанным выше актам жизнь должна была приписать четвертый, в котором династическая коллизия еще раз дана в новой своеобразной комбинации (Александр — Константин — Николай), но отодвинута на задний план, на первый же выдвинуты мотивы, составлявшие исторический фон первых трех актов: торжество империи, победа самодержавия в его борьбе с дворянством. Сквозь эти мотивы, сложнейше переплетаясь с ними, сквозною нитью пропущена душевная драма Александра I.

Трагедия... кончается четырнадцатым декабря».

Трагедия меж тем не могла окончиться 14 декабря, о чем задолго до Ходасевича очень и очень серьезно задумался Лев Толстой.

Задумался о Лунине, Одоевском, Волконском, Раевском, ушедших в Сибирь без чинов, титулов, дворянства, но — «каторга и ссылка, неволя было счастье, а генеральство и богатство и свобода были великие бедствия».

Задумался Толстой и об *уходе* Александра I, потому что сам хотел уйти.

В 1898-м, на семидесятом году своей жизни, писатель оканчивает «Отца Сергия»; это первый из его героев, который, скрываясь от света, меняет все: жизнь, имя, облик. Еще через два года дописана драма «Живой труп», где знатный, богатый, умный человек пытается начать новую жизнь посредством фиктивной смерти...

Оба эти сочинения, столь важные для Толстого, увидели свет только после кончины их автора: при жизни публикация означала бы «саморазоблачение», выдачу главного замысла.

Точно так же лишь после смерти Толстого будет напечатана третья «исповедь», что задумывалась и создавалась в те же первые годы XX столетия.

Еще в марте 1890-го года в записной книжке Толстого вдруг впервые появляется старец Федор Кузьмич.

Осенью 1901-го в Крыму писатель встречается с уже упомянутым нами историком — великим князем Николаем Михайловичем.

Собеседники, видно, расположились друг к другу, позже переписывались, и Толстой, вопреки придворному этикету, обращался к своему адресату не «Ваше Высочество», а «Глубокоуважаемый Николай Михайлович», что последний, без сомнения, считал совершенно естественным.

Погруженный в свои исторические занятия, Николай Михайлович как бы и не заметил революцию, сразу отказавшись от всех «наследственных прав»; однако в январе 1919-го, невзирая на хлопоты Горького, он был расстрелян; единственной причиной было родство с царской фамилией. Посещавший его в известной тюрьме «Кресты» видный филолог академик Саитов запомнил высокого, худого старика, державшего на руках любимую кошку...

При аресте Николая Михайловича его огромный архив был конфискован и, можно сказать, чудом уцелел во время революции, войн, казней и других исторических вихрей.

Именно из бумаг «Николая Михайловича Романова» в 1927 году была извлечена любопытная запись о крымской беседе с Толстым 26 октября 1901 года:

«Лев Николаевич... говорил, что давно ему хотелось написать кое-что по поводу легенды, что Александр кончил

свое поприще в Сибири в образе старца Федора Кузьмича. Хотя пока еще легенда эта не подтверждается и, напротив того, много данных против нее, но Льва Николаевича интересует душа Александра I, столь оригинальная, сложная, двуличная, и Толстой добавляет, что если только Александр I действительно кончил свою жизнь отшельником, то искупление, вероятно, было полное, и соглашается с Н. К. Шильдером, что фигура вышла бы шекспировская».

Действительно, незадолго перед тем первоклассный знаток биографии Александра I Николай Карлович Шильдер издал последний, IV том своего труда о царе, где вслед за главами о Таганроге, восстании декабристов и петербургских похоронах рассуждал о народных слухах, Федоре Кузьмиче и других фактах «посмертной биографии». Хотя Шильдер спорит с преданиями, но при этом не настаивает на какой-то единственной безусловной исторической версии. Толстой, сверх того, наверное, имел и другие сведения о сомнениях крупного историка; интерес к тайне 1825 года явно искал художественного выражения.

12 октября 1905 года 77-летний писатель заносит в дневник:

«Федор Кузьмич все больше и больше захватывает». Речь идет об уже начатой повести «Посмертные записки старца Федора Кузьмича...». По велению Толстого царь Александр I живет под чужим именем в дикой сибирской глуши, проводя дни и годы в тяжких трудах, посте, молитве и стараясь заслужить прощение страшных грехов — убийство отца, аракчеевщина и многое другое. Герой повести говорит: «Бог оглянулся на меня, и вся мерзость моей жизни, которую я старался оправдать перед собой и сваливать на других, наконец открылась мне во всем своем ужасе. И бог помог мне избавиться не от зла,— я еще полон его, хотя и борюсь с ним,— но от участия в нем...»

По ходу работы Толстой следил за новыми материалами об Александре I и старце Федоре. Шильдера уже не было в живых: в 1902 году он, по всей видимости, покончил жизнь самоубийством; поговаривали, будто историка угнетали трагические судьбы его коронованных героев и бесперспективность российского самодержавия.

Толстой продолжал советоваться с Николаем Михайловичем. Любопытно, что жадность к новым фактам (пусть даже опровергающим уход Александра I!) сочеталась у Толстого с крепким убеждением, что этим фактам не поколебать его художественную версию. 2 сентября 1907 года писатель, поблагодарив великого князя за присылку новых материалов, заметил: «Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Кузьмича,— легенда останется во всей своей красоте и истинности. Я начал было писать на эту тему, но едва ли... удосужусь продолжать. Некогда, надо укладываться к предстоящему переходу. А очень жалею: прелестный образ».

Надо укладываться к предстоящему переходу...

Прежде чем три заветных сочинения — «Отец Сергий», «Живой труп», «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» — выйдут в свет, 82-летний Толстой совершит поступок своих героев: навсегда уйдет из дому, чтобы переменить жизнь или умереть...

Публикация в 1911—1912 годах трех пророчеств Толстого явилась эпилогом, «документальным подтверждением» главного толстовского замысла...

Жизнь, история, обладавшие (как знали Толстой, Ходасевич) свойствами высочайшей художественности,— тут же начали создавать непредсказуемые продолжения «толстовских мотивов». В те самые годы, когда русское общество еще не остыло от потрясшего его известия об уходе и смерти Толстого, в ту самую пору, когда все больше и больше писали о декабристах, когда вышло из забвения имя Владимира Раевского,— внезапно дела

исторические, художественные, нравственные, мотивы невероятно сложные и тонкие сделались предметом рассмотрения... Санкт-Петербургской судебной палаты.

Февральский номер журнала «Русское богатство» за 1912 год с повестью Толстого о Федоре Кузьмиче был отпечатан в 17 тысячах экземпляров, из которых властям удалось конфисковать лишь 279. Поэтому против издателя журнала, «дворянина Владимира Галактионова Короленко, 58 лет», было возбуждено дело по статье 128 Уголовного уложения («намерение с целью оказания дерзостного неуважения верховной власти и порицания установленного законами образа правления»).

Обвинитель, товарищ прокурора Сергеев, заявил, что покойный Толстой через посредство своего героя Федора Кузьмича произносит крайне нелестные слова об Александре I и его родственниках. Например, Федор Кузьмич (он же Александр I) по воле писателя Толстого говорит (а другой писатель, Короленко, печатает):

«Людям, не имевшим несчастья родиться в царской семье, я думаю, трудно представить себе ту извращенность взгляда на людей и на свои отношения к ним, которую испытывали мы, испытывал я. Вместо того естественного ребенку чувства зависимости от взрослых и старших, вместо благодарности за все блага, которыми пользуешься, нам внушалась уверенность в том, что мы особенные существа, которые должны быть не только удовлетворяемы всеми возможными для людей благами, но которые одним своим словом, улыбкой не только расплачиваются за все блага, но вознаграждают и делают людей счастливыми».

В другом месте повести Александр называет себя «вечным преступником», с презрением говорит о своей бабке Екатерине II, «от которой шел дурной запах». Обвинитель требовал двух знаменитых русских писателей осудить.

Знаменитый адвокат Грузенберг вслед за тем, однако,

крепко ударил по обвинению, и если мы напомним, что речь идет об Александре и Федоре Кузьмиче, о тайнах русской истории,— то парадоксальность ситуации трудно переоценить.

Защитник: «Не разрешит ли господин прокурор моего недоумения? Если утверждение Толстого, что от Екатерины Великой скверно пахло, составляет порицание существующего в России образа правления, то не надо ли отнести к восхвалению существующего образа правления уверение Толстого, что Александр I был красив, изящен и всегда благоухал? Я думаю, что на этом мы можем примириться и отдать Толстому и Короленко всю ту серьезность, которую они вправе от нас требовать».

Адвокат заметил, что для прокурора царь, превратившийся в бродягу, оскорбителен — для народа же, для народного предания, для интеллигенции здесь «воплотилась идея искупления государем того великого греха, который не должен быть никому прощен, греха убийства или причастности к нему. И эта легенда смирения, искупления так близка, так родственна совестливой русской душе!.. Да, это — правда: у Толстого Александр I говорит: «Я — величайший преступник». Но таким он был, таким его признает и русская история, сказавшая в прекрасном труде по этому вопросу великого князя Николая Михайловича свое решающее, свое окончательное слово».

После того выступил сам Владимир Галактионович Короленко, который говорил о правах художника, о свободе исторического исследования.

Затем писатель перешел в наступление и заявил, что ему стыдно, ибо пришлось самому кое-что изъять из повести, «цензуровать рассказ гениального русского художника... И тем не менее наш журнал остановлен, редактор подвергся обвинению. Это похоже на то, как если бы на средине многоводной реки был поставлен небольшой шлюз, среди ничем не огражденного течения. Это неудобно для какого-нибудь отдельно плывущего судна,

которое, как наш журнал, может случайно на него наткнуться. Но течения это остановить не может. Целая историческая эпоха, знаменательное царствование императора Александра I стало уже достоянием исторической и общей литературы, и мы ждем, что приговор суда снимет и эти последние, ни для чего не нужные преграды на пути исторической правды, научной и художественной».

Петербургская судебная палата оправдала Короленко и его журнал, «разрешила» толковать и об уходе Александра, и о его грехах.

Щеголев из крепости посылает в журналы материалы о Раевском; суд защищает право свободно толковать и о декабристах, и об их главных противниках.

Меж тем приближается столетняя годовщина восстания на Сенатской площади, столетие «официальной смерти» Александра I; приближается год, когда должна быть присуждена *Аракчеевская премия* за лучшую биографию того царя...

ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ XX ВЕКА

Тут мы усилием воображения перелетаем через десятилетия, над войнами, революциями, над теми годами, когда начинает быстро расти посмертная слава Раевского и его товарищей, над теми годами, когда «падают акции» противников этих людей, в частности царя Александра.

Как раз тогда было расшифровано и введено в круг массового чтения пушкинское:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

К столетию 1825 года Александр I получал титулы «двуличного крепостника», «коронованного убийцы»: любая психология, попытка хотя бы в духе Льва Толстого изучить душевный кризис царя — все чушь!

Даже в 1950-х годах, мы помним, Азадовский, публикуя воспоминания Раевского, явно опасался, что ему «достанется» за попытку объяснить странности тираспольского процесса особым характером Сабанеева, особой позицией Александра I...

Пройдет еще десять лет, и, для того чтобы пробилась в печать «александровская тема», понадобился своеобразный военный совет нескольких историков, придумавших хитроумную аргументацию для успокоения начальства: было написано, что об Александре и Федоре Кузьмиче можно и должно поговорить, ибо, во-первых, это имеет отношение к декабристам; ведь со смерти или ухода Александра I все началось. Во-вторых, тут замешан Лев Толстой: тема его очень интересовала. В-третьих, историки напомнили, что во многих зарубежных книгах, энциклопедиях сообщается, что вопрос о смерти или уходе Александра «до сей поры не выяснен русскими и советскими исследователями»: буржуазная наука бросила нам вызов, мы должны ответить!

Впрочем, главное доказательство не было начальству сообщено «за ненадобностью»: что все это — вообще интересно; что история не состоит из одних декабристов и других положительных героев, и невозможно понять, скажем, Владимира Федосеевича Раевского без его «оппонентов», без царя... Наконец, нельзя сознательно оставлять историю с «белыми пятнами», фигурами умолчания и т. п. Карамзин говорил Александру I, что рад бы не писать о зверствах Ивана IV, но не может, ибо в этом случае история выйдет с дырками, и царь соглашался: что же это за история с дырками!

При всем при этом историки хорошо знали, что и самому начальству почему-то все это очень интересно, и вряд

ли стоит бороться так упорно с «царскими призраками»...

Великая оттепель 1950—1960-х годов, «эра Хрущева», размораживала не только сегодняшний, вчерашний день, но и давнее прошлое; кое-какие плоды той оттепели созрели уже на ее излете, в начале той эпохи, которая позже получит название — «застой».

ПОЧТА ЛЬВА ЛЮБИМОВА

Лев Дмитриевич Любимов, седой, румяный, очень веселый и очень больной, часто повторял: «Я скоро умру, и это очень смешно». В ответ на возражения, утешения собеседников представитель известного аристократического рода, автор «На чужбине», нашумевшей книги об эмигрантах, начинал объяснять: «Да нет, вы не поняли: смешно, потому что ко мне беспрерывно являются великолепные невесты; я хорошо понимаю, что имею в их глазах тройную ценность — много денег, отдельная квартира и скорая смерть,— понимаю, но иные сирены столь изумительны, что едва хватает силы для одиссеевской выдержки».

Питомец императорского Александровского лицея (выпуск 1917 года) — удивительный собеседник, легко перемещающийся из столетия в столетие. Свое благосклонное внимание он обратил на меня только после того, как запнулся и услышал уточнение — кем именно приходился император Иоанн Антонович Петру Великому...

— Я помню, как мы, дети, сквозь щелку разглядывали в гостиной князя Михаила Сергеевича Волконского: ну да, для вас он прежде всего сын декабриста, Сергея Григорьевича Волконского, а мы подслушали, что он был возлюбленным французской императрицы Евгении, жены Наполеона III, и, кроме того, знали, что Репин писал его портрет для своей картины «Государственный Совет».

Спрашиваю о прекрасной женщине на старинной фотографии.

— Это моя мама, в костюме, специально сшитом для 300-летия дома Романовых; я, однако, умудрился заболеть скарлатиной, и мама, сфотографировавшись, велела сжечь очень дорогой наряд.

— Но ведь скарлатина не передается...

— Стопроцентной уверенности не было, а всякое сомнение решалось в пользу верноподданнических чувств.

Одна из любимых тем Льва Любимова — Лицей: «В Советское время сказали бы, что это *кузница кадров;* оттуда выходили министры, губернаторы, члены Государственного совета. Вот я раздобыл за границей справочник к 150-летию Лицея, 1811—1961. Все по алфавиту: Горчаков, I курс, выпускник 1817 года, государственный канцлер; Любимов Лев, выпускник 1917-го; Пушкин Александр, камер-юнкер, выпускник 1817-го; Пущин Иван...

Один из последних предреволюционных однокашников звонит дважды в год. Однажды слышу: «Дорогой Лев Дмитриевич, поздравляю вас с праздником весны».

— Это с пасхой, что ли?

— Ах, тише, как вы не боитесь такие слова по телефону произносить?..

Посмеявшись, Любимов возвращается к печальной теме:

«Мне в самом деле жаль, что я скоро умру, и кроме общеизвестных причин существуют, по меньшей мере, еще две не совсем очевидных».

— Какие же?

— Во-первых, жалко, что со мною и мне подобными уйдут в небытие несколько никому не нужных, но почему-то прелестных частностей. Вот вы, хотя и знаете, что Иоанн Антонович был правнучатым племянником Петра Великого (а не внучатым, как я ошибочно полагал), вы и ваше поколение, конечно, не знаете, в каком чине являлся русский посланник к иностранному двору?

— Какой имел чин, в таком и являлся.

— А вот и нет. Пусть он статский советник или генерал, но все равно обязан был на большой прием прийти в мундире действительного тайного. Это посланники; а вот послы (их ведь было всего несколько — в Лондоне, Париже, Вене, позже в Берлине) — послы являлись в мундире канцлера. Господи, ну кому это нужно?

Сверх того, сожалею о собственной кончине, ибо не узнаю будущей разгадки великой тайны о государе Александре Павловиче, Федоре Кузьмиче и прочая, и прочая...

Результатом подобных разговоров и утешений явился общий разбор огромной почты, которая была затем вручена автору этих строк на длительное, а в случае смерти хозяина — на «вечное пользование во имя науки и тайны».

Дело в том, что осенью 1965-го и в начале 1966-го, то есть через 140 лет после окончания александровского царствования, Лев Дмитриевич «поставил вопрос»: сначала в «Неделе», затем в «Вопросах истории», «Науке и жизни» и некоторых других периодических изданиях замелькали столь забытые имена и термины, как «томский старец», «пустой гроб», «не мне их судить!». Еще в 1938 году в Париже Любимов опубликовал книгу «Тайна Александра I», то есть знал многое, но стремился к большему; главное — мечтал получить интересные сведения от читателей. В его публикациях были доводы в пользу тайны; несколько историков оппонировали, возражали: дискуссия разгоралась, редакции журналов и сам Любимов начали получать множество писем — но где-то наверху решили, что — хватит! Что и так слишком уж много места уделено столь сомнительной теме («А не подумает ли чего-либо наш читатель?» — спрашивал в ту пору своих сотрудников один ретивый зав. «Не подумает! Не подумает!» — успокаивали шефа его подчиненные).

В конце концов огромная почта Льва Дмитриевича лишь в очень малой степени вышла на печатные страницы.



РС
ФС
1 ВАНЦЕТ
М П
ѣсто
ечаті

И вот мы сидим рядом и снова просматриваем письма, определяя, что можно еще сделать, кого спросить, куда поехать?

Чтение было причудливое, преинтересное: разные века, разнообразные географические названия, исторически несовместимые события, и лица вдруг сходились, совмещались, и возникал какой-то странный мираж, позволявший в прошлом и настоящем многое понять, независимо от результатов поиска...

Совсем недавние как будто годы — конец 1960-х, начало 1970-х, когда мы разбирали почту Любимова; недавние времена, хотя с той поры выросло поколение и ушло поколение: среди ушедших — сам Лев Дмитриевич Любимов.

Совсем недавно,— но в почте были письма, которые сегодня получить уже невозможно: например, от людей, которые помнили первые издания толстовских «Посмертных записок старца Федора Кузьмича»; один из постоянных подписчиков литературных приложений к дореволюционному журналу «Нива» пересылал в редакцию 60-летней давности открытку с изображением старого Томска и Федора Кузьмича; другой корреспондент «точно знал», что портрет старца стоял на письменном столе Александра III, третий оканчивал письмо словами: «Привет из XIX века!» Наиболее почтенная авторша помнила своего деда, который видел Александра I, а потом... узнал его в Федоре Кузьмиче!

Письма отовсюду: княгиня Бобринская специально написала из Мюнхена Льву Любимову, своему старинному знакомцу, что тайна Александра I «никогда не откроется и каждый останется при своем мнении». Зато члены исторического кружка Целиноградского стройтехникума объявляли: «Мы все присоединяемся к вашему мнению о том, что для установления исторической истины необходимо вскрыть могилы-гробницы... Вы будете знать о дате вскрытия могил. Если не трудно, сообщите нам, допустят ли кого-нибудь из членов нашего кружка

присутствовать при вскрытии... Если да — возможно, кто-нибудь из нас приедет». Затем следует 27 подписей юных строителей (а ведь сейчас им уж лет по сорок!).

Еще и еще послания, нередко сообщающие куда больше об авторах, нежели о предмете письма.

Корреспондент из Тамбова пытается заново разгадать шифр старца Федора — «крылатый струфиан»; другой взялся за перо исключительно для того, чтобы спросить Любимова, не помнит ли он «моего родственника лицеиста Михневича?» Праправнук лейб-медика Штофрегена (одного из тех, кто находился с Александром в Таганроге) поделился семейным преданием, будто предок ежегодно, в годовщину кончины Александра, запирался и не выходил и что имелся какой-то потаенный пакет, который надлежало вскрыть «через сто лет после смерти лейб-медика» (пакет, увы, «бесследно пропал»). Некий очень основательный субъект с каллиграфическим почерком старательно и нудно объяснял Любимову, что «если Толстой опубликовал подлинные записки Федора Кузьмича, — то не приходится сомневаться в том, что Александр I был старцем Федором Кузьмичом».

Мы откладываем отдельно письма, содержащие хоть какую-то полезную информацию.

Некий боевой товарищ сначала обрушивается на Любимова: «Не все ли равно — в Таганроге или в Сибири умер император Александр I Благословенный? Ни место, ни время его смерти не улучшили и не ухудшили режима царской монархии. Хищническим, империалистическим, отсталым и кровавым он оставался до конца дней своих». Однако в конце послания автор, как видно, решил сжалиться над собеседником и поведать, что был среди тех мальчиков, которые в Тобольске, на рождество с 1917 на 1918 год, пели в церковном хоре в присутствии сосланной царской фамилии. Мальчики слышали, как сын Николая II, царевич Алексей, спросил, почему Александр I не причислен к лику святых? Николай отвечал,

что многое для того было сделано, в частности «нетленные мощи старца Федора привезены из Сибири и помещены в гробницу императора».

Вообще автор этого письма даже полвека спустя явно побаивается своего давнего общения с императорской фамилией. Куда смелее доцент Таганрогского института Овчаров, который передал в «Неделю» и «Вопросы истории» свою семейную хронику. Он утверждал, что его прадед, Овчаров Федор Кузьмич (заметим имя-отчество!), был среди охранявших царя и пользовался благосклонностью Александра, в частности, за немалое внешнее с ним сходство. Однажды царь подарил Овчарову хутор Юров близ Новочеркасска, но... сам в нем поселился под его, Овчарова, именем,— охраннику же велено было идти по миру. В конце концов, «подлинный Федор Кузьмич» был схвачен, бит, сослан, похоронен в Томске, а тот прадед, что жил на Дону, «лже-Овчаров», это и был царь Александр I...

Любопытно, что в дореволюционном архиве писателя Мережковского, а также среди писем, полученных в 1930-х годах писательницей М. Ямщиковой (публиковавшейся под псевдонимом *Алтаев*), имеются сходные письма отца доцента Овчарова...

Заметим, что эти и некоторые другие не менее остроумные объяснения тайны Федора Кузьмича переводят томского старца из кандидатов в цари. Старожилы извещали Любимова, что гробница старца в дореволюционном Томске вскрывалась во время ремонтных работ, и там были останки,— «но сейчас все уж сровняли с землей и ничего не найти».

Начало XIX века, время Александра,— вторая половина века, последние годы Федора Кузьмича и Владимира Раевского,— начало XX столетия, годы толстовских предчувствий,— советские десятилетия с их, казалось бы, совсем другими страстями и заботами — все сошлось в почте Любимова... Но завершим чтение писем.

Поразительную эрудицию проявляет Н. Курицын, в прошлом, как и Любимов, эмигрант, попавший в место «столь отдаленное» — «поселок Кадыкчан Магаданской области». Огромное послание завершалось строками: «Не плохо было бы Льву Любимову собрать все сведения о старце, как говорится, до кучи, чтобы в одном фолианте представить все, все, накопившееся по данному делу. А завершить исследованием данных, какие, возможно, удастся добыть в Петропавловском соборе и в часовенке над могилою Федора Кузьмича в Томске, если она сохранилась. При любых обстоятельствах, если хотя бы царская гробница даст что-то в руки исследователям, я имею в виду череп, то удивительное искусство М. М. Герасимова обязательно раскроет еще одну тайну царей.

Желая всяческого успеха и писателю, и эвентуально экспериментатору, будем надеяться, что книга об императоре и старце, возможно, создаст не менее интересный образ, чем некрасовский Питирим — Кудеяр *... Ведь такое только на Руси и возможно!»

Судьба автора письма вычисляется, конечно, довольно легко. Куда труднее расшифровать письмо некоего Анисимова, сообщившего, что в «годы бериевщины» он скрыл свое подлинное имя, «Клавдий Ганнибал, потомок арапа Петра Великого»; письмо сообщало, что именно в библиотеке «арапа» и его потомков хранился ключ к тайне царя Александра...

Итак, Мюнхен и Магаданская область, прямой потомок Александра, работающий в советском институте, и замаскированный родственник Ганнибалов — Пушкиных, предания аракчеевщины и бериевщины...

Чем больше фактов, гипотез, тем вопрос запутаннее. Меж тем тайна, романтическая жажда тайны и чуда переполняет десятки и сотни посланий, проникает в печать.

---

* Подразумевается, вероятно, легенда о разбойничьем атамане Кудеяре, будто бы сводном брате Ивана Грозного. (*Прим. авт.*)

И уж складывается в поэтическом воображении Давида Самойлова насмешливая версия, что царя Александра унесли космические пришельцы: «на часах гвардейца хватил удар», свидетелем же чуда был некий Федор Кузьмин —

В окно все это видел Дибич,
Но не успел из дому выбечь...

Самойловский смех более чем кстати, потому что от не очень веселых сюжетов с Кузьмичом *почта Любимова* уводила к еще более страшным, печальным, нечеловеческим делам, над которыми уж и не улыбнешься.

«ТАЙНЫ РОКОВЫЕ...»

Майор Раевский, царь Александр I — два современника, куда более «повязанных», чем это казалось им самим.

В XX столетии Владимир Федосеевич растревожит несколько ученых поколений своими несбывшимися бессарабскими планами (до которых прежде не смог докопаться легион следователей), дразнящими фантомами то возникающих, то исчезающих мемуаров, наконец, удивляющим «воздействием» своей биографии на судьбу исследователей и потомков.

100—150 лет спустя царь Александр представит те же вопросы — только отраженные в «дворцовых зеркалах»: растревожит сотни людей своими несбывшимися планами, фантомами отречения и ухода, неразгаданной жизнью, нереальной смертью...

Парижская газета «Кандид», 12 июля 1939 года (заметка Л. Д. Любимова): «Коровин, известный художник, утверждал в разговоре со мною, что нарком просвещения Луначарский ему сообщал: «Гроб Александра I найден пустым».

Профессор В. К. Красуский (Колтуши, близ Ленинграда): «Будучи еще студентом, я приехал в 1925 году в Ленинград к своей тетке Анне Адамовне Красуской, заслуженному деятелю науки, профессору анатомии Научного института им. П. Ф. Лесгафта, находившегося тогда на проспекте Маклина, д. 39 (сейчас этого института уже нет, он закрыт). Целью моего приезда было обучение у А. А. Красуской приготовлению анатомических препаратов. В одной из моих бесед с А. А. Красуской она мне сообщила следующее: «Не так давно производилось вскрытие царских гробниц. Особенно сильное впечатление произвело вскрытие гробницы Петра I. Тело Петра хорошо сохранилось. Он действительно очень похож на того Петра, который изображается на рисунках. На груди у него был большой золотой крест, весивший очень много. На присутствовавших при вскрытии гробницы Петра произвело особенное впечатление небольшое движение в сторону его рук при снятии гробовой крышки. Производилось изъятие ценностей из царских гробниц».

Зная А. А. Красускую как очень серьезного ученого и человека, я не могу допустить мысли, что все сказанное мне ею было основано только на слухах. Она могла сказать о вскрытии гробниц лишь то, что ей было хорошо известно».

Доктор технических наук, профессор В. И. Ангелейко (Харьков) — Л. Д. Любимову: «У меня в гимназии был товарищ Валентин Шмит. Его отец Ф. И. Шмит заведовал в Харьковском университете кафедрой истории искусств, затем перешел на работу в Ленинградский университет. В 1927 году я посетил своего товарища и от него узнал, что его отец в 1921 году участвовал в комиссии по изъятию церковных ценностей и в его присутствии вскрывались могилы Петропавловского собора. Комиссия не обнаружила тела в могиле Александра I. Он же сообщил мне, что очень хорошо сохранилось тело Петра I...»

Доктор технических наук, профессор Е. В. Болдаков (Москва): «В 1921 году мне в Москве твердо говорили, что вскрытие было произведено. Огромное впечатление на присутствующих произвел Петр Великий. Гробница Александра I оказалась пустой...»

Д. Адамович (Москва): «Со слов ныне покойного профессора истории Н. М. Коробова... мне известно следующее. Член Академии художеств Граббе, присутствовавший при вскрытии царских могил в Петрограде в 1921 году, сообщил ему, что Петр I очень хорошо сохранился и лежал в гробу как живой. Красноармеец, который помогал при вскрытии, в ужасе отшатнулся. Гробница Александра I оказалась пустой».

Профессор А. Н. Савинов: «Определенные сведения сообщал А. А. Сиверс, — записываю точно со слов его дочери:

«Александр Александрович Сиверс не видел никаких документов о вскрытии гробницы Александра I в Петропавловском соборе. Но он, будучи в дружеских отношениях с Владиславом Крескентьевичем Лукомским, слышал от него рассказ об осмотре гробниц в первые годы революции *. В. К. Лукомский присутствовал при вскрытии всех гробниц, во всех были обнаружены останки — кости, одежда. Но гробница Александра I была пуста.

Александр Александрович не стал бы рассказывать то, чему он не верил и за что не ручался бы. Не такой он был человек...»

Врач Б. А. Корона: «Считаю своим долгом поделиться с Вами имеющимися у меня заслуживающими внимания свидетельствами бывшего архиепископа Ленинградского Николая (в миру Владимира Михайловича Муравьева-Уральского), ныне умершего и похороненного

* Александр Александрович Сиверс, Владислав Крескентьевич Лукомский — видные специалисты по нумизматике, генеалогии и другим историческим дисциплинам. (*Прим. авт.*)

в городе Угличе. Архиепископ Николай, получив образование в Военно-медицинской академии, недолго работал врачом-отоларингологом и, приняв монашество, поступил в Ленинградскую духовную академию. В 1921 году... он по занимаемому сану был приглашен в комиссию, которой было поручено вскрытие склепов в императорской усыпальнице Петропавловского собора... Вскрытие могил фиксировалось в акте, который был подписан всеми уполномоченными по окончании работы».

Затем автор письма сообщил уже знакомые нам сведения: «Труп Петра Великого сохранился в отличном состоянии... одет в зеленый суконный мундир и кожаные ботфорты. Архиепископ Николай объяснил хорошую сохранность трупа голландским методом бальзамирования». По словам архиепископа тело Павла I не было бальзамировано, череп «разбит на многие куски»,— гроб же Александра I совершенно пуст, лишь на дне «немного пыли».

Кроме того, сходные сведения (отличающиеся некоторыми деталями, не более того!) содержались еще в нескольких письмах, в том числе от лиц, привычных к научному мышлению.

Соединив 15 свидетельств, я опубликовал в 1976-м статью в журнале «Наука и жизнь», где почти ничего не было о Федоре Кузьмиче и все внимание сосредоточилось на петропавловских царских гробницах, «пустом гробе» царя, обнаруженном в 1921 году.

После статьи (выхода которой Лев Любимов уже не дождался) пришли новые письма и свидетельства. В их числе было послание астронома профессора Козырева, который рассказал, что, сидя в сталинском лагере (дело было после войны), он общался с человеком по фамилии Каплун, родственником знаменитого деятеля 1917—1918 годов Урицкого; Каплун рассказал интересные вещи о гробнице Александра I и своем участии в ее вскрытии. Козырев выражал уверенность,

что собеседник его не обладал достаточной культурой, чтобы подобную историю придумать. В конце письма астроном прибавлял, что этого человека хорошо знала поэтесса Надежда Павлович. К счастью, свидетельница давних лет в ту пору еще здравствовала и трижды, в общем сходно, повторила автору этих строк свой рассказ, который вроде бы не прибавлял ничего нового к уже собранным сведениям, но поражал достоверностью, близостью к событию.

Итак, осень 1921 года: Надежда Александровна Павлович настаивала, что была осень и уже падал первый снег, но ее друга Александра Блока не было уже в живых («я не помню своего рассказа Блоку о столь примечательном событии»). Следующая осень, 1922 года, была для Надежды Павлович уже московской...

В ряде случаев детали рассказа поэтессы удалось проверить: ее псковские, гимназические воспоминания (где появлялся ровесник Юрий Тынянов и «малыш» Вениамин Каверин), ее петроградские и московские адреса, встречи, места службы в 1917—1922 годах — все, что поддавалось проверке, совпадало с рассказом; в преклонные годы Надежда Александровна, как это часто бывает, очень хорошо и точно помнила свою молодость...

Итак, осенним днем 1921 года Надежда Павлович пила чай на Миллионной улице (позже улица Халтурина) вместе со своей подругой Сонечкой Каплун, позже по мужу — Спасской. Это было на квартире матери Сонечки, родной сестры Урицкого.

Проверка по старинным петроградским справочникам все подтвердила — и улицу, и фамилии.

Посреди чаепития появляется брат подруги (и соответственно племянник Урицкого) Борис Каплун — тот самый, с кем будет делить лагерное житье профессор Козырев. Павлович пояснила (и это нашло подтверждение в мемуарах художника Юрия Анненкова и дру-

гих воспоминаниях), что Борис был заметным человеком в Петроградском совете, сделал немало добра писателям, деятелям искусств и, между прочим... организовал первый в Советской республике крематорий.

В тот день Борис был взволнован: он только что с отрядом красноармейцев участвовал во вскрытии царских гробниц. «Зачем?» — спросили мы. «Чтобы проверить слух, будто в царских гробах спрятаны царские сокровища». В ту пору были случаи, когда, подражая старинным романтическим повестям, кое-кто устраивал фиктивные похороны, чтобы в нужный час достать «из-под земли» спрятанное богатство.

— Ну и что, нашли?

— Нет, не нашли. Петр Великий сохранился лучше других — у него на пальце был бриллиантовый перстень, который мы думали снять для музея, но не решились (Павлович при этом сообщила деталь, которая выглядела особенно правдоподобной: девицы посмеялись над Борисом за то, что царь «показал ему шиш»).

Далее Павлович рассказала, со слов Каплуна, что другие цари сохранились много хуже, чем Петр, но главное: гробница Александра I совершенно пуста — гроба нет, тела нет...

Я пытался подтвердить впечатляющий рассказ поэтессы показаниями других свидетелей той же сцены. Увы! Соня Каплун и ее муж, поэт Сергей Спасский, пройдя через годы лагерей, вышли на волю, но умерли задолго до моих расспросов; их друзья и уцелевшие родственники не расспрашивали о делах 1921 года, зато поразились моему сообщению о том, что Козырев видел Бориса Каплуна в лагере после войны: «Мы все думали, что дядя Боря погиб вскоре после ареста, в 1937-м».

Выходило, что в поисках Александра I автор невольно попадал в зловещие хитросплетения следующего века: трудно было отказаться от мысли, что эти совпадения не случайны; что есть связь между трагическими

обстоятельствами 1820—30-х и 1920—30-х, между кончиной Александра и судьбами тех, кто его разыскивал (точно так же, как между страданиями Владимира Раевского и злоключениями его потомков).

Все очень близко, *все перепуталось...*

Рассказ Павлович — один из самых ярких; всего же в моих руках к концу 1970-х годов сосредоточилось около тридцати «признаний», сделанных разными людьми,— что гробницы вскрывались, но Александра I нет. Правда, все это были «свидетельства второй степени» — со слов очевидцев. Я и мои коллеги упорно искали хотя бы одного «прямого свидетеля», но увы! С каждым днем это становилось все менее и менее вероятно. Напали было на след человека, который в 1920-х годах ведал разными фиктивными захоронениями (вместо людей — сокровища),— старого чекиста Ивана Живодерова; он, однако, скончался буквально за неделю до того, как мы узнали его телефон. По моей просьбе в одном ленинградском архиве собрали нескольких ветеранов, изымавших в 1921-м церковные ценности в пользу голодающих Поволжья.

— Не слышали ль вы что-либо о подобном же вскрытии царских гробниц в Петропавловской, о поисках там сокровищ?

— Слыхать слыхали, но сами не видели: мы люди районные, изымали золото в церквах Васильевского острова, а крепость — дело городское.

Старые сотрудники Эрмитажа конечно же знали о вскрытии гробниц и отсутствии царя Александра; один из них даже удивлялся: «Разве есть какие-либо сомнения, мы в этом совершенно уверены»; очень жалели, что за несколько лет до моего появления скончался один старичок, гардеробщик Эрмитажа.

— Столь многознающий гардеробщик?

— О, наш — особенный! Он был мальчиком-лакеем при Николае II и когда вскрывали гробницы, то его

привлекали для технической помощи; вот он и рассказывал, что Александра I в гробнице не было.

— Неужто так в царях разбирался?

— Да получше нынешнего профессора.

Я обходил «последних могикан», способных рассказать о сложных, таинственных делах первых революционных лет. К одним я опоздал, к другим — едва успел, через год-два их не стало. Лишь однажды потрясающий звонок: «Я прочел вашу статью, я репортер «Красной газеты», я был при вскрытии гробниц».

— Так что же там? Так кто же там?

— Да не помню точно...

Если б мой престарелый собеседник поведал раздирающие душу подробности, я бы, конечно, ему не поверил; а так — сразу, безоговорочно поверил: действительно, революция, война; цари — вчерашний, позавчерашний день, кому они нужны? (Знаменитый историк Покровский говорил своей ученице, будущему крупному историку Нечкиной, что Александра в гробу не было, но «какое это имеет значение?») Старый репортер говорил со мною в эпоху, которая понимает, что цари имели «некоторое значение»,— из эпохи, которая этого решительно не желала понимать.

Я все же допрашиваю, надоедаю старому красногазетчику и наконец добиваюсь истины: он действительно присутствовал при вскрытии мощей... в Александро-Невской лавре, где обнаружились кости, которые принято считать останками Александра Невского. Александр I, Александр Невский — легко спутать!

Оставался еще один путь для розыска: Петропавловский собор.

Долгое время было неясно, какому ведомству подчиняются царские гробницы: один из авторитетных ленинградских руководителей, которого просили помочь

поиску, отвечал: «Цари обкому партии не подчиняются»; другой точно обозначил ведомство, которое распоряжается покойными императорами: Министерство культуры... Однако это министерство не отступило даже перед тремя нашими «неотразимыми аргументами» (важно для декабризма, для Льва Толстого, для борьбы с буржуазной наукой), и надо со вздохом сознаться, что ответные резоны начальства были довольно весомы. Дело в том, что к этому времени в печать просочились сведения, будто бы царские гробницы, в частности усыпальница Александра I, вскрывались и до революции, и в 1921 году. Следовательно, если открыть саркофаги и не обнаружить царя Александра, этим ничего не доказано: может быть, он был *до* прежних вскрытий?

Министерство настаивало, чтобы историки искали царские тайны своими путями, не вторгаясь в расписание столь посещаемого музея, каким является Петропавловская крепость, и не привлекая ленинградцев и гостей города к не очень для них нужной «царской теме...».

Наступил день, когда мы вроде бы исчерпали все способы поиска и стали ждать новых данных, новых свидетельств, следуя давно полюбившейся поговорке — «случай ненадежен, но щедр».

Однако стоит ли еще стараться? Около тридцати свидетельств, в общем одинаково описывающих интересующий нас факт, представленных людьми с квалифицированным научным мышлением, со ссылкой на ряд авторитетнейших имен... Казалось бы, достаточно для выводов, что:

1. В 1921 году гробница Александра I была пуста.

2. Отсюда с огромной долей вероятия следует, что она была пуста и до 1917 года.

3. Немыслимо представить (на основании того, что нам известно о моральных и религиозных принципах

правящей династии), чтобы царская фамилия разрешила потревожить одного из предков: либо в гробу в течение почти столетия вообще не лежало никакого тела, либо поначалу, во время похорон Александра I, был погребен в соборе другой человек, а после останки были оттуда изъяты.

4. Если так, значит, Александра I не хоронили в Петропавловском соборе в 1826 году; значит, он не умирал 19 ноября 1825 года в Таганроге и, скорее всего, скрылся от приближающегося декабристского удара. Куда? В Англию (по одним сведениям), на Дон, в Сибирь (по другим). Но от этой стороны вопроса мы сейчас решительно уклоняемся.

Казалось бы, все логично. Но... но... Но ведь достаточно было распространиться хотя бы одному «хорошо рассказанному» слуху, чтобы возникла крепкая версия. К тому же мы знаем теперь, сколько вполне разумных, серьезных людей делались жертвами сложного «коллективного гипноза» и своими глазами видели «маленьких зеленых космических пришельцев», а иногда еще более невероятные вещи.

Нет, всякая тайна, развивая наше воображение, фантазию, требует для противовеса самой нудной, сухой, тщательной проверки.

Хотя о «пустом гробе» 1921 года свидетельствуют весьма компетентные лица, но — увы!— никто из них не видел сам — все ссылаются на других компетентных очевидцев. Ни одного свидетельства «первого ранга» пока не удалось найти. Архивные поиски официального акта о вскрытии гробниц тоже ничего не дали: отдельный документ очень трудно, практически невозможно найти, если не знать достаточно точно, по какому ведомству он шел...

В моем домашнем архиве — довольно обширное досье на царя Александра, точнее, на загадку его кончины или ухода: 1820 — 1980-е.

Почти ничего не найдя, снова и снова убеждался, сколь связаны далекие эпохи: трагическое состояние Александра I — невеселые судьбы всех, прикосновенных к *тайне;* мир Владимира Раевского — и печальные заботы Жигулина, Оксмана, Азадовского...

Если Александр ушел, то откуда-нибудь, из русского или заграничного убежища, мог наблюдать за судьбой бывших своих сподвижников и врагов; даже, как помним, в одной из версий присутствует на собственных похоронах.

Вспомнились строчки Генриха Гейне:

Я не хотел бы, как мертвый монарх,
Лежать в гробу холодном;
Уж лучше на Неккаре в Штуккерте жить
Поэтом, пускай негодным.

Судьбы народа, судьбы царские, участь офицерская: «Боже,— восклицает Пушкин,— как грустна наша Россия».

Пора, давно пора нам вернуться в Тираспольскую крепость, откуда Сабанеев только что собирался в Таганрог, да опоздал; где в последних числах ноября 1825 года майор Владимир Раевский присягнул Его Императорскому Величеству Государю Константину Павловичу: поскольку он еще не осужден, то пользуется гражданскими правами и может «подать голос» за нового царя.

1825-й...

ДЕКАБРЬ И ПОСЛЕ

В Тирасполе генерал от инфантерии Сабанеев допрашивает прапорщика Политковского:

Вопрос. Какого рода было знакомство ваше с майором Раевским?

Ответ. Знакомство мое с майором Раевским заключалось в свидании одного только раза, когда я был у него вместе с инженер-подпоручиком Бартеневым. Разговор наш касался одной литературы и читанного нами последнего номера журнала «Сын отечества».

Вопрос. Кто был еще с вами 4-го числа прошедшего декабря у майора Раевского?

Ответ. Я был у майора Раевского всего один раз вместе с инженер-подпоручиком Бартеневым, но которого числа точно, не помню, а определяю время концом ноября или началом декабря.

Догадываемся, что за разговор мог быть в конце ноября или начале декабря 1825 года: о новом царе, о возможных переменах, о слухах, слухах...

Во время того допроса Сабанеев интересуется, что значат записочки на французском языке, оказавшиеся у Политковского и, возможно, продиктованные Раевским.

Ответ. Одна из них почерпнута из книги «Победы и неудачи французов» (том XIV), а другая тоже из книги, заглавие которой не могу припомнить, но обе книги сии обязываюсь представить немедленно.

Второй книгой оказалась «Секретная история кабинета Наполеона, или Двор Сен-Клу» (том I).

Вот чем интересуются майор и его юные собеседники.

Пройдет еще две недели, и заключенный Раевский снова воспользуется своим правом на присягу: на этот раз объявит себя верноподданным следующего императора — Николая Павловича.

Где ему знать, что в эти самые дни в Петербург уже свозят его старых друзей, тех, кто надеялся, подняв восстание, явиться в Тирасполь и поставить майора во главе мятежных войск.

С декабря 1825 года Владимир Раевский перестает быть единственным, «первым» декабристом. Отныне он — один из многих. Отныне его положение, обстоятельства — все меняется.

Там, в Петербурге начинает звучать его имя.

«1825 года декабря 27-го дня. Одиннадцатое заседание Следственного комитета.

Слушали: о многих офицерах, в том числе о майорах Раевском и Лорере...

Положили: *взять*».

Увлеклись генералы-следователи: Раевский уже взят почти четыре года назад. Однако — *взять!*

В начале января готова суровая справка: «Капитан Майборода в представленном списке называет его членом тайного общества, а потом в дополнительных пояснениях утверждает, что о принадлежности его, Раевского, к обществу служит доказательством нахождение его под следствием и арестом в Тираспольской крепости... по известному происшествию в 16-й дивизии и что при осмотре бумаг его, Раевского, оказался в них тогда именной список членов тайного общества, который взят и истреблен был полковником Бурцовым».

Сверх того, «генерал-интендант Юшневский и полковники Аврамов и Бурцов и майор Лорер, подполковник Комаров показывают, что сей Раевский к тайному обществу принадлежал».

Плохо дело: даже двух показаний достаточно, чтобы арестовать, привлечь к делу о 14 декабря; а здесь уже шесть человек назвали Раевского,— и это еще не все! Непременно взяли бы майора, если б уже не был арестован.

А поскольку он давно арестован, специальный фельдъегерь несется на юг с «допросными пунктами».

Так Владимир Федосеевич, полтора года дожидаясь окончательного приговора от Александра I, дождался нового следствия от Николая.

5 января он предстает все пред тем же генералом Сабанеевым.

Как все изменилось!

Два месяца назад, два императора назад, генерал собирался просить в Таганроге за своего узника, мечтал как о высшем счастии — дать ему свободу.

Не успели.

Раевский не успел, Сабанеев не успел, Александр не успел.

«Начальник Главного штаба армии известил меня, что по произведенному исследованию относительно членов тайного общества из показаний некоторых лиц, к оному принадлежащих, видно, что и Вы принадлежите к тому же злоумышленному скопищу, почему, по воле г-на главнокомандующего армиею предписываю Вам отвечать на нижеследующие пункты.

Генерал от инфантерии Сабанеев 1-й.

Вопрос. Какая цель того тайного общества, к коему Вы принадлежали или принадлежите, и какие предположены способы к исполнению оной?

Ответ. Я ни к какому тайному обществу не принадлежал и не принадлежу и никогда, как прежде, так и доселе, ни о какой цели сего общества ничего не знал и не знаю.

Вопрос. Кто из членов, составлявших то общество, Вам известен лично или по переписке, или только по слухам?

Ответ. Ответствовано против первого пункта.

Вопрос. С какого времени поступили Вы в вышесказанное общество? Кем были в оное приняты, через кого и с кем имели по предмету составления сего общества переписку или переговор?

Ответ. Сказано по 1-му пункту. Сверх этого, присовокупить имею честь, что доноситель сего, конечно, не зная меня, по одному только слуху решился произнесть

столь черную клевету, почему и прошу я наипокорнейше вышнее начальство, если я виновен — поступать со мною по всей строгости наших законов, если же нет, то пусть наказание в той же мере падет на доносителя».

Каждый исполняет свою роль: Раевский запирается, Сабанеев не усердствует, но передает те вопросы, какие велено задать. Для порядку еще спрашивает: «Дошло до сведения моего, что по слабому за Вами надзору караульных офицеров и в особенности от послабления Тираспольской крепости коменданта подполковника Сириоти многие лица как военного, так и гражданского ведомства Вас навещали».

Как мы знаем, Сабанеев и сам смотрел сквозь пальцы на посетителей майора; и на этот раз — легко удовлетворяется ответом о людях, приходивших осматривать в камере стекла и печь.

Мы имеем только письменную часть допроса и не слышим, как объяснялся на этот раз генерал с «буйным мальчиком». Сабанеев, сильно подозреваем, сожалел, что не успел выпросить Раевскому прощение, всячески советовал ему поскорее, пока там наверху копают, обратиться к доброму командующему 2-й армии,— и на этот раз Раевский впервые согласился составить нечто, отдаленно напоминающее просьбу о помиловании. Зная характер Владимира Федосеевича, с большой уверенностью предполагаем за этим чуть ли не просьбу Сабанеева, во всяком случае, совсем не тот разговор, с которого в феврале 1822 года начались злоключения майора.

Несколько лет Раевский защищался, контратаковал, чувствуя, как власть и хочет и не желает добраться до главных «секретов», как меланхолия Александра замораживает все инстанции, от Зимнего дворца до Тираспольской крепости. Теперь же — совсем иное, аресты, доносы, слишком много свидетельств, слишком сильна ярость новых правителей, сначала проливших кровь

на Сенатской площади, а несколько дней назад — при разгроме Черниговского полка под Киевом.

Многие современники и потомки верно судили, что Раевский так хорошо держался четыре года, потому что имел сотни сторонников за стенами крепости: не зная многого,— улавливал дух, силу тайных обществ, и в том была надежда. Теперь же — они все вместе внутри крепостных стен; для многих отсутствие какой-либо надежды с воли становится главнейшей причиной упадка, слабости, иногда капитуляции перед следователями...

Раевский же, с февраля 1822-го, закалился, привык к сопротивлению,— так не разучиваться же в новых обстоятельствах! Он хорошо понимает во время сабанеевского допроса и после него, что впереди трудности, несравнимые с прежними. Да и Сабанеев видит, что придется отвечать за медленность собственного следствия, за то, что там, в столице, сами узнали о связи Раевского с заговорщиками, а он — не узнал, потому что не слишком хотел...

Обоим придется оправдываться, хотя, конечно, поразному.

Последнее в жизни свидание Раевского с Сабанеевым.

Вместе служили, несколько лет яростно сражались, чуть не помирились — пошумели...

Теперь приказано отправить упорнейшего майора на север, в столицу, пред очи Следственного комитета. Разумеется, противостояние офицера и его генерала отнюдь не отменяется, но отныне делается, так сказать, заочным. Генерал и рад тому, что наконец избавился от «многолетней чумы» Раевского, да и не рад, ибо не сделал то, чего хотел, а в Петербурге сидят такие мастера, что от них не поздоровится и Раевскому, и Сабанееву, и Киселеву, и Витгенштейну.

10 января 1826 года в крепость является *малый змей* Отто Иванович Вахтен, начальник штаба 6-го корпуса

(Сабанеев, как видно, не захотел неприятного прощания). Вахтен со стражей обыскивает камеру, но ничего не находит, кроме книг, офицерского патента *, золотой шпаги за храбрость и писем из дому.

Много ли надо майору?

Прощай навсегда, Молдавия, где служил, ожидая революции, шутил с Пушкиным, целовался с солдатами, дерзил старшим, защищался, ярился, попал в кутузку, не сдался.

В Петербург — столицу недавнего бунта и сегодняшней расправы; бунта, в котором Раевский «по техническим причинам» не участвовал.

В Петербург — по зимней дороге, в цепях...

В эти же дни о нем толкуют, вспоминают, расспрашивают друзья, знакомые.

Пушкин Жуковскому, из Михайловского в Петербург (письмо от 20 января 1826 года, идет с оказией): «В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым.

Я был масон в кишиневской ложе, то есть в той, за которую уничтожены в России все ложи.

Я, наконец, был в связи с большею частью нынешних заговорщиков».

Пестель: «32-го егерского полка майор Раевский принадлежал к Союзу благоденствия прежде объявления об уничтожении оного в Москве, но после того не было с ним никаких сношений».

3 февраля 1826 года Николай Комаров просит Николая I объявить Раевскому, что он, Комаров,— «его обвинитель», и объяснить причины, побудившие его это сделать (понятно, причины идейные, благонамеренные).

---

* Документ, удостоверяющий офицерский чин. (*Прим. авт.*)

Раевский так до конца дней не успел объясниться с одним из прежних товарищей (в крепости не пересекутся, а 27 лет спустя отставной полковник Комаров покончит жизнь самоубийством).

Раевскому сейчас надо сосредоточиться; дело предстоит не менее горячее, чем у Бородина или Березины: там всего лишь против Наполеона, а здесь — вроде бы против всех...

ЧАСТЬ IV

С судьей не спорь,
с тюрьмой не вздорь.

Поговорка

В этом городе Раевский был давно. После короткого детства и московской юности готовился здесь в офицеры, мечтая — о славе, о стихах, о науке, о любви; но — не о дружбе, потому что рядом был любимый Гавриил Батеньков.

Потом дороги 1812-го, Украина, Молдавия...

«1826 г. в начале февраля я был отправлен в Петербург. Капитан Бурман, адъютант Сабанеева, должен был сдать меня дежурному генералу. Из дежурства меня отправили в Зимний дворец. Тут, в нижнем этаже, были кухни, где помещали привозимых пленников или узников. Над каждым было поставлено по два фурштадских солдата с обнаженными саблями. Кушанье приносили с дворцовой кухни.

На другой день вошел фельдъегерь, взял меня с собою и привел ко входу в Эрмитаж. Я вошел в переднюю, через несколько минут меня позвали. Я вошел в большую картинную залу. Генерал Левашов подозвал меня к небольшому столику и указал мне садиться.

1-й вопрос его был: Родственник ли я генералу Раевскому?

Ответ. Очень далеко, и генерал едва ли знает.

2-й. Принадлежал ли я к тайному обществу?

Ответ. До 1821 года принадлежал, но в 1822 году был арестован и содержался в крепости Тираспольской, и с тех пор ничего не мог знать».

Генерал Левашов стал затем спрашивать о военных школах, о генерале Орлове — «Я заметил, что он затрудняется писать мои ответы, и попросил позволения писать мнё самому. Он отвечал: «Очень хорошо» — и повернул ко мне бумагу. Ясно и вразумительно я сказал все, что нужно было. Он взял бумагу. «Подождите»,— сказал мне и ушел к государю».

Так начинались почти все петербургские допросы, после чего ко многим выходил Николай I — «познакомиться». На этот раз государь не вышел: очевидно, не нашел предмета для увещевания или угрозы, так как связь дела Раевского с главным процессом не очень ясна. К тому же известно, что этот узник чрезвычайно упорен, и царю лучше поберечь силы для более впечатлительных, податливых. Поэтому прямо из Эрмитажа майора отправляют в Петропавловскую крепость, в распоряжение коменданта генерала Сукина, который обошелся с новым заключенным вежливо и отправил его в третий номер Кронверкской куртины.

«— Вы извините, но я обязан обыскать вас,— сказал мне плац-адъютант.

— Я знаю это,— ответил я,— но по приезде в Петербург меня уже в Зимнем дворце обыскивали при сдаче и отправке сюда, да при отправке в Петербург также обыскали, но, пожалуй, если вам этого хочется. Я говорил это шутливо, и плац-адъютант не стал обыскивать».

Арестант с большим опытом...

Проходит несколько дней, и наступает день допроса в Следственном комитете. Мы точно знаем по сохранившимся протоколам, что это было 11 февраля 1826 года.

Раевский: «Плац-майор Подушкин ночью, часов в 11, вошел ко мне. Он вывел меня из каземата и попросил очень учтиво позволения завязать мне глаза. И, не дожидаясь ответа, каким-то платком туго завязал мне. Мы сели в сани, остановились, он вывел меня за руку и ввел в комендантский дом и посадил за ширмы.

Натурально, находясь один, я приподнял платок и видел, как выходили и входили в эту комнату разные люди, но кто именно, не мог отличить. Через полчаса плац-майор подошел ко мне, взял за руку и привел к дверям другой комнаты. Он отворил дверь, снял с меня повязку и, указав на двери, сказал: «Войдите».

Я вошел. Передо мною явилась новая картина: огромный стол, покрытый красным сукном. Три шандала по три свечи освещали стол, по стенам лампы. Вокруг стола следующие лица: Татищев, по правую сторону его — Михаил Павлович, по левую — морской министр, князь Голицын, Дибич, Чернышев, по правую — Голенищев-Кутузов, Бенкендорф, Левашов и Потапов. Блудов, секретарь, вставал и садился на самом краю правой стороны».

Мы имеем редчайшую возможность положить рядом воспоминания Раевского — те самые, которые в 1950-х годах всплыли в Ленинграде и попали к Азадовскому, а также — показания декабриста, записанные в ту февральскую ночь 1826 года. За исключением нескольких подробностей, сибирская память Раевского все сохранила в точности, что заставляет поверить и тем деталям, которые в протокол не попали.

Допрашиваемый быстро освоился и разглядел в руках Блудова знакомую кишиневскую рукопись, написанную прежним командиром Михаилом Орловым; в дверях же Раевский заметил Алексея Орлова, брата Михаила Федоровича: 14 декабря он отличился, действуя в пользу Николая, и за то выпросил у царя снисхождение к недавно арестованному родственнику. Конечно, Алексей Орлов здесь не случайно, он не член комитета, но наблюдает за собственным, «орловским» делом и волнуется.

На этот раз допрос ведет не генерал Чернышев, как обычно, а начальник Главного штаба Иван Иванович Дибич. Вряд ли это случайно: Дибич — близкий прия-

тель Сабанеева и, можно сказать, представляет в эти минуты командира 6-го корпуса.

Итак, каждый из двух генералов, бывших начальников Раевского, имеет по заступнику в этой комнате.

Кто же защитит самого майора?

Его допрашивают о тайном обществе, об Орлове, который будто бы говорил, что Раевский — «один из самых деятельных членов общества». Обвиняемый чувствует, что Дибич лжет, что Михаил Орлов этого не говорил (разве что Алексей Орлов!), и тут же требует очной ставки со своим бывшим комдивом. Разумеется, очной ставки не дают.

Однако есть опасные показания еще нескольких декабристов о связи майора с тайным обществом: не с тем, ранним, в чем он сам признался,— но с позднейшими, что образовались пред его арестом, а позже поднялись на восстание.

Раевский: «Я совершенно ничего не знаю. И если господа Юшневский, Бурцов, Пестель, Аврамов, Лорер и Майборода называют меня членом, то пусть покажут, кто из них принимал меня в члены, или присутствовал при принятии, или даже при разговорах моих с Филипповичем или Комаровым. Говорили ли со мною о постановлениях общества? Были ли со мною в переписке или других непосредственных сношениях в продолжение семи лет? Видели ли меня во все сие время? Последних двух, т. е. Лорера и Майбороду, я не только от рождения моего не видал, но имена их в первый раз слышу... Показания их основаны на догадках или слухах. А в России не только Наказом Великой Екатерины, но и Процессом воинским таковое свидетельство не приемлется. Свидетельство двух *присутствовавших* есть доказательство неоспоримое. Пусть покажет Филиппович или Комаров (не помню, кто из них), кто был при предложении его? О какой цели говорено мне? И знал ли я какие-либо вредные намерения? Я ссылаюсь на самого показателя».

Да, этого голыми руками не возьмешь...

Вопрос. «Почему у меня в тетрадях названо конституционное правление *лучшим?»*

Ответ. «Конституционное правление я назвал лучшим потому, что покойный император, давая конституцию Царству Польскому, в речи своей сказал, что «я вам даю такую конституцию, какую приготовляю для своего народа». Мог ли я назвать намерение такого императора иначе?»

Вопрос. «Почему я назвал правление в России *деспотическим?»*

Ответ. «В России правление монархическое, неограниченное — следственно, чисто самовластное, и такое правление по-книжному называется деспотическим.

— Вот видите,— сказал Дибич, обратясь к другим членам. Потом, обратясь ко мне, сказал: «У нас правление хотя неограниченное, но есть законы». Привязки Дибича начинали меня волновать. Я отвечал, что Иван Васильевич Грозный и... Дибич не дал мне продолжать и громко сказал:

— Вы начните от Рюрика.

— Можно и ближе. В истории Константинова для Екатерининского института сказано: «В царствование императрицы Анны, по слабости ее, в 9 лет казнено и сослано в работы 21 тысяча *русских* дворян по проискам *немца* Бирона».

Я сделал ударение на слова «русских дворян» и «немца» (Дибич был немец).

— Вы это говорите начальнику штаба его императорского величества.

Все молчали. Только великий князь Михаил Павлович отозвался: «Зачем было юнкеров всему этому учить?»

— Юнкера приготовлялись быть офицерами, офицеры — генералами».

Дибич, очевидно, почувствовал в словах великого

князя некоторый подвох: ведь и начальник штаба, и Сабанеев в свое время учредили школы по войскам; поэтому допрашивающий генерал восклицает:

«Не все же учить только маршировать, но не так учить, как он...» Дибич отодвинул от себя бумаги к Чернышеву и сказал: «Александр Иванович! Спрашивайте!»

Тут следователи вцепились в несколько фраз из захваченных когда-то писем Раевского к покойному другу Охотникову: что значит «нам, оживотворенным, стремящимся к одной цели»? Генералы не скрывали, что понимают, о ком, о какой цели шла речь; однако Раевского не сбить:

«И хотя, ссылаясь на законы, я бы мог оградить себя от обвинений тем, что двоемыслие или темный смысл надлежит принимать так, как его *толкует* ответчик, но здесь местоимение «нам» и глаголы относятся просто как лицо к лицу, как действующее к действующему. Нигде ни одним словом во всех письмах не упомянуто ни об обществе, ни даже о третьем лице. *Цель* же есть то нравственное совершенство, та высокая любовь к добродетели, которая научает нас при всех изменениях судьбы, не преступая обязанностей своих, быть в союзе со своею совестью и, опираясь на чистую веру, не бледнеть в последнюю минуту жизни».

Последние слова (мы ведь цитируем сейчас не мемуары декабриста, а протокол!) содержат прямой вызов: вопрос генералам-следователям — а вы не побледнеете ли в последнюю минуту жизни?

Вообще-то за грубость карали крепко; заковали на много месяцев Якушкина, Крюкова, Горского. Однако Раевского почему-то не тронули. То ли он говорил достаточно спокойно, без вызова; то ли не слишком уж интересен генералам из комитета. В самом деле, ведь сидит пятый год без приговора и, естественно, не отвечает за последние мятежи. Кстати, майор тут же, как бы

между прочим, замечает: «Уверен твердо, что комитет, составленный из столь знаменитых особ в России, не желает обвинить офицера, который всегда служил с честью».

Еще раз его спрашивают о Северном и Южном обществе.

Ответ. «Я и ныне едва сообразить могу, чтобы патриотическое общество, о коем я знал, составляло одно с тем разрушительным обществом, о коем мне учинены запросы».

Хитрый: не отрекается, не уклоняется...

За старые грехи, например за Союз благоденствия, распущенный в начале 1821 года, иных декабристов даже не арестовывали; других берут, но отпускают, если нет каких-нибудь дополнительных «обвиняющих фактов».

Допрашивая Раевского и сводя его на очных ставках со многими другими, следствие в лучшем случае дознается, что майор многое себе позволял — но много лет назад.

Некогда им заниматься такими пустяками.

Однако раз уж привезли Раевского в Петербург, надо с ним как-то разобраться. Сабанеев, 2-я армия, Главный штаб, царь Александр за четыре года так и не сумели приговорить — случай уникальный!

Раевский, правда, готов писать новые «диссертации», но комитету сие совсем не нужно, ибо в эти недели он настойчиво терзает сотню членов Северного и Южного общества. Поэтому майора опять оставляют в покое и милостиво разрешают подготовить новые оправдания — по старинному его делу.

Снова он — писатель, мастер особой тюремно-оправдательной прозы. Подробно, логично, настойчиво, математически-настырно обосновывается, что его, Раевского, осудили за слова и мнения. По этому поводу используется даже цитата императрицы:

«Ничего нет труднее, как судить слова, коим можно дать всегда другой толк, другое значение; часто один взгляд, одно движение бывает сильнее многих слов»,— говорит Екатерина Великая в «Наказе» своем.

Более того, приводится неожиданный аргумент против включения в дело прозаических и стихотворных текстов обвиняемого:

«Если мысли, плохими стихами выраженные, могут дать некоторое понятие об образе их мыслей, я осмеливаюсь вписать здесь отрывок из послания моего к молодому моему приятелю, которое было напечатано в одном из журналов наших.

Для кроткого царя, для родины священной
Приятно *жертвовать собой»*.

Раевский снова и снова вводит казематскую прозу, живые зарисовки армейских нравов в официальный текст (который вскоре будет занумерован, зарегистрирован, вшит в толстые тома, засекречен):

«Смеешь ли ты быть прав, когда генерал отдал тебя *под суд?»* — говорил Томского пехотного полка капитан Готовцев, презус суда, дивизионному писарю, который совершенно оправдался по суду.

«Изорвать эти вопросы! Дать ему такие, по которым бы он непременно был виноват: я не хочу за него отвечать перед генералом!»

« 34-го егерского полка капитан Гренцевич, рассердясь на часового, велел подать палок и тут же на часах наказал его».

«34-го егерского полка поручик Палешко поссорился с прапорщиком Алексиано, вызвал на дуэль, потом пошел жаловаться. Алексиано представил вызывную записку и тем оправдался перед полковым командиром. Палешко взял несколько молодых офицеров, напоил их, вломился ночью в квартиру Алексиано, забил ему рот,

закрутил голову простыней и бил его кулаками и палками до тех пор, пока молодой и слабый офицер не потерял чувств. И этому Палешко обещано покровительство от начальства гласно».

«33-го егерского полка поручик Коломейцов арестован был именно за то, что не хотел принять гнилой муки из Тираспольского магазейна для батальона. «Я тебя продержу под караулом до тех пор, пока ты не поешь все эти 25 четвертей»,— сказал ему, сажая под арест, генерал Желтухин».

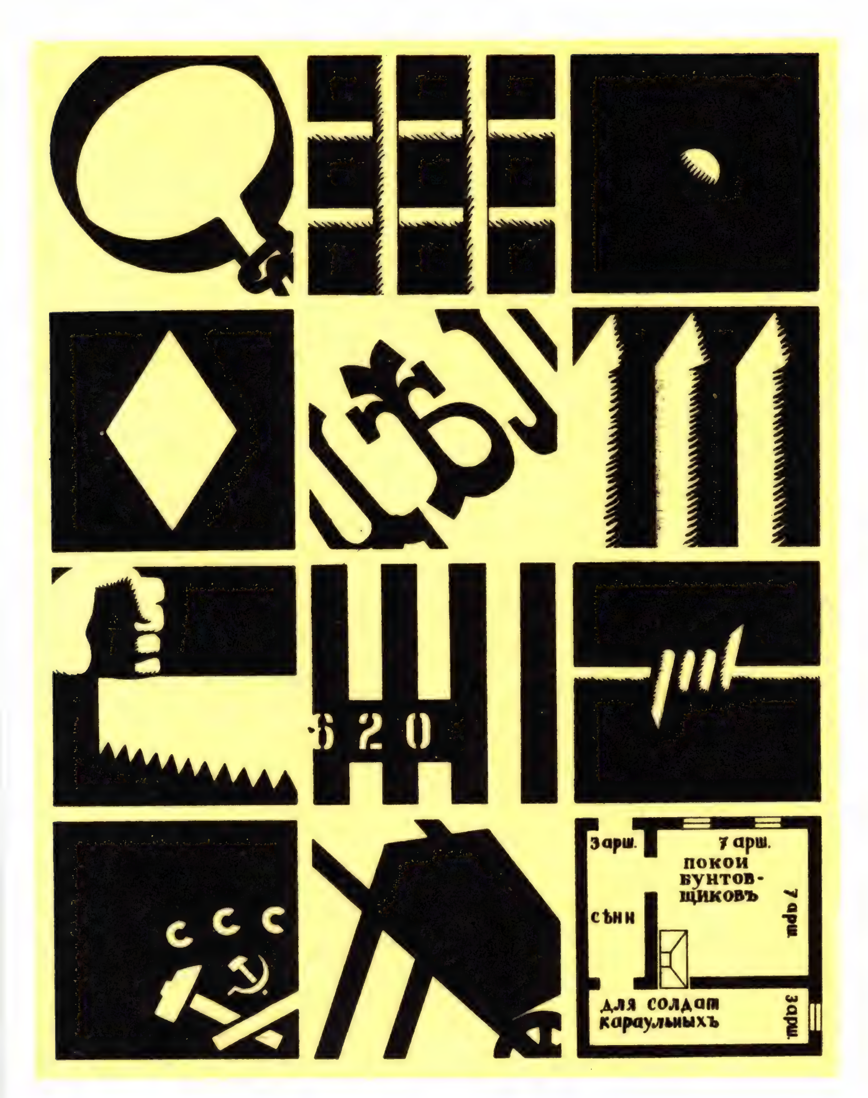
Еще о Желтухине: «Дивизионный начальник 17-й дивизии, подъехавши к 1-му батальону 34-го егерского полка, батальонному командиру сказал: «Сдери с солдат шкуру от затылка до пяток, а офицеров переверни кверху ногами — *не бойся ничего, я тебя поддержу»*. Вот законы! И майор Гимбут (который уже был под судом за жестокое обхождение с нижними чинами) в точности исполнил приказание сие».

Можно сказать, что Раевский аттестует генерала Желтухина *по-сабанеевски* почти слово в слово.

Эти строки со временем дойдут к командиру 6-го корпуса, и можем гадать, что он по этому поводу сказал и как выругался.

Меж тем гуманист Желтухин в эти месяцы, что называется, в кураже: узнав об аресте в Кишиневе Ивана Липранди (позже, впрочем, оправданного), генерал пишет одному из *своих:*

«Верно, ни одного из бунтовщиков не отправляли так снисходительно, как кишиневского, ибо по получении повеления дали ему жить три дня, каждый у него бывал с утра до вечера, хотя и находился полицейский чиновник, но в другой комнате сидел; все его люди находились при нем свободно и в дополнение всех сих послаблений писали у него в комнате при нем и бумаги по секрету, которые он, однако, не видел. Так ли



620
3 арш.
7 арш.
ПОКОИ
БУНТОВ-
ЩИКОВЪ
7 арш
сѣни
для солдат
караульныхъ
3 арш

отправляют и берутся за изменников отечества и государя?»

Жалуясь, что Липранди обвиняет его, генерала, в доносах, Желтухин утверждает: «Знаю, к чему клонится: чтобы поставить против меня сколь можно более графа (Воронцова), а через него лишить меня доверенности Ивана Васильевича Сабанеева и тем восторжествовать надо мною. Но я покоен, ибо честность и благородство всегда возьмут поверхность над подлостью, корыстью и изменой».

Меж тем Сабанеев 13 марта 1826 года пишет из Тирасполя Киселеву (тот в Петербурге): «Я болен, но в случае отъезда моего, при нынешних обстоятельствах, поручение корпуса Желтухину не могу одобрить. Человек злой, мстительный, характеру подозрительного, грубый и недальновидный».

«Нынешние обстоятельства» — это, конечно, недавнее восстание, опасно раздражать нижние чины в столь напряженные месяцы.

Сабанеев надеется, что вызванный в столицу Киселев объяснит там, наверху, что во 2-й армии все же «лучше», чем в других: тайное общество имелось и в Тульчине, и в Кишиневе, но до восстания дело не дошло (бунт Черниговского полка относился к соседней, 1-й армии). Киселев, конечно, имел в виду и это, и многое другое, что должно было спасти его от гнева нового царя: и в Тульчине так ведь и «не заметили» огромного заговора на юге!

Поговаривали, будто у Киселева чисто случайно не нашли опасных бумаг, что его покровительство Орлову, Пестелю и другим декабристам могло бы дорого обойтись, если бы не особое обаяние молодого вельможи, которое действовало и на прежнего царя и со временем сделает Киселева министром Николая I.

Разумеется, обаяние было совершенно необходимо; но сверх того, Киселев и новый царь без лишних слов понимали друг друга, когда изучали подробные доносы

на тайное общество, которым Александр I многие годы не давал хода.

Покойный император «не хотел знать».

Что могли этому противопоставить Киселев и Сабанеев, даже если бы очень хотели? А они ведь не очень хотели...

И снова, как прежде, оставалось неясным место Раевского во всех этих хитросплетениях: если все «не виноваты», то, может быть, и он невиновен?

Или — один должен явиться козлом отпущения за своих прежних начальников?

Сочиняя новые оправдательные документы в Петропавловской крепости, Раевский почти ничего не говорит о Сабанееве. Возможно, помнит о последних примирительных встречах с генералом или, что более вероятно, просто выжидает.

Однажды он вскользь напомнит о благожелательных письмах Сабанеева, который собирался ходатайствовать в Таганроге. В другой раз хитро воспользуется сравнением давнишних допросов и нынешних:

«Я не младенец. Хотя первые вопросы генерала Сабанеева могли поразить меня, ибо он причислил меня даже к скопищу убийц, учинивших возмущение. Но высочайше учрежденный Комитет предложил мне не столь жестокие вопросы, снисходительно дозволил мне обдумать ответы мои и привести на память происшествия, о коих, клянусь, забыл было я. Для чего же мне упорствовать?»

Весной 1826 года Раевскому мерещится, что, может быть, удастся «проскочить»; что на фоне огромной катастрофы и расправы с теми, кто восстал на севере и юге,— его история почти незаметна.

И тут он особенно красноречив:

«Пусть наденут на самого невинного, на самого добродетельного и богобоязненного человека тяжелые железы, заключат его в темницу, наведут мрачное подозрение

на жизнь его, впустят зрителей и услышат суд и мнение каждого о нем! Один шепотом будет рассказывать об его ужасных взглядах, верных свидетельствах отчаяния или злодеяний; другой — в движениях руки заметил навык к убийству; третий — терзание совести в улыбке его. Пусть подавят душевные и телесные силы его долговременной неволею, допустят к оправданию, и трепетный голос, доводы неясные, поникшие взоры приведут в сомнение самого снисходительного, самого кроткого, самого справедливого судью.

Таково могущество предубеждения! Так действует оно на самый светлый ум, на самую прекрасную и возвышенную душу!..

В последний раз повторяю, что я невинен!»

Снова заметим, что когда-нибудь филологи, литературоведы оценят тюремные показания декабристов с точки зрения удивительного стиля. Рядом с только что приведенным прозаическим стихотворением Раевского тогда встанут строки Пестеля:

«Имеет каждый век свою отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая ни единого государства, даже Англии и Турции, сих двух противуположностей. То же самое зрелище представляет и вся Америка. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать».

Или Бестужев-Рюмин:

«Размышляя о людях, Ваше величество должны знать, что можно не бояться смерти и, однако, смущаться от одного разговора с человеком — и не тогда даже, когда говоришь со своим государем. Может быть, в дальнейшем вы уверитесь, что отсутствие чувства мне не свойственно и что, не требуя ничего для себя, я могу быть полезным моему отечеству, для которого

Вы можете быть благодетелем, сохраняя всю свою власть...»

Оправдания Раевского отосланы в Комитет, и снова, в который раз, майора забыли. Не до него!

Ни обвинения, ни прощения.

Никак не помещается майор 32-го егерского полка в зловещую систему наказаний и оправданий, которая разворачивается рядом с ним в зимние и весенние месяцы 1826 года.

В те месяцы в соседних камерах каются, сходят с ума, разбивают головы о стены, признаются в действительных и несуществующих грехах, берут показания обратно, признаются снова...

В эти же месяцы в Михайловском Пушкин ждет решения своей судьбы — то ли освободят, то ли оставят, то ли пошлют еще дальше? На полях своих рукописей рисует, чтобы не забыть, тех, кого не надеется увидеть,— профили Кюхельбекера, Пущина, Владимира Раевского.

ОЖИДАНИЕ

Скучно Раевскому, потому что здесь, в Петербурге, конечно, не могут просочиться сквозь охрану важные вести с воли или знакомые офицеры с журналами. Комитет молчит, и Раевский после долгой паузы все же решается напомнить о себе. Повод к тому — Пасха, когда даже непрерывное следствие на день приостановило свой бег. Майор пишет сразу три письма — царю, Дибичу и Витгенштейну. Каждому напоминает о длительной, пятый год, неволе, о смерти четырех ближайших родственников; наконец, признает старинную вину, хотя и очень сдержанно:

«Обвиненный только в заблуждениях, свойственных

человеку, я взвесил тягость тех страданий, кои могли бы смирить самую лютую, железную и звериную душу. Призываю во свидетели того Бога, который читает сокровенные помыслы людей, что душа моя никогда не была вместилищем клятвопреступных тайн и замыслов...

Самая отдаленная ссылка, жизнь на диких Алеутских островах, даже самая ссылка в работы была бы мне знаком величайшей милости по сравнению с должайшей неволею, которую изведал я бедственным опытом».

Устал Раевский; да и чувствует, что есть шанс выбраться. Еще и еще раз убеждается, что ситуация изменилась; что сегодня не годится прежняя тактика нажима на власть (пусть сама доищется главной вины!). Сейчас козырь Раевского — в тех годах, что он уж отсидел и которые можно ему зачесть. К тому же надеется на заступничество Киселева, Сабанеева и, может быть, именно для того обращается к Витгенштейну:

«Ваше высокопревосходительство!

Я осмелился просить государя императора о милосердии или великодушном смягчении участи моей.

Пятый год, как я нахожусь под судом...

Если я не заслужил прощения, то одно только изменение наказания почел бы я милосердием».

Витгенштейн и Киселев, однако, помалкивают, весьма обеспокоенные собственной участью; Сабанеев же как раз в эти дни отправляется на карлсбадские воды, откуда жалуется Киселеву на смертную скуку и делится новостью, что на те же воды должен вскоре пожаловать не кто иной, как генерал Аракчеев: у Николая I он потерял всякий фавор.

Генералы за Раевского не вступятся; царь же, прочитав обращение майора, написал на нем резолюцию карандашом: «Весьма нужное, потребовать немедленно дела его, ген.-л-та Орлова и шт.-кап. Михаловского из секретного Комитета и доставить ко мне к докладу».

Связь с делом генерала Орлова нам известна; Миха-

ловский же — один из многих доносчиков на Раевского — мелькает и на большом процессе декабристов: Комитету все же придется во все это вникнуть...

Однако еще два месяца пройдет для майора без движения. Начались белые ночи, исключительно жаркое лето 1826 года.

Раевский: «В пристройке Кронверкской куртины был дом, принадлежащий бывшему коменданту Сафонову. Чуть свет я услышал необыкновенный стук вдали. Окно мое было прямо против дома. Я был в 3-м № Кронверкской куртины.

Направо от дому, шагах во 100, на крепостном укреплении стояла толпа людей. Это было часа в 4 утра. Тусклое окно мешало сначала видеть хорошо, но с рассветом я увидел очень ясно, что на валу сделана платформа, поставлено два столба и на столбах перекладина.

Вслед за тем рота Павловского гвардейского полка вошла в ворота и стала лицом к дому. Чрез несколько минут въехали двое дрожек. На одних был протопоп Казанского собора, на других пастор. Они вошли в дом. У дверей стояло 6 часовых. В этом доме находились, как все это я узнал после, Пестель (лютеранин), Сергей Апостол-Муравьев, Рылеев, Каховский и Бестужев-Рюмин.

Через полчаса из этого дома вышли один за одним 5 человек, осужденных на смерть. Они шли один после другого под конвоем с обеих сторон солдат Павловского полка».

Ему, единственному из декабристов, довелось увидеть казнь пятерых. Другие заключенные лишь слышали ночью рылеевский крик: «Прощайте!» — да Горбачевский заметил, как *их* провели, и «надобно же так случиться, что у Бестужева-Рюмина запутались кандалы, он не мог идти далее; каре Павловского полка как раз остановилось против моего окна; унтер-офицер пока распутал

ему и поправил кандалы, я, стоя на окошке, все на них глядел; ночь светлая была».

Раевский навсегда запомнит, что было дальше, и через 40 лет запишет; а еще через 90 лет эта запись обнаружится в Ленинграде:

«Все они были одеты в белых, длинных саванах. У каждого на груди была привешена черная доска с надписью: преступник такой-то. Они взошли на вал и потом на платформу. На перекладине было привязано пять веревок с петлями. Внизу стояла скамейка. Осужденные были в ножных кандалах, им очень трудно было стать на скамейку, но им помогли. Потом два человека в куртках начали накладывать петли на каждого и, когда кончили, дернули скамейку из-под ног, и — двое остались на виселице, трое упали: Апостол-Муравьев, Рылеев и Пестель. Их стащили с платформы и опять поставили на скамейку, надели петли крепче, дернули скамейку, и они остались на виселице.

Во время экзекуции приезжал корпусной начальник Воинов и другие. Через полчаса трупы сняли, сложили на телегу и увезли в ворота. Рота сделала направо и вышла — раздался новый стук. Виселицу и платформу разобрали.

Остальных осужденных вывели из каземата. Снимали с них ордена, эполеты и ломали шпаги над головами и бросали в разведенный огонь».

Все приговорены, и уж нет больше «господина полковника Пестеля», «господина капитана Якушкина», а есть казненные или отправляемые в Сибирь государственные преступники Пестель, Рылеев, Лунин, Волконский, Якушкин... Лишь Дмитрий Завалишин так заморочил голову следователям, что его дело продолжается, что он еще пока «господин лейтенант»: но скоро тоже превратится в «государственного преступника I разряда».

И *господин майор* Раевский уж порядочно надоел секретным генералам.

Его вызывают еще на один допрос, после чего составляется прелюбопытный документ:

«Вышнему начальству угодно дать обширное поле к оправданию майору Раевскому, приказав дело пересмотреть вновь наряженной Военно-судной комиссии. Приказано ему о сем объявить и спросить, надеется ли вернейшими доказательствами утвердить «Оправдание» свое, в противном же случае подвергнет себя вдвое жесточайшему наказанию».

Дежурный генерал-адъютант Потапов, Дибич и другие «судьбоносные персоны» советуют Раевскому не фордыбачить: на фоне казней, каторжных работ, ссыльных поселений майору предлагается принять старинный, 1823 года, приговор Сабанеева и взять свой тогдашний «Протест» обратно. Лучше будет...

Можно, конечно, принять. Правда, в нынешних суровых обстоятельствах из двух сабанеевских вариантов (Соловки или отставка под надзор) скорее выберут более жесткий, да еще и *прибавят;* но разве сам Раевский только что не просил отправить его из тюрьмы хоть на Алеутские острова?

Да, просил «хоть на острова» — но после «*справедливого* рассмотрения дела». Если же «взять ходы обратно», пожалуй, Сабанеев, Дибич, Потапов смеяться будут: столько лет хорохорился майор, да сдался без нового суда!

Раевский хорошо понимал, что генералы найдут, за что осудить, но для этого им придется повозиться, погрузиться в десятки томов, самим, без всякой его помощи, вынести обвинение.

За что же боролся он все годы? Конечно, пустяки, фанаберия — *достоинство;* однако сейчас сдаться — значит согласиться на «полусвободную долю», но замаранным человеком.

Зачем же тогда было писать из тюрьмы —

Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сносил,
Нигде себе не изменил.

Где наша ни пропадала! Не согласен господин майор взять обратно свой «Протест»...

Конечно, тяжело, пятый год сидит, но из этого факта возможны разные выводы.

Раевский: «Я отвечал решительно, что я выписки и приговора Сабанеева не подпишу, что чувствую себя совершенно правым, и заключил мой рапорт генерал-адъютанту Потапову, что я прошу только суда под надзором такой особы, которая не боялась бы самых близких лиц у престола».

Иначе говоря, прошу суда незаинтересованного: ведь прежде был во власти «заинтересованного» командира корпуса, а сейчас верховодит пристрастный Дибич.

Куда же сбыть надоевшего майора?

Единственным лицом в империи, не боявшимся никаких придворных, был великий князь Константин Павлович.

У КОНСТАНТИНА

В Петербурге очень обрадовались, и тут же последовало «высочайшее повеление».

Раевский, кажется, тоже радовался: опять с ним не справились; Александр оробел. Николай отступился — теперь спроваживают в Варшаву, а там, бог даст, суд милостив.

Кое-чего Раевский не знает, кое-что не разглядел, но это откроется позже.

Пока что — прощай, второй в жизни Петербург. Снова фельдъегерь, — и почтовый тракт возвращает к тем давним воспоминаниям, которые уже накопились у молодого офицера за прожитые годы. Путь из Петербурга на юго-запад — тот самый маршрут, по которому весной 1812 года ехал в полк 17-летний артиллерист; в Белоруссии же перешли на старую дорогу, по которой поручик Раевский с четырьмя пушками гнал Наполеона, — а далее Царство Польское, где вместо Парижа проходила гарнизонная служба в победные 1813 и 1814 годы.

«На дороге из Петербурга в Варшаву я встретил цесаревича, едущего на коронацию (в Москву), но он не говорил со мною, а послал только за фельдъегерем, который вез меня».

Раевского привозят в Варшаву, где местные начальники обходятся с ним довольно вежливо: «Меня посетил комендант Варшавы — генерал Левицкий, и на тот же день генерал Димитрий Димитриевич Курута, друг от детских лет цесаревича, самый кроткий, добродушный и благородный человек. При коронации он сделан графом. Весьма ласковый, учтивый разговор его мало подействовал на меня, особливо на сердце и язык. Я видел, что с теми, кого приготовляли к виселице, накануне обходились столь же почтительно, как с людьми, которые избраны к вышним должностям. Известно, что быка, которого готовят на убой, кормят и содержат лучше».

В дальнейшем — настроение улучшается:

«Поутру кофе, его подавала 15-летняя прекрасная девушка, дочь ветерана, моего стража; обед из ресторации на 4 блюда, белый и пеклеванный хлеб. Ввечеру чай и та же девушка; ужин из 3 блюд.

Приятные, сладкие темничные воспоминания. Стеклы замазаны; скамейки, стол и кровать приколочены к полу.

Воздух чистый, комната высокая и довольно пространная. Чего ж желать более или лучше для жителя тюрьмы?»

Эти восемь дней так запомнились Раевскому, может быть, именно из-за той девушки, напоминающей дочь тюремщика в «Пармской обители» (впрочем, Стендаль напишет этот роман лишь 13 лет спустя).

Не успел Раевский обжиться, назначают новое место заключения: «Опять в крепость,— подумал я,— когда это кончится?»

Крепость Замосць (Замостье) — более 200 верст от Варшавы, среди болот и осенней сырости.

В том «отсеке», куда поместили Раевского, было шесть номеров: один из них пустой, в двух помещались отставной поручик и майор в цепях, в четвертом — «артиллерийский русский офицер», посаженный ненадолго «за какие-то шалости». Наконец, еще один узник, которого Раевский никак не ожидал встретить: младший брат Григорий!

За год шлиссельбургского заключения он лишился рассудка; кажется, так и не понял, что старший брат, кого стремился увидеть несколько лет назад,— теперь рядом.

Вскоре юношу отправят домой, и там он умрет...

Итак, Раевский обживает свое пятое арестантское место (после Кишинева, Тирасполя, Петропавловской крепости и Варшавского ордонансгауза). Великий князь Константин Павлович — тот, от кого сейчас зависит ход всего дела,— задерживается в Москве на коронации.

Весьма осведомленный очевидец Александр Яковлевич Булгаков оставил любопытнейший рассказ (недавно обнаруженный ленинградской исследовательницей Л. И. Бучиной) — о том, какой спектакль разыграли в московском Кремле два брата — младший, Николай, и старший семнадцатью годами Константин.

«Произошла сцена примечательная. [К Николаю] подошел цесаревич Константин Павлович для принесения также поздравления. Государь встал поспешно с трона, кинулся к его коленам, но был им предупрежден, так что оба августейших брата были как будто на полу. Я все боялся, чтобы при сих сильных движениях тела не упала бы корона с главы государевой, но, видно, бог тут уже показать хотел, что тверда корона на его голове. Государь с цесаревичем встали и кинулись в объятия друг друга, целовались в плечо и в губы, жали взаимно руки. Нельзя было удержаться от слез. Старый воин, ганноверский министр генерал Дорнберг плакал, как дитя, многие генерал-адъютанты, не стыдясь нимало, отирали свои слезы. Казалось, что цесаревич был веселее».

Если бы можно было с помощью какой-нибудь таинственной химии проявить истинные мысли каждого из братьев...

Впрочем, и без химии сообразим.

Ироничная ненависть одного к другому. Константин годится в отцы брату Николаю; царю неуютно, он пытается найти верный тон, но старший издевательски уничижается...

Так же как несколькими месяцами раньше, когда Николай умолял приехать Константина в столицу, чтобы опровергнуть слухи, будто старшего лишили престола; Константин, однако, не пожелал, хотя его появление в Петербурге 14 декабря отняло бы у восставших важнейший повод для выхода на площадь...

Теперь, на коронацию, Константину все-таки приходится явиться, но, уезжая обратно, он доставит себе удовольствие еще одним язвительным замечанием,— что очень рад тому спокойствию, которое установилось в России после его, Константина, появления...

Второй ребенок Павла I (Николай I — девятый!), Константин, конечно, помнил о своих правах на трон,

хотя еще страшной ночью с 11 на 12 марта 1801 года, увидев изуродованный труп отца, Павла, поклялся: никогда не принимать престола, пусть Александр царствует, если ему нравится...

После того Константин, формальный наследник, в течение почти 25 лет делал очень многое, чтобы отрезать себе путь к трону. С его именем были связаны буйные, темные выходки: самоубийство, а может быть, убийство жены португальского консула госпожи Араужо после глумления и насилия Константина и его людей; смерть юного офицера Охотникова (старшего брата кишиневского приятеля Раевского): его убили, как говорила молва, за то, что он любил фактически брошенную супругу Александра I императрицу Елизавету Алексеевну и пользовался взаимностью, в то время как сам Константин был к царице весьма неравнодушен. Ссоры, издевательства Константина над своей супругой, вывезенной из Германии, в конце концов привели к первому после Петра Великого разводу в царской фамилии... Впрочем, развод ускорил женитьбу, морганатический брак Константина Павловича и польки Жаннеты Грудзинской (княгини Лович), особы нецарской крови; этот брак успокоил, умиротворил, несколько облагородил Константина, но привел в сильное волнение его царственных родственников.

Результатом всего этого, как знаем, был закон о невозможности царствовать потомкам тех великих князей, которые женятся не на коронованных особах. Закон — специально для Константина, после чего тот уж формально отрекся от престола, и в 1823 году наследником стал Николай...

Россия меж тем в течение четверти века привыкла слышать в церкви прославление государя императора Александра Павловича и наследника Константина Павловича. Репутация зверского самодура в сознании россиян постепенно оттеснялась идеализированным образом

Константина-рыцаря: все же он был участником Итальянского похода Суворова и других кампаний; к тому же — оригинал, остряк, и под стать шефу — его любимый адъютант Михаил Лунин...

В те самые дни, когда Раевский в Тираспольской крепости ловил вести из большого мира и обсуждал со знакомыми офицерами, что принесут вести из Таганрога,— в эту самую пору случилось удивительное событие, весьма мало осмысленное в истории 14 декабря, но недурно рисующее образ Константина и его окружающих. О событии этом мы знаем, в сущности, из одного надежного источника, хотя наверняка есть еще документы — в польских и других заграничных архивах.

Михаил Фонвизин, декабрист (перед арестом генерал), услышал на каторге и записал рассказ товарища по заключению:

«Мне рассказывал покойный М. С. Лунин, бывший очевидцем, следующее обстоятельство: в Варшаве, когда великий князь Константин получил известие о смерти императора Александра, он, верный своему отречению, намеревался на другой день собрать полки Литовского корпуса, гвардейские и армейские, бывшие тогда в Варшаве, чтобы привести их к присяге императору Николаю. Начальники этих войск, любимцы великого князя, никак не хотели допустить того, желая видеть его самого императором, чтобы пользоваться его милостями и благоволением. Накануне принесения присяги все эти господа собрались у больного генерала Альбрехта и приняли единогласно решительное намерение заставить все полки вместо Николая присягнуть Константину и насильно возвести его на трон. На это дал согласие и действительный тайный советник Новосильцев, который тогда заведовал высшей администрацией Царства. Но бывший в собрании русских генералов граф Красинский тайно предупредил цесаревича об этом намерении и помешал

приведению его в исполнение. Сам великий князь на другой день лично приводил к присяге Николаю I все полки. А без этого план генералов непременно бы состоялся. М. С. Лунин сам присутствовал при этом совещании».

Сотни раз царей свергали с престола, но очень нелегко отыскать в истории переворот, цель которого насильно возвести на трон (кандидат же в монархи ловко увертывается!..).

Не стал Константин царем — власть у Николая, и Лунина повезут на восток, сначала в Петербург, потом в Сибирь.

Константин предупреждал адъютанта о грозящей опасности; согласно достоверному рассказу, великий князь нарочно разрешил Лунину поохотиться в лесах у немецкой границы, надеясь, что тот ее перейдет. Однако Лунин никогда не избегал опасности и вернулся, хорошо зная, что его ожидает...

Может быть, Константин хотел его спасения, опасаясь и чрезмерного многознания своего адъютанта, его причастности к разным константиновским тайнам, в том числе к ноябрьской «неудавшейся коронации» в Варшаве. На прощание Константин сказал Лунину:

«Теперь ты пеняй на себя, Михаил Сергеевич. Я долго тебя отстаивал и давал тебе время удалиться за границу, но в Петербурге я ничем уже помочь тебе не могу!»

Лунин поблагодарил, объяснив, что бежать «было бы малодушием», и в свою очередь предостерег Константина: «А что касается до Вас, то, помяните мое слово, оттого, что Вы не хотели послушать нашего (общего с Новосильцевым и другими) совета, Вы не выберетесь подобру-поздорову из Варшавы».

Речь идет, наверное, о ноябрьском совете — взять корону...

Так или иначе, за несколько месяцев до появления Раевского в Польше Лунина из Польши увезли и будут судить в основном за «опасные слова», сказанные десять лет назад: усердие следователей удвоено желанием Николая — насолить брату Константину, показать, что и у него под носом бог знает что творилось...

Константин сначала упирался, пытался как-то помочь «своему человеку»; напоминал Николаю, что и члены царствующей фамилии между собою нередко вели весьма крамольные разговоры. Однако из Петербурга посылали разные эффектные с виду улики против Лунина (хотя тот держался с «мраморным терпением»), и в конце концов Константин был вынужден написать Николаю:

«Известия, которые Вы благоволите сообщить мне, относительно всего, что происходит у вас, меня очень живо заинтересовали, и я опомниться не могу от ужаса пред поведением Лунина. Никогда, никогда я не считал его способным на подобную жестокость, его, наделенного недюжинным умом, обладающего всем, чтобы сделаться выдающимся человеком! Очень обидно; мне жаль, что он оказался столь дурного направления.

Вообще, мы живем в век, когда нельзя ничему удивляться и когда нужно быть готовым ко всему, исключая добра...»

Покидая Варшаву, Лунин предсказывал, что, сближаясь с поляками, женившись на польке, зная хорошо польский язык, Константин не в силах исполнить свою заветную мечту и сделаться королем польским (то было бы нарушением прерогатив империи, Николая); а если так, то взрыв в Польше неизбежен, и сам Константин станет его жертвой.

Действительно, в 1830-м Варшава восстанет, и Константин, глядя, как его польские войска лихо несутся на его русских, забудется и воскликнет: «Молодцы!»

Повстанцы выпустят его из Варшавы, не тронут,— но эти события означали крах всей жизни великого князя, всех планов. Подобное состояние души располагает к болезням, и через несколько месяцев Константина унесет «приступ холеры».

Все это будет только четыре года спустя. Рассказываем же мы об этом для того, чтобы показать, на кого надеялся Раевский и с кем ему придется дело иметь...

Проходит несколько недель, и Константин Павлович входит в камеру № 1 крепости Замостье к заключенному Раевскому, а своей свите велит остаться в коридоре и двери затворить.

Раевский: «Передо мною стоял человек, который отказался от владычества Русской империи, человек, который не знал, до какой степени сильна к нему любовь простонародная и русского войска; человек, которого непостоянные, легкомысленные поляки начинали любить. Не мое дело судить, сделал бы он Россию счастливой, но знаю наверное, что он имел прекрасную душу и счастливый такт окружать себя людьми добрыми и благонамеренными...

На нем был польский конно-егерский вицмундир и никаких отличий, кроме медали 1812 года».

Идеализация Константина — черта того времени, того исторического момента. Главное для многих, что это — *не Николай.* Ведь юные Герцен и Огарев, клявшиеся на Воробьевых горах «пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу», первым делом «решились действовать в пользу цесаревича *Константина»*.

Но вернемся в камеру № 1 крепости Замостье:

«— Здравствуйте, майор! По какому случаю из Петропавловской крепости вы попали ко мне?»

Раевский быстро заговорил: трудность в том, чтобы за краткие минуты объяснить события нескольких лет:

«Не знаю почему, только цесаревич перехватил мою речь и сказал: «То есть вы просились ко мне?» — «Точно так, ваше высочество!» Хотя я не просился, но отвечать иначе — значило бы сказать во вред себе.

Цесаревич: Вы не ошиблись! Здесь четыре стены, никого нет в этой комнате, я не судья, все, что вы скажете, останется в этих стенах, но говорите правду, как отцу. Я хочу знать дело не из бумаг».

Раевский красноречив; Константин желал бы верить, хоть для того, чтобы объяснить тем, в Петербурге и других краях, что они ничего не понимают.

Когда Раевский окончил свою получасовую речь, «лицо цесаревича прояснилось, он, казалось, был доволен.

— Только-то? Справедливо ли это, майор?

— Ваше высочество, увидите мое дело и за ложь будете иметь право наказать меня.

— Если только, вам опасаться нечего! Но я вижу и знаю, что генерал Орлов во всем виноват, и его надо было повесить из первых».

Справедливость, благодушие и пристрастие — все в один миг: не любит Константин Павлович Орловых, что поделаешь! Видит в них новых карьеристов, прихвостней Николая (что, конечно, относится к брату Михаила Алексею Орлову). Но, надо признать, Константин прав в том смысле, что Михаил Орлов действительно виноват уж не меньше Раевского. Однако другие связи, другое положение...

Позже сосланные декабристы обидятся, что Михаилу Орлову почти сошло с рук давнее участие в тайных обществах. А потомки — заспорят...

Спор, где забывали, что Михаил Федорович ничего не просил, а, оставшись на воле, под надзором, вряд ли был счастливее тех, кто в Сибири: маялся, кидался от одного дела к другому. В этом состоянии его запомнил

молодой Герцен и записал в дневнике (26 марта 1842 года):

«Вчера получил весть о кончине Михайла Федоровича Орлова. Горе и пуще бездейственная косность подъедает геркулесовские силы, он, верно, прожил бы еще лет 25 при других обстоятельствах...

Возвращенный из ссылки, но непрощенный, он был в очень затруднительном положении в Москве. Снедаемый самолюбием и жаждой деятельности, он был похож на льва, сидящего в клетке и не смевшего даже рычать... Правительство смотрело на него как на закоснелого либерала и притом как на бесхарактерного человека; а либералы — как на изменника своим правилам, даже легкое наказание его, в сравнении с другими декабристами, не нравилось... Он все это чувствовал и глубоко мучился, занимался отделкой дома, стеклянным заводом, чтоб заглушить внутренний голос. Но не выдержал. С моей стороны я посылаю за ним в могилу искренний и горький вздох; несчастное существование оттого только, что случай хотел, чтоб он родился в эту эпоху и в этой стране».

Все это еще впереди, все это — другая материя.

Пока же, в Замостье, Константин явно сочувствует узнику, велит отремонтировать камеру, чтоб не текло, разрешает писать родным, соглашается: «Я все сделаю, что только законно. Ну прощайте, будьте покойны. Я вижу, что это все дело Орлова».

Встреча оканчивается следующим любопытным диалогом:

«— Позвольте, ваше высочество, просить вас еще милости.

Цесаревич: Какой?

Я: Гулять иногда в крепости!

Цесаревич: Нет, майор, этого невозможно. Когда оп-

равдаетесь, довольно будет времени погулять; а теперь пишите, оправдывайтесь, а гулять?..

Я увидел, что князь меня не понял и прибавил:

— Ваше высочество, здесь хотя хорошо, но душно, без всякого движения, я опять могу заболеть; ни бани русской, ни ванн также нет; в Петропавловской нас водили в баню, гулять в сад по очереди и на вал крепости.

— Да! Да! — подхватил цесаревич. — Вы хотите прогуливаться на воздухе для здоровья, а я думал погулять, то есть в компании. Это другое дело... Гуртиг! — закричал князь.

И комендант крепости, генерал Гуртиг (которого впоследствии повесили поляки во время революции), вошел:

— Майору позволено прогуливаться по крепости всякий день для здоровья. ходить в баню и ванны, когда пожелает, и писать к графу Куруте.

Цесаревич сказал это Гуртигу по-польски, хотя Гуртиг был немец и говорил очень хорошо по-французски. С этими словами благодетельный, простодушный этот князь вышел, сделавши мне легкий знак головою».

Раевский сначала написал «благодетельный прекрасный этот князь», но потом все-таки заменил: «Благодетельный, простодушный...»

Снова, как год назад, когда Сабанеев собирался в Таганрог, Раевскому кажется, что — вот-вот выпустят, вот-вот обойдется.

Не подозревает, что *дорого обойдется...*

Нелегко, пожалуй и невозможно, в пятой по счету крепости понять политические тонкости; догадаться, что каждый милостивый жест Константина докладывается Николаю, а тот уж постарается сделать наоборот. Не из-за особой злобы на Раевского, а чтобы опять, как в истории с Луниным, посрамить цесаревича.

В НАДЕЖДЕ...

Оканчивается 1826-й, начинается 1827-й. Шестой год заключения. Железное здоровье майора начинает отказывать, он мучается лихорадкой и цингой. Сил маловато, хотя злости и энергии еще хватает.

Большая часть декабристов уже достигла «каторжных нор», другие же в Шлиссельбурге, Выборге, Свеаборге готовятся к отправке.

Примерно тогда, когда Раевский толкует с Константином, Пушкина привозят в Москву из Михайловского и он беседует с Николаем. Близ нового, 1827 года поэт напишет и тайно отправит в Читу, «во глубину...», стихи, где будет строка — *братья меч вам отдадут*.

Долгое время в наших школах и вузах это понималось просто: вскоре победит революция, и братья, то есть единомышленники, оставшиеся на воле, освободят декабристов из Сибири и вручат им мечи для дальнейшей борьбы и полной победы их дела!

Позже, однако, специалисты (наиболее подробно — В. С. Непомнящий) заговорили о несоответствии: Пушкин в эту пору «заключает перемирие» с Николаем, несомненно, имеет определенные надежды насчет российского прогресса, начинающегося «сверху»; к тому же не только Пушкину, но самим декабристам, а также нам, умудренным потомкам, довольно ясно видно, что никакой революции в ту пору не предвидится, никаких серьезных сил, угрожающих режиму, не существует. Выходит, Пушкин имел в виду другое: скорую амнистию (на что намекал Николай во время кремлевской встречи с поэтом), восстановление гражданских, дворянских прав, символом чего и будет оружие, «меч», который будет возвращен опальным их родственниками, друзьями, равными по сословному происхождению.

Иначе говоря, может быть, Муравьевы, *которые вешают*, помирятся с теми, *которых вешают*.

Некоторые критики ополчились на Непомнящего и его единомышленников, обиделись за столь «наивного» Пушкина. Возражения эти, однако, кажутся совершенно несерьезными. В то время, когда и железный Раевский в Замостье надеялся на послабление и амнистию, Пушкин, который уже несколько лет не писал «в духе Тираспольской крепости», Пушкин надеялся еще сильнее...

Но что же получается: несколько следующих поколений, вплоть до наших дней, читали послание «В Сибирь» неверно, находили в нем то, чего не было; толковали надежду на амнистию как призыв к революции?

Да, сознательно, субъективно Пушкин хотел сказать именно то, что — братьям должно терпеть, что скоро ход событий, реформы «сверху» приведут к их освобождению. Однако, как это очень часто у них, гениев, бывает, творение глубже непосредственных авторских намерений; из глубин подсознания, поэтической интуиции поднимались пророческие флюиды и отливались в слова, совершенно вроде бы неподходящие для мечтаний о скорой амнистии: «Оковы тяжкие падут, темницы рухнут...» — вся эта фразеология взрыва, мятежа, революции (иначе бы оковы осторожно, плавно размыкались, а темницы архитектурно сохранялись для новых нужд). Выходит, поэтический язык Пушкина спорит с его собственными иллюзиями, и в этом сплаве несопоставимостей заключается особая сила послания «В Сибирь».

Раевский в польской крепости, конечно не знавший пушкинского послания, тем не менее думает и чувствует сходно: надежды, иллюзии, а в глубине — ярая твердость, несокрушимость...

В ЗАМОСТЬЕ

Константин велит одному из приближенных, генералу Дурасову, решить, и как можно быстрее, судьбу Раевского. Генерал и приставленные к нему чиновники

вынуждены совершить то, от чего недавно открестились их петербургские коллеги: погрузиться в бесчисленные тома военного следствия, суда и последующего делопроизводства, уже проездившие из Тирасполя в Тульчин, из Тульчина в Петербург, из Петербурга в Польшу. Дело как тень — за человеком...

Доносы, допросы, очные ставки, те же самые смертельно надоевшие прописи, солдатские показания, сабанеевские увещевания... Все то же. Изменилось только время.

Два, три, четыре года назад судьи и следователи читали эти тексты «по-александровски», теперь же — «по-николаевски». Прежде, в 1822—1825-м, были недомолвки: «нельзя не сознаться, но нельзя и не признаться»; если не царю «их судить», то кому же?

Теперь — все или почти все ясно. Крамолу велено отыскивать, всякое сомнение толкуется в пользу власти. Раевский, однако, знал, что делал, когда просился подальше от санкт-петербургского адского котла, где каждое лишнее слово пахло годами каторги. Польские следователи будут мягче; но все же и Константин, и его правая рука генерал Курута, и генерал Дурасов хорошо понимают, что последнее слово за Петербургом; они знают, как настроены в Зимнем дворце и что может последовать, если решится «не по-ихнему».

Итак, несколько лет назад генерал Дурасов, наверное, читал бы дело Раевского, как Сабанеев или Киселев... Однако теперь он рассматривает бумаги 1822-го сквозь 1825—1826-й. Позднейшее, ретроспективное зрение генерала вскоре приводит его к двум существенным наблюдениям.

Первое — масса противоречий, несообразностей, неточностей, допущенных в Тирасполе. Это понятно, и в общем — на руку майору.

Второе наблюдение куда опаснее, но Раевский в своих расчетах, конечно, и эту возможность имел в виду: чи-

новники Константина отыскивают в бумагах и показаниях Раевского много такой крамолы, на которую прежнее следствие или не обращало или почти не обращало внимания. Теперь, когда кругом отыскивают заговоры, тайные общества, Раевскому начинают задавать *роковые* вопросы именно про это: для начала присылают 44 пункта, на которые надо дать объяснение, потом — еще... Спрашивают, как понять резкие выступления офицера против рабства; цитируют вольные строчки из тех стихов, которые в феврале 1822-го Раевский даже не счел нужным уничтожить. Там были фразы — «Гражданства искра в нас запечатлелась»; ожидание «бури», «грозового дня».

Однако тут открывается, что стихами поэта не одолеть: он напоминает следствию, что, например, у действительного тайного советника и министра Гаврилы Романовича Державина еще и не то встречалось:

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

«*Вопрос*. Где вы нашли такой закон, что русские помещики имеют право торговать, менять, проигрывать, дарить и тиранить своих крестьян?

Ответ. Сочинитель * здесь не говорит о законе, а он именно вопрошает: *по какому праву? Откуда взят закон?*

А что помещики торгуют людьми, то в подтверж-

---

* Раевский делает вид, будто он скопировал чужую рукопись «О рабстве крестьян», а не сам ее сочинил. (*Прим. авт.*)

дение слов сочинителя я могу представить много примеров, но ограничусь несколькими: 1) Покойный отец мой купил трех человек, порознь от разных лиц и в разные времена: кучера, башмачника и лакея. 2) Помещик Гринев, сосед мой в семи верстах, порознь продавал людей на выбор из двух деревень. 3) В Тирасполе я много знаю таковых перекупов, например: доктор Лемониус купил себе девку Елену и девку Марию. Сию последнюю хотел продать палачу, не знаю, продал ли? Капитан Варгасов (холостой) купил себе девку у майора Терещенки. Лекарь Белопольский купил себе двух девок — Варвару и Стефаниду... и проч. и проч.

А в пример тиранства я могу представить одного из соседей моих по имению, помещика Тюфер-Махера, у которого крестьяне работали в железах...

Вопрос. Из прежних ответов Ваших видно, что Вы, бывши членом Союза благоденствия, отстали от оного в генваре месяце 1821 года, мнение же сие «О рабстве крестьян» Вы выписывали, стоявши на одной квартире с Охотниковым в Кишиневе 1821 года с июля месяца по февраль месяц 1822 года, то какую надобность имели Вы выписывать сие сочинение в то время, когда Вы уже не были членом оного Союза?

Ответ. Я находил замечания сии во многих местах справедливыми, живо изображенными, видел собственными глазами множество доказательств, о коих имел я честь уже донести Комиссии военного суда, то выписки сии сделал для памяти, имевши намерение в свободное время переписать, переправить, и если бы сии суждения согласовались с высочайшим желанием, то, может быть, я бы сделал новые замечания по сему предмету.

Вопрос. 1) Назовите хотя несколько таких дворян, которые завели у себя серали, 2) которые отдали в солдаты своих крестьян для наружной красоты их жен, 3) которые насильственно поступают с дочерями своих крестьян.

Ответ. 1) Курской губернии помещик Дмитрий Васильевич Дятлов содержит сераль. 2) Помещик Синельников также. 3) Помещик Щигловский также. 4) Капитан Охотников рассказывал мне о нескольких таковых помещиках Московской губернии Дмитровского уезда, имена забыл. 5) О помещике Ширкове я уже выше сего сказал.

Впрочем, на свободе я бы в один год до сотни таковых примеров с доказательствами представить мог.

Вопрос. Какие Вы имеете примеры, доказывающие, сколь вредно рабство для народа русского?

Ответ. Рабство вредно не только народу русскому, но излишнее отягощение вредно для скотов. Сколь презрительно рабство, то доказывается тем, что императрица Екатерина именным указом воспретила подписывать и в делах означать слово *раб.*

Заключительные слова найденного у Раевского «Рассуждения»: «Нет, не одно честолюбие увлекает меня на поприще деятельной жизни!»

Вопрос. Как сие заключение написано с большим энтузиазмом и доказывает, что Вы имели какие-то намерения, то признайтесь откровенно: какой патриотизм и какая таинственная сила управляла Вами?

Ответ. Комиссия военного суда уже в *другой раз* спрашивает меня, что такое, или какой *патриотизм?..* Если патриотизм есть преступление,— я преступник! Пусть члены суда подпишут мне самый ужасный приговор — я подпишу приговор. Но считать сию высокую, святую добродетель за преступление, делать вопросы, что значит сия высокая добродетель,— значит унижать не меня, но людей, которые суть алмазы для короны царской, людей, которые на сильных раменах своих подъемлют тягость правления. Это то высокое чувство, которое великие монархи внедряли в души своих подданных, та великая сила, которая вознесла на степень величия Рим и Россию. Александр не воздвигал бы мону-

мент Минину и Пожарскому, и имя Долгорукова * стояло бы наряду с именем Сущова. Вот таинственная сила, (которая) управляла мною.

Вопрос. Не только членам Комиссии, но и всякому известно, что патриотизм означает истинную любовь к отечеству, но как многие были помешаны на сей гражданской добродетели, то Комиссия, будучи уверена, что тот, кто принадлежал к тайным обществам, совсем другое мог иметь понятие о любви к отечеству и не может называться истинным патриотом, а потому и спросила Вас по Вашим же словам: какой патриотизм управлял Вами?

Ответ. Хотя принадлежал к тайному обществу, но я не нарушил нигде и ни в каком отношении присяги моей, и потому признан относительно к преступным замыслам самим высочайше учрежденным Комитетом невинным.

А тайные общества не воспрещены были верховной властию, что доказывается многими ложами вольных каменщиков (масонов). А с воспрещения, т. е. от 1822 года, я не принадлежал ни к какому тайному обществу».

Еще и еще раз новые следователи отыскивают тайный смысл в бумагах Раевского.

«*Вопрос.* Вы объявили, что письмо сие было писано к женщине. Для чего же Вы, говоря к женщине, изъяснялись сими словами: «*Я забывал вас, братия, я забывал долг мой!*»

Страсть любовная или политическая?

Ответ. Я уже сказал, что сие относилось к товарищам, к тем, которые милы сердцу моему, я забывал обязанности мои для женщины, дабы сильнее выразить, как сильна была страсть сия, для которой забывал я все на свете».

---

* Яков Долгоруков — приближенный Петра I, прославившийся смелыми разговорами с царем. (*Прим. авт.*)

В заключение неутомимый подследственный, он же адвокат, он же обвинитель своих врагов, как обычно контратакует: «1822 года февраля 6-го генерал-лейтенант Сабанеев призвал меня на свою квартиру, расспрашивая или требуя отчета на некоторые ложные доносы против меня юнкеров, разгорячась сказал мне: «*Вы преступник»*. Вместо ответа я вынул шпагу мою из портупеи и подал ему, сказавши: «Ваше превосходительство, докажите, преступник ли я!» И вот шестой год, как преступление мое доказывается...

1) По законам русским следует почитать всякое лицо невинным, пока преступление его не будет доказано. 2) Преступление доказывается чрез свидетелей или добровольное сознание. 3) Преступлением называется наглое нарушение законов.

Чем же Комиссия военного суда доказала мое *преступление?* Свидетели не были еще допрошены, добровольного признания нет. И чем *преступление* мое так велико, что запирательство может его увеличить?»

Комиссия генерала Дурасова тоже недовольна слишком длинными ответами, «диссертациями» Раевского,— но ничего поделать не может...

Наступает интереснейший момент польского расследования: люди генерала Дурасова спрашивают, как отнеслись прежние следователи и судьи к опасным стихам и рассуждениям о крестьянской свободе; спрашивал ли Сабанеев?

Майор чувствует опасность, разумеется не столько для Сабанеева, сколько для себя, и отвечает, что в Тирасполе его об этом вообще не спрашивали: во-первых, всем было известно, что он поэт, печатающийся в журналах, и хватало разных показаний и доносов сверх литературных текстов; во-вторых, надо думать, Сабанеев и его люди не нашли здесь ничего особенного.

Однако генерал Дурасов вцепился в этот пункт: снова вспомнили о списке членов тайного общества, который

случайно нашелся в бумагах Раевского и словно не был замечен Киселевым и Сабанеевым. Кроме того, по делу 1822—1823 годов кроме Раевского проходило еще несколько человек, о ком и теперь, да и тогда, было известно, что они члены тайного общества: Орлов, Непенин, даже предатель Юмин.

Сабанеев, выходит, знал, но как будто «не хотел знать»...

Положение Раевского осложняется: теперь, в Польше, обратили внимание на то, к чему прежние генералы были, по известным нам причинам, не очень внимательны.

С одной стороны, возникает простая, древняя как мир ситуация, хорошо известная виноватым и невиновным всех времен: будешь жаловаться, доискиваться правды — хуже будет, еще десяток вин найдут... С другой стороны, Дурасов явно склонен обвинить Сабанеева и других руководителей 2-й армии: могли бы открыть заговор, да не стали; вместо важнейшего дела занимались второстепенными мелочами.

Как защищаться Раевскому?

Выгораживать Сабанеева?

Но важные генералы сами себя сумеют защитить. Молчать, соблюдать правила чести по отношению к тем, кто обещал помочь и ничего не сделал: уж скоро пойдет шестой год тюрьмы?

Дело деликатное, и как ни хочется потомкам, чтобы герой был вне всяческого укора, чтобы он «парил над обстоятельствами», да в жизни, особенно в тюрьме, редко так бывает, а по правде говоря, вообще не бывает.

Вряд ли руководило Раевским чувство мести к прежнему начальству, хотя Константин, в сущности, поощрял это чувство, намекая, что Орлова спасли за счет подчиненного ему майора; хотя, начав затем «валить вину» на Сабанеева, Раевский, может быть, зашел дальше, чем предполагал с самого начала.

Так или иначе, он снова подтвердил то же, что говорил в Петербурге: да — член тайного общества, но, разумеется, раннего, отнюдь еще не готового к восстанию; как знать, если бы Сабанеев и другие (под другими подразумевался и прежний император) энергично расследовали вопрос о первых, сравнительно безобидных тайных союзах, то позднейшего возмущения могло и не быть. Сабанеев почему-то не пожелал такого расследования: вероятно, не хотел выносить сор из избы, оберегал корпус и армию от чрезмерного надзора...

За то, что было после 1821 года, я, Раевский, естественно, совершенно не отвечаю (сидел под стражей), но генералу конечно же придется отвечать: Сабанеев и другие виновны в том, что не остановили вовремя готовящегося бунта; но получается, что один скромный майор примет наказание за всех?

Уверенный (и справедливо), что после окончания большого процесса над декабристами нового, серьезного расследования промахов Сабанеева и Киселева не будет, Раевский, можно сказать, не жалел слов против старого сабанеевского суда: «Комиссия устранила от дела главного члена Общества генерал-майора Орлова, выпустила в отставку деятельного члена капитана Охотникова. Юмина слова, или донос, оказался *неважным*. За полковника Непенина сам корпусной командир *ручался* в своем мнении, что он *ничего не знает*, а я остался в подозрении, обвиняемый, вопреки всем законам и правде, во вредных правилах. Меня... лишили средств подавать жалобы по начальству, может быть, опасаясь, что не включу ли я чего об обществе, не укажу ли я вместо Вологды и Вознесенска на Тульчин.

Вот как открывают дела в пользу государя и государства!

Г-н генерал от инфантерии Сабанеев начал дело от бунта в Камчатском полку — обстоятельства важного... Продолжение состояло в подозрении генерал-майора

Орлова, Охотникова, Непенина и меня. Засим обнаружились политические подозрения. *Чем же кончилось?* Ссорою моею с полицейским чиновником Чернявским, тем, что я нюхал табак у солдата, что я сказал вместо «Здорово, ребята!» «Здравствуйте, друзья!». Не мое дело судить пространно о предмете, который уже исследован высочайше учрежденным Комитетом, не мое дело проницать в тайный ход всего оного, слишком для меня темного дела, не моему слабому уму входить в соображения и доказательства, кои были бы не по силам. Я сказал то, что я понимаю, что видел, что знаю... Но смею обратить внимание Военно-судной комиссии на течение всего дела. Был ли мне хотя один *темный* или *намеком* запрос о полковнике Непенине, о Союзе, о книге, о списке, о генерале Орлове, относительно к школе, об Охотникове, относительно подозрительных связей (кроме ничтожных писем)?»

Комиссия спрашивает про странное письмо Сабанеева, написанное 19 ноября 1825 года с обещанием ходатайствовать перед царем.

Раевский: «Письмо сие получил я 20-го числа, и я помню, что я чрезвычайно удивлялся содержанию его».

Снова повторим, что наблюдаем отнюдь не идеальную самозащиту: декабрист обвиняет старого генерала, что тот недостаточно рьяно разоблачал декабристов. Однако, если вспомним разные эпизоды большого декабристского процесса,— каких только причудливых изгибов морали и аморальности там не отыщем! Дмитрий Завалишин, когда его товарищи-моряки сломались под напором следствия и процитировали «опасные речи», которые он перед ними держал,— защищался тем, что, дескать, эти речи велись с целью открытия потаенных мнений моряков и, к сожалению, только из-за собственного ареста он, Завалишин, не успел о том вовремя донести правительству. Не очень красиво, но — объяс-

нимо жуткими тюремными обстоятельствами. Позже, однако, многие друзья не прощали Завалишину этих показаний и забывали, что все-таки реально он не выдал никого.

Совсем недавно в солиднейшем органе советской печати появилась статья, где члена Южного общества Фролова обвиняли, что он все же каялся на следствии (на самом деле не больше других!). С опозданием на полтора века рядовому декабристу, защищавшемуся, к сожалению, так же, как остальные, предъявляется совершенно несправедливое обвинение в «уникально плохом поведении».

Ах, не стоит желать автору статьи подобных же испытаний...

«РАЕВСКИЙ 5-й»

Тяжелейшие условия, немалые моральные потери.
К тому же почти во всех делах многое определяла предвзятость следователей, их склонности или антипатия. Полковник Александр Муравьев был серьезно замешан в декабристских делах, но сумел внушить личную симпатию Николаю I; в результате его выделили из числа обвиняемых примерно в тех же винах, и хотя отправили в Сибирь, но без лишения дворянства, с правом занимать административные должности.

Раевский, как видно, вызывал у длинной вереницы допрашивающих разные чувства. Мы помним, что Константин и даже Сабанеев ощущали силу, обаяние его личности; в то же время генерал Дурасов и другие чиновники, по-видимому, побаивались странного, на других непохожего офицера, не очень ему верили и в общем сами не знали, в какую сторону выгоднее склонить чашу весов очередной Фемиды.

Весной 1827 года в Варшаву, к великому князю и

генералу Куруте, отправляются свежие тома только что сшитых бумаг «о майоре Раевском 5-м».

Дурасов довольно четко представляет начальству все те же две главные мысли: во-первых, Раевского судили не за то или не совсем за то: он явно замешан в «политике»; во-вторых, Сабанеев этого не раскрыл, хотя мог. Дурасов даже осторожно намекает, не привлечь ли старого генерала? В частности, в Замостье хотели разобраться в странной истории с юнкером Сущовым, домашним человеком Сабанеева и доносчиком на Раевского. Следователи обратили внимание на то, что майор, описывая в связи с этим домашние обстоятельства Сабанеева, не упоминает о генеральше.

Пришлось Раевскому пуститься в откровенность: рассказать о необычной женитьбе командира корпуса, о воспитании детей дегенеративным доносчиком Сущовым...

В связи с Сабанеевым в следственных бумагах даже возник каламбур: Раевскому пеняли, что он в своих тетрадях назвал «правление Ивана Васильевича деспотическим», и спросили — «о каком Иване Васильевиче вы говорите?» — то ли Сабанеев, то ли Иван Грозный? Оказалось, Иван Грозный.

Сабанеев в Карлсбаде ни о чем не подозревает, лечит больную печень; Раевский же чутьем опытного заключенного очень чувствует опасность и шлет вослед уже написанному очередные сочинения (которые опять же по своему отменному стилю должны быть отнесены к хорошей русской прозе).

На этот раз, стремясь обезвредить свои старинные бунтовские речи, Раевский обращается прямо к генералу Куруте, зная, что тот покажет или расскажет Константину. Майор внушает корреспонденту, что многие фразы, которые в начале 1820-х не были крамолой, теперь таковой являются, но просит не забывать «срока давности».

Раевский: «Я перенес много. Но до сего времени

нигде не касались моей чести. Я говорил и давал ответы в том суде, где присутствовал августейший брат царский. Это четвертый суд, который судит меня. Более тысячи ответов по вопросам написал я в продолжение с лишком пяти лет моего заключения, но никто не называл меня преступником, ни бездушным рабом, нигде не требовали от меня отчета в моих знаниях, нигде патриотизм не был словом преступным, напротив, он служил оговоркою даже преступникам...

Я не имею ни адвоката, ни защитника, не отвечать на таковые вопросы была бы дерзость, отвечать *да* или *нет* — значило бы признать толк и подозрение Комиссии за справедливые, и потому при ответах моих я защищал себя, опираясь на законы, сколько мог».

Раевский пускает в ход неожиданную мысль, что если в Петербурге его не засудили,— отчего же здесь не помиловать: «Комиссии должно было быть известно, что до 500 особ вышнего сословия граждан, не включая нижнего, были под допросом, что пять человек заплатили жизнию за свои преступные предприятия, что 121 человек погибли жертвою своих замыслов и неразумия. В том числе были генералы, князья, графы, дети важнейших вельмож в империи! И неужели таковой суд был пристрастен, в особенности 32-го егерского полка к майору Раевскому?»

Если бы он оставался в столице, то, худо-бедно, приговор уже был бы, а после приговора последовала бы непременно царская конфирмация, обычно смягчающая срок; все осужденные по большому процессу уже прошли эту стадию. К тому же в Петропавловской крепости лучше кормили, здесь же и одежда вся пообносилась.

Константин обиделся: «Его императорское высочество изволил отозваться, что изволил бывать в той крепости и, зная настоящее место содержания вашего, при сравнении одного с другим, находит сие последнее гораздо лучшим, нежели в Петропавловской крепости».

Тем не менее великий князь из своих денег посылает Раевскому 500 рублей.

Странный цесаревич по-своему сочувствует. Однако не хочет лишних беспокойств, уколов и укоров из Петербурга. Он советуется с Курутой, и они решают, что дело уж слишком запутанное: там в Петербурге хотели на них свалить нечто, касающееся самых общих вопросов, то есть требующих именно царского решения; ведь из бумаг Раевского видна вина или оплошность Сабанеева, Киселева и — бери выше! А это уж «сюжет» не варшавский. Да и неясно, как офицеры-поляки (среди которых тоже немало подозреваемых) отнесутся к слишком мягкому приговору офицеру русскому; и наоборот, жестокая расправа с русским дворянином не породит ли на Висле «ложных мыслей»?

Жалко Константину Раевского, и он кое-что делает для него; но еще более великому князю жалко самого себя. Он находит, что недостаточно компетентен для суждения по делу Раевского, и 14 апреля 1827 года подписывает «доклад государю императору», то есть младшему брату Николаю.

В докладе ни одного дурного слова о Раевском: все запутано, не доказано; зато крепкие обороты о Сабанееве: «Следственное дело, произведенное над Раевским под непосредственным влиянием командира 6-го пехотного корпуса генерала от инфантерии Сабанеева, заключает в себе бесчисленные упущения, неправильности и даже противузаконности, ибо допросы отбираемы были от разных лиц вынудительно, некоторые бумаги скрыты, многих документов, к делу необходимо нужных, не имеется вовсе, а от других оторваны и утрачены листы, отчего оные суть неполны. В производстве самого следствия прилагаемо было старание к открытию обстоятельств малозначащих, а важнейшие: как оскорбление императорского величества и существование злоумышленных обществ, кои бы можно было обнаружить еще

в 1822 году и тем предупредить известные происшествия, хотя были в виду генерала Сабанеева, но оставлены им без внимания».

В который раз уж главнейшие люди империи в ужасе замирают перед обилием, многосложностью и опасностью бумаг Раевского.

Дело Раевского — Сабанеева — Киселева — Витгенштейна — Александра I; только Николай может вынести суждение о таких персонах...

То, что мы пытались проследить в ходе процесса 1821—1825 годов, та зримая и незримая логическая цепь, что соединяла Тираспольскую крепость и Зимний дворец,— все это теперь наконец понято людьми Константина: «Дабы не обременить высочайшей особы вашего императорского величества рассматриванием сего многосложного и запутанного дела, я полагал бы моим мнением: для разбора оного назначить особую Комиссию из лиц, имеющих право войти в подробное изыскание всех без исключения предметов, до кого бы оные ни относились, соображаясь притом со сведениями и обстоятельствами дела, произведенного в бывшем в С.-Петербурге над государственными преступниками Комитете».

Все без исключения предметы, «до кого бы оные ни относились»...— мы догадываемся, о каких предметах и людях идет речь!

125 лет спустя Азадовский писал Оксману, что не понимает, отчего Раевский позже, в Сибири, не раз утверждал, будто Константин «совершенно оправдывал» его: ученый считал, что великий князь мало чем помог. С этим можно поспорить. Без всякого сомнения, не каждое слово ставилось в строку: кроме уклончивого текста, отправленного в Петербург (хотя и там о вине

Раевского прямо ничего не говорится), майору через какого-то посредника, по-видимому, передали ободряющие слова Константина. Действительно, великий князь уверен, что за Раевским «прячутся» более виноватые особы: при первой встрече он говорил об Орлове, теперь — еще несколько генералов. О благоволении Константина было известно и в Петербурге, хотя бы по тем поблажкам, которыми цесаревич поощрил узника (долгая беседа в камере, 500 рублей). Так или иначе, в столице знали об уклончиво-благоприятном взгляде Константина...

И этим отчасти объясняется дальнейший неожиданный поворот событий.

Бумаги Раевского снова уходят в Петербург, а майор все ждет и ждет в крепости Замостье. К счастью, Константин просил царя и за безумного Григория Раевского: его судьба решается «благоприятно»...

Шестое тюремное лето: было четыре молдавских, одно петербургское, теперь — польское: «Сначала после личного дозволения его императорского высочества прогулок для воздуха мне дозволено было выходить в места открытые и через улицы; но вскоре все улицы названы были местами публичными, мне показаны были прогулки за сараями и конюшнями — там, где зимою снег выше колена,— вот почему во всю прошлую зиму пользовался я свежим воздухом не более шести раз...

Русская баня топилась прежде в две и в три недели раз, но по неизвестным мне причинам вот уже пять недель, как она не топится...

Ах! С благодарностию принял бы я ныне какое бы то ни было наказание, дабы спастись от заключения!»

Тем не менее Раевский чувствительно благодарит за все Куруту (в сущности, Константина); предчувствуя недоброе, просит не переводить его к другим начальникам: «Несчастье учинило меня недоверчивым. Здесь боюсь я скрывать истину, в другом месте я устрашусь говорить ее. Я должен буду обратить внимание Комис-

сии на важнейший предмет. Может быть, сильный начальник, против коего я говорить должен, имеет сильные связи».

Сильные начальники, которые могут сильно повредить,— это прежде всего Дибич и Алексей Орлов.

Либо дожидаться в Польше, либо — куда угодно, в ссылку, под надзор. Надоело!

Меж тем дело уже у них, «сильных начальников».

Составлена Комиссия из трех генералов и двух полковников во главе с генералом Левашовым, тем самым, кто полтора года назад допрашивал Раевского в Зимнем дворце.

Никак сановникам не разобраться с майором, и они пускают его «по кругу».

Наблюдать же за Комиссией приказано великому князю Михаилу Павловичу, который тоже видел Раевского на февральском допросе 1826 года и удивлялся — «зачем юнкеров учить?».

Назначение Михаила — тонкая акция. Брат Константин не сможет сказать, будто брат Николай нарочито оспорил его решение: дело в руках третьего брата, который вроде бы может вершить третейский, нейтральный суд...

Полтора месяца Комиссия Левашова читает бумаги, присланные из Варшавы, и наконец выносит решение о злополучном узнике — господи, какое уж по счету! *Петербург, 10 июля 1827 года:* «Комиссия сия, рассмотрев во всей подробности дела о майоре 32-го егерского полка Раевском 5-м и все принадлежащие к оным бумаги, нашла: хотя и подлежал бы майор Раевский 5-й, по основанию существующих узаконений, к лишению чинов, заслуженных им знаков отличия и дворянства, но, применяясь к милосердию государя императора, облегчившего жребий даже государственным преступникам противу приговора Верховного суда, Комиссия

полагает: как все преступления, в которых обличен майор Раевский, никаких важных последствий не имели, то, вменив ему, Раевскому, в наказание нахождение его под судом и арестом с лишком пять лет, отставить его от службы, с тем чтобы и впредь ни к каким делам не определять и, как вредному в обществе человеку, могущему по образу либеральных своих мыслей распространять превратные понятия, не дозволять ему выезжать из того места, которое изберет себе жительством. За будущими же поступками его иметь строгий полицейский надзор...»

Решение вроде бы для властей нормальное, естественное: офицер-дворянин сидит шестой год, сел за несколько лет до восстания, дело запутанное: в отставку и под надзор, хватит с него!

Как известно, Верховный суд по делу декабристов выносил свирепые приговоры, подразумевая, что высшая власть смягчит. И действительно, царь почти всем *смягчил:* пятерым, приговоренным к четвертованию,— виселица. Смертный приговор для 31 государственного преступника был заменен пожизненной каторгой, позже сокращенной до 20, затем 15 и 13 лет...

Раевский, кажется, вот-вот отправится в Курскую губернию, где начнет нелегкую, поднадзорную, но все же вольную жизнь; со временем спишется со старыми друзьями — может быть, с Липранди, с Пушкиным. И будет одна биография...

НО НЕ БУДЕТ...

Две зловещие возможности, две мрачные угрозы витали над левашовским решением, грозя его поворотить и уничтожить.

Во-первых, если Раевского отпустить из тюрьмы домой с чином и дворянством, то это сильный укол

главным судьям империи. Правда, сам Левашов писал, что «Комиссия не может согласиться с заключением последнего военного суда, чтобы генерал Сабанеев, Полевой аудиториат 2-й армии или Аудиториатский департамент чрез отобрание ответов от майора Раевского могли бы открыть и предупредить случившееся 14 декабря 1825 г. происшествие». В другой раз будет отмечено, что «дело майора Раевского, подозреваемого в вольнодумстве и превратном образе мыслей, не могло привлекать такового внимания в 1822 году, какое обращает оно на себя ныне, то есть после известного случившегося происшествия в 1825 году».

В самом деле, разве Николай и Михаил не знают теперь, что в руках покойного Александра I с 1821-го был довольно полный список заговорщиков, и царь ничего или почти ничего не предпринял. «Не мне их судить», так не Сабанееву же, Киселеву, Витгенштейну...

Все так — но если «все не виноваты», тогда выходит, что и осуждение нескольких сот декабристов тоже необязательно, за их вину тоже отвечает Александр I.

Собственно говоря, глубочайшие умы страны так и считали. Карамзин в 1826 году писал Николаю I: «Заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления века».

Однако карательная машина уже сработала и не могла же изменить свой ход, механизм ради какого-то майора...

Другая же угроза Раевскому уже упоминалась: Константин... Слишком сильным было желание Николая продемонстрировать старшему брату, что он «дожил до седых волос и ничего не видит».

Защита, даже весьма осторожная, некоторых узников Константином — *прикосновение* великого князя оказывается губительным для Раевского, как и для Лунина.

Теперь дело у Михаила Павловича, который, нет никаких сомнений, занимается им вместе с Дибичем;

точнее говоря, Дибич все и готовит. В общем, теперь делом Раевского заняты Николай, Михаил и Дибич. Все всем понятно — и насчет Константина, и насчет «прежней вины» Раевского, его начальников. О том, что Дибич будет прикрывать Сабанеева, уже говорилось; незримая роль Алексея Орлова, который всегда при нынешнем императоре, тоже понятна; наконец, Киселев уже пользуется довольно большим доверием нового царя...

Шумный майор, столь много знающий, столь хорошо пишущий,— им совершенно не нужен.

Плохое положение у Владимира Федосеевича на шестом году неслыханно затянувшейся шахматной партии.

ОКОНЧАНИЕ

Ровно три месяца уходит на изготовление окончательного документа — может быть, для пущей важности «время тянули»...

В длинном докладе Дибича Николаю (по мотивам представленного мнения Михаила Павловича) окончательно суммируются все страшные вины Раевского 5-го: снова на поверхности уговоры солдат — «пойдем за Днестр», разговорчики и прописи — все то, на что люди Константина даже не обращали особого внимания.

Главное же в новом докладе — образ подсудимого. Дважды, весьма неожиданно в столь неподходящем, казалось бы, месте, мелькнула едва ли не критическая оценка сатирических, юмористических способностей майора.

«В некоторых предметах Раевский хотя и не сделал прямого признания, а изворачиваясь, говорит, что рассказы его были не в том смысле, как показывают другие, некоторое же якобы говорил шутя. Но таковая шутка и еще со внушениями нижним чинам противузаконного едва ли не означает какого-либо умысла ему известного».

«— Это была шутка,— сказала она наконец,— клянусь вам! это была шутка!

— Этим нечего шутить,— возразил сердито Германн».

В докладе же Дибича, чуть ниже: «Имея либеральный образ мыслей, пользовался к распространению оного в умах подчиненных и окружающих его всяким удобным случаем. Действия начальства старался представлять в виде превратном и даже насмешливом».

Не нравится им Раевский — и все тут. Насмешник. Чувствуют заклятого врага — верно чувствуют, и тотчас превращают это чувство в такую же юридическую категорию, как и множество недосказанных или противоречивых фактов, формулировок...

За три месяца, ушедших на изготовление окончательного доклада, там наверху *переговорили...*

Мы легко догадываемся, как в непринужденной обстановке было произнесено нечто вроде: «Надоел этот мерзавец! Задурил голову всем, даже великому князю Константину; порочит Сабанеева и других наших людей».

Вообще историки вынуждены придавать, может быть, слишком большое значение тому, что написано, напечатано, в то время как главные *слова* очень и очень часто вообще не фиксируются, а в них-то пружина, первопричина.

Рукописи не гибнут, «не горят», но часто и не рождаются на свет...

Случается, даже важнейшие элементы исторических событий выпадают как «незаписанные». Так, при убийстве Павла I косвенно вычисляется существование важнейшего документа — той бумаги, которую заговорщики подсовывали захваченному императору, требовали подписи, не добились — потом документ сожгли, помалки-

вали о нем: бумага, не сыгравшая той роли, какая ей предназначалась, но явившаяся одним из значительных двигателей всего, что происходило в ночь с 11 на 12 марта 1801 года.

Раевский: «Сабанеев был друг Дибича. Орлов защищал брата своего пред государем и, конечно, выставил меня как главного виновника по влиянию моему на Орлова и представил стихи мои «К друзьям», которые ходили тогда по рукам. Об этих стихах мне был запрос уже в Сибири».

Как видим, много лет спустя Раевский узнал важные подробности: от кого и как узнал — трудно сказать, но было достаточно осведомленных людей, которые могли добыть придворную тайну (сами или через посредников) и переправить ее в Сибирь.

Послание «К друзьям» ходило в списках по России с 1822 года. Конечно, требовалось доказать, кто автор (ведь под некоторыми списками стояло имя Рылеева), но стоит ли доказывать, если у осведомленного начальства есть «верные сведения»?

Алексей Орлов, этот близкий к царю человек, действительно мог вдруг добыть стихи у брата Михаила (у того ведь, конечно, был текст со словами «Скажите от меня Орлову...»). Однако не станем обвинять без доказательств бывшего командира 16-й дивизии: всякое могло случиться. Согласимся лишь, что уж очень *к месту* подвернулись стихи...

Точно так же, заметим, полгода спустя Пушкина начнут таскать на допросы по делу о «Гавриилиаде»: одна из копий попадет в руки властей, Пушкин будет отрицать, власти, однако, не сомневались (тут их можно понять — мало кто писал столь сильно, и «по когтям» легко обнаруживался лев); в конце концов, царь спросил поэта, «как дворянин дворянина», и Пушкин приз-

нался в авторстве; правда, на всякий случай «перенес» его из 1821-го, кишиневского года, в 1818-й (петербургская юность, вольнодумство, за которое он уже понес наказание в 1820-м).

Пушкина простили, оставили в покое и... под тайным надзором, который забыли снять даже после гибели поэта (отменили в 1875-м).

Раевскому — хуже. Его спрашивают о стихах, не показывая текста.

Раевский: «Эти ли стихи или другие были в руках Бенкендорфа, потому что при запросах стихи не были приложены. Вот почему я и отвечал, что «я не знаю, какие стихи мне приписывают. Под моим именем мог писать и другой».

Меж тем в стихах ведь были строчки, которые могли произвести сильное впечатление на начальство:

Пора, мой друг, пора воззвать
Из мрака век полночной славы,
Царя-народа дух и нравы
И те священны времена,
Когда гремело наше вече
И преклоняло издалече
Князей кичливых рамена...

Стихи на столе царя, Михаила Павловича, Дибича, Левашова; стихи «предполагаемого автора».

Рядом же — груды фактов, верных, сомнительных, вымышленных, но вполне достаточных для того, чтобы «иметь мнение».

А еще — раздражающая ирония Раевского, намеки, притом весьма резонные, что очень многие начальники почти *все* знали о тайном обществе и заговоре...

Не нравится им Раевский.

И Михаил Павлович конфирмует, очевидно под дик-

товку Дибича или вместе с ним: «Майор Раевский хотя по удостоверению Комиссии и не принадлежал к составленному после 1821 года злонамеренному обществу, почему и дальнейшее об нем исследование по Комитету о государственных преступниках прекращено было, но за всем тем собственное его поведение, образ мыслей и поступки, изъясненные в рапорте Комиссии, столь важны, что он по всем существующим постановлениям подлежал бы лишению жизни, и потому насчет его находя приговор Комиссии не соответствующим обнаруженным преступлениям, его высочество полагал бы оного майора Раевского, лиша чинов, заслуженных им ордена Св. Анны 4-го класса, золотой шпаги с надписью «За храбрость», медали «В память 1812 года» и дворянского достоинства, удалить как вредного в обществе человека в Сибирь на поселение».

15 октября 1827 года Дибич подносит Николаю; царь, как обычно, пишет неразборчиво, карандашом: текст для «вечного сохранения» покрывается лаком, и рядом воспроизводится более четко рукою самого Дибича: «На подлинном написано собственною его императорского высочества рукою тако: быть по мнению его императорского высочества командующего Гвардейским корпусом. *Николай*. Санкт-Петербург. 15 октября 1827-го».

Вот и все. После шести лет тюрем, после разных вариантов приговора, где была и смертная казнь, и Соловки, и высылка под надзор, — вот так все решилось.

Отнять дворянство, чины, ордена, и в Сибирь, «как вредного в обществе человека».

Спасибо хоть не в каторгу: тюрьму засчитали, и поэтому — сразу на поселение.

Вскоре «Московские ведомости» опубликуют приговор для всеобщего сведения, и прочтут родные в Курской

губернии, друзья на воле, друзья в Сибири; прочтут Киселев, Сабанеев, Михаил Орлов, Пушкин...

Раевский: «В ноябре месяце (1827 года), числа не упомню, вошел ко мне в каземат плац-майор Краснодембский и попросил меня одеться. За ним вслед вошел лейб-казачий пятидесятник Семенцов.

Я оделся и вышел вместе с плац-майором. На площади выстроен был против ордонанс-гауза в каре или, вернее, в три фаса польский полк, содержавший караул в крепости Замосцье. Меня вывели на средину. Тут находился весь штат крепостного начальства».

Прочитали приговор...

«Шпаги надо мной не ломали. Но эполеты я отстегнул сам и бросил на землю, скинул военный сюртук, и вестовой подал мне черный гражданский сюртук, который я приказал взять с собою, потому что предвидел по намекам о предстоящей перемене моего значения. Чтение этой безбожно несправедливой конфирмации я выслушал с внутренним удовольствием. Мне уже тяжело было жить в заточении. Затем за плац-майором я должен был следовать в ордонанс-гауз. Я вошел туда *новым* человеком...

Меня там дожидался уже лейб-казачий пятидесятник Семенцов. Тройка лошадей была готова, вещи мои уложены, и в исходе ноября я сел, и лошади помчали нас — куда? В Сибирь».

ГОСПОДИН ПРЕСТУПНИК

Пушкин недавно на свободе и постепенно заводит переписку со многими товарищами «молдавских лет»:

«Милый мой, ты возвратил меня Бессарабии! я опять в своих развалинах — в моей темной комнате, перед ре-

шетчатым окном... Опять рейнвейн, опять шампань, и Пущин, и Варфоломей, и всё...

Липранди обнимаю дружески, жалею, что в разные времена съездили мы на счет казенный и не соткнулись где-нибудь».

«На счет казенный» Пушкин и Липранди *съездили* — но теперь на свободе, могут ездить и за свои деньги. Общий же их приятель-майор все странствует бесправно по российским и польским трактам.

Где друзья минувших лет,
Где гусары коренные?

Сосланы, в отставке.

Генерал Киселев уцелел, идет вверх —быть ему министром, по приказу царя разрабатывать проекты освобождения крестьян и класть их под сукно; прожить много-много лет разумным деятелем, пытавшимся и в николаевские годы что-то сделать, но без особого успеха.

Генерал от инфантерии Сабанеев: он, как и все *заинтересованные лица*, со временем узнает об окончательном приговоре Раевскому и, наверное, крякнет, вздохнет, чертыхнется, обрадуется, — да и не обрадуется. Вскоре заболеет, сдаст корпус — и в Дрезден, спасать здоровье...

Владимир Федосеевич Раевский же ехал на восток, и можно даже сказать, ехал хорошо; лучше едва ли не всех сотоварищей по декабристским делам. А уж с поэтом-праправнуком не сравнить.

Во-первых, напомним, шпаги над ним не ломали.

Во-вторых, дорога вот как началась (это Раевский запишет через много лет): «Лошади были готовы, на дворе было холодно. На мне была ватная шинель, которая в такие морозы согревать не могла. Купить шубы негде было, да и некогда. Много столпилось народу око-

ло моей повозки. «Постойте! Подождите!» — закричал гарнизонный артиллерийский русский офицер. «Что такое?» — спросил я. «Сейчас, сейчас!» — и он побежал во всю мочь. «Подождем»,— сказал я пятидесятнику Семенцову. Минут через пять этот бедный офицер тащил в руках волчью шубу. «Вам будет холодно в одной шинели», — проговорил он, запыхавшись, и бросил шубу в повозку. «Ваша фамилия?» — спросил я. «Подпоручик *Коняев*». Я встал с повозки, обнял его, и невольные слезы выступили у меня. Коняев, Коняев... долго твердил я дорогой... Он вовсе меня не знал...

На станциях и дорогою пятидесятник Семенцов, кроме весьма учтивого обращения и заботливости обо мне, называл меня — ваше высокоблагородие. Я, смеясь, спросил его, почему он так титулует меня, когда я уже не майор, а ссыльный? «Его высочество (Константин Павлович) призывал меня и сам лично приказал так называть вас». Даже и в этом было видно соучастие великого князя ко мне. Семенцова не мог я уговорить садиться при мне; он ухаживал за мною, как лично мне подчиненный... В Смоленске губернатором был Храповицкий. Он послал за полицмейстером и сдал ему меня: «Господин преступник до отправки пробудет у вас». При слове «господин преступник» я улыбнулся. Губернатор заметил это и сказал: «Извините, так сказано в подорожной».

По старой смоленской дороге на восток, как с отступающей армией 1812 года.

Затем — Москва, где так давно не был, где прошло детство, университетский пансион. Но и Москва милостива: добрый смотритель тюремного замка приглашает напиться чаю и рассказывает удивительнейшие вещи: оказывается, именно он был в числе караульных у спальни Павла I в ту роковую ночь 1801 года: заговорщики зажали юнкеру рот, вывели вон и затем отпра-

вили в дальний гарнизон. Восемь лет спустя молодой человек случайно оказался на пути Александра I, умолил выслушать наедине (не стал говорить даже при верном князе Волконском). «Царь очень был смущен и спросил меня, знают ли другие это дело? Я отвечал, что до сих пор я никому не говорил, и никто не знает, за что я прислан сюда. Наконец государь сказал: «Хорошо, я справлюсь, а ты ступай и молчи».

Все, что было связано с убийством отца, мы знаем, мучило Александра, он искал любого случая, чтобы хоть как-то замолить грех. Рассказ тюремного смотрителя заключенному Раевскому имел счастливый финал: «Через месяц в приказе было объявлено: унтер-офицер производится за отличие в прапорщики, потом в подпоручики, поручики, наконец, в штабс-капитаны с назначением смотрителем в тюремный замок в Москву и с двойным жалованьем — и все это в полтора года. И вот я теперь совершенно покоен, несмотря что хлопот довольно».

Но вот и Москва позади: «Во *Владимире* был губернатором Курута, племянник Димитрия Димитриевича, известного любимца и друга цесаревича Константина Павловича. Неизвестно, почему он назначил еще конвойного солдата и с ружьем. Я удивился. Но чиновник его канцелярии сказал мне, что тут бывают по дороге разбои и губернатор опасается, чтобы не было нападения на нас. Я смеялся».

Пройдет несколько лет, и этот же губернатор добродушно примет назначенного к нему под надзор Александра Герцена; даже прикажет ему редактировать «Владимирские губернские ведомости».

Как любопытно пересекаются судьбы: Герцен не познакомится с Раевским, но окажется в одном из городов по *Владимирке*, сибирскому тракту; Раевский поедет, доброжелательно вспоминая о Константине в то самое время, когда Герцен и Огарев еще клянутся именем

великого князя; пройдут десятилетия, и Герцен в Лондоне напечатает Раевского и о Раевском, не зная точно, жив ли этот декабрист в дебрях Восточной Сибири.

Нижний Новгород, затем Пермь; здесь ссыльные пути Раевского и Герцена расходятся: декабристу на восток, Герцену — на северо-запад, в Вятку. И снова у них один «надзирающий хозяин», да какой!

Много лет спустя Раевский вспомнит: «Мы приехали в *Пермь.* Губернатором был известный Тюфяев, который из низкого сословия, без всякого образования добился губернаторского места»: слова «известный Тюфяев», скорее всего, подразумевали, что Тюфяев прославился именно как «герой» герценовских «Былого и дум», воспоминаний, написанных и напечатанных в Лондоне и затем проникших в разные края России. Впрочем, Раевский имел и собственные сведения, ибо сделал к своим запискам (а также заочно к герценовским) весьма колоритное примечание: «Смерть его (Тюфяева) была оригинальна. Чтоб прекратить свою длительную и позорную жизнь, он ангажировал пять камелий, сам разделся и им приказал — и в несколько дней так истощил себя, что умер от удара».

Но все это остается позади, в Европе.

Раевский: «Наконец мы проехали грань: Уральские горы... Геркулесовские столбы. Я в Сибири!..

— Ты, верно, из тех же, что провозили?

— Да.

— Чудо! Давно, давно таких оказий не бывало. А можно спросить, за какую провинность?

— Трудно объяснить.

— Понимаем, понимаем, то есть оно... того...»

И опять «удачная дорога»: в Тобольске 40-градусные морозы, Раевский говорит, что болен, к нему является

лекарь Попов, отца которого в свое время подкармливал и ободрял Феодосий Михайлович Раевский, отец нашего героя.

Понятно, медицинское свидетельство изготовлено, и три недели Раевский пережидает морозы на квартире доброго доктора.

И опять, и опять — о праправнуке Анатолии Жигулине, проходящем эти же *уроки географии* ровно через 123 года:

«Два дня я был на Краснопресненской пересылке. Через решетки-жалюзи была видна Москва. Потом я долго ехал через Россию и Сибирь с остановками в Свердловской и Новосибирской пересыльных тюрьмах. В столыпинских вагонах того времени окна были с одной стороны — со стороны коридора. В купе было только очень маленькое окошечко с двумя крепкими решетками — снаружи и внутри. Размером примерно 15 на 20 сантиметров. Заключенных в купе было по 20 и более человек. И все-таки можно было дышать. А когда набивали по 30—40 человек и не выводили на оправку (в туалеты, на современном языке), было смертельно тяжело. Люди и мочились, и испражнялись, не выходя из «купе».

Эта дорога — только присказка. А сказка, сказка будет впереди».

Переведя дух, пускается на восток и прапрадед: Тобольск — примерно лишь полпути.

Раевский: «Губернатор прислал ко мне казачьего пятидесятника, который явился ко мне на квартиру со словами: «Имею честь явиться для следования с Вами». Я засмеялся еще более, когда он данные ему бумаги стал подавать мне. «Эти бумаги должны быть у тебя, — сказал я ему, — и ты везешь меня в Томск». — «Слушаюсь». — «Вот, — подумал я, — нового рода отправка». Попов распорядился приготовить мне на дорогу *пельменей.* Уложили полмешка и поставили штоф вина на

случай сильных морозов, хотя я водки не пил, но на «случай». Он вместе с ветеринаром Стегачевым провожал меня до первой деревни. Тут мы простились. «Мы рассчитываемся с вами за дружеские отношения наших отцов»,— сказал я, обнимая его, у обоих нас выступили слезы.

Станции три я был очень встревожен и печален. Я припомнил мой дом, моего отца, мою боевую жизнь в 1812 году, мою цель — и вот на тройке с казаком еду по снежной сибирской дороге».

Томск: снова чудеса. Губернатор Соколовский принимает хорошо, а еще лучше губернаторский сын Владимир, который отозвал Раевского в сторону и вынул письмо: «Я тотчас узнал почерк Г. С. Батенькова, моего товарища и друга. В 1824 году он писал к нему: «Может быть, известный тебе В. Ф. Раевский будет проезжать чрез Томск, поручаю и прошу тебя снабдить его деньгами и всем, что для него нужно, а я рассчитаюсь с тобою и проч. и проч.». «Все изменилось, — сказал я. — Этот любимец и сотрудник Сперанского и самый близкий и доверенный человек при Аракчееве так же, как и я, посажен в крепость и, может, проедет здесь».

Немыслимое совпадение — и совершенно обыкновенное.

Батеньков — в Алексеевском равелине Петропавловской крепости: до сих пор спорят, отчего его на долгие годы оставили в тюрьме, а не отправили в Сибирь, как других декабристов; то ли потому, что Батеньков сибиряк, и власти опасались его сибирских связей; то ли из-за давней близости к Сперанскому, которого ведь декабристы прочили в свое временное правительство. Николай I Сперанского простил, даже повысил,— но Батеньков слишком много знает...

Однако удивительное пересечение времен на том не кончается: только что говорили о Герцене, а ведь юный

Владимир Соколовский несколько лет спустя напишет опаснейшие политические стихи, из-за которых попадет в крепость и там сгинет; дело же, начавшееся этими стихами, захватит еще многих лиц, и в их числе Огарева, Герцена...

Но дорога идет на восток.

Еще и еще тысячи верст. Раевского сначала хотят отправить за Байкал, чего он совсем не хочет, — но опять фортуна вывозит: с дороги отправлены три письма в Варшаву, генералу Куруте и Константину Павловичу, в конце концов дальше Иркутска не послали и вскоре назначили место, где Раевскому жить и умереть: село Олонки Идинской волости Иркутской губернии.

Государственный крестьянин Владимир Федосеев сын Раевский: курское поместье, Бородино, шпага за храбрость, четыре пушки, майор, кишиневские похождения, Пушкин, солдатская и юнкерская школа, гордое единоборство чуть ли не со всеми российскими начальниками...

А теперь *Государственный преступник, находящийся на поселении...*

Об этом *почетном титуле* несколько позже выскажется другой «крестник Константина» — Михаил Лунин: «В тюремном заключении и в ссылке несколько раз переменялось мое название и с каждым изменением становилось длиннее. Теперь в официальных бумагах называют меня: государственный преступник, находящийся на поселении. Целая фраза возле моего имени. В Англии сказали бы: Лунин, член оппозиции».

А генерал Сабанеев как раз в ту пору, когда Раевский начал крестьянствовать, вдруг решил на пятьдесят восьмом году жизни помереть.

Остался портрет в военной галерее 1812 года, рядом со старым приятелем-начальником Багратионом, рядом

с Николаем Николаевичем Раевским (умершим в том же 1829-м), рядом с Ермоловым, Денисом Давыдовым; правда, с той же стены убрали портрет генерал-майора Волконского, который с 1826 года в забайкальской каторге: одна дочь генерала Раевского пошла за ним в Сибирь, другая — за Михаилом Орловым, который помилован безвыездным житьем в деревне под надзором (старик-отец жизненные силы подорвал огорчениями).

На закате дней Сабанеева не часто радуют успехи старых друзей: Ермолов в опале; в дивизиях, корпусах новые люди, о которых тот же Ермолов заметит, что Николай I никогда не ошибался — всегда сажал на высокую должность самого неспособного. Вроде бы в почете Денис Давыдов, но *неуставной* внешний вид, громкий голос, откровенная речь вызывают у царя желание отправить его куда-нибудь подальше, вместе со стихами и прозою, которые постоянно подрезает цензура. Сам Денис удивлялся за себя и себе подобных: генералы — отнюдь не революционеры, не бунтовщики, но не пользуются кредитом у новой власти. Почему же?

Сабанеев из таких же: «...суворовской службы, имел много благородного, если действовал с сильными. Знал военное дело, читал много, писал отлично хорошо; заботился не о декорациях, а о точных пользах солдат... сам в подозрении у правительства».

Генерал от инфантерии, герой восьми кампаний — но пусть спасибо скажет, что Николай I не доискивается, отчего генерал, воюя несколько лет с Раевским, так и не победил, не обнаружил «главных сил» противника? Сверх того, донесения об остром языке суворовского служаки, о презрении его к тем, кто лупцует солдат, да и семейные обстоятельства не совсем отвечают правилам официальной нравственности.

Сохранилось дело по секретной части дежурного генерала Главного штаба — последний диалог старого сол-

дата с властями. Тяжело больной Сабанеев обращается через Бенкендорфа к царю — с просьбой «на усыновление детей жены его, от прежнего мужа рожденных, с предоставлением им фамилии Сабанеевых и права наследия». Для Николая была составлена особая справка, где сообщалось, что Пульхерия Яковлевна, урожденная Боряцкая, «прежде того была в замужестве за штаб-лекарем Шиповским, с коим не имеет разводной и от коего, впрочем, никакого иску по сему предмету не было; со времени (ухода к Сабанееву) протекло более 11 лет».

Николай I не разрешил Сабанееву «узаконить детей» и предложил, чтобы генерал сделал в их пользу «подарочный акт» на родовое имение. Сабанеев, однако, возмутился и ответил достойно, что «никак не может решиться нанести бесчестье жене своей, с коею живет более 11 лет, признав ее таковым актом незаконною женою».

Верно говорил Раевский о своем враге, что особенно хорош тот был при столкновениях с *сильными*: участник войн с Турцией, Польшей, Швецией, походов в Италию и Швейцарию, герой 1807-го и 1812-го готов сразиться за любимую женщину, вопреки всем правилам и обычаям империи.

Однако дни сочтены, и дежурному генералу вскоре отправляется письмо из Дрездена, где сообщается о кончине Ивана Сабанеева 25 августа (6 сентября) 1829 года. Послание подписала *Пульхерия Сабанеева*.

Вдова просила списать казенные долги покойного, 1200 червонцев, и надеялась на пенсию, четыре тысячи рублей в год. В Петербурге спросили мнение старого сабанеевского приятеля и прежнего начальника генерала Закревского, а тот вдруг предложил нечто щедро-оскорбительное: Пульхерии Яковлевне выдать единовременно восемьдесят тысяч рублей, а пенсии не назначать, ибо «в последнем случае должна бы она быть признана законною женою».

Иван Васильевич, если б узнал, рыкнул бы, захрипел, затопал ногами, мог бы и картель послать...

Сабанеева, однако, нет, царь Николай не хочет умножать недовольных — и вдруг, в виде исключения, назначает Пульхерии Яковлевне четыре тысячи.

Жена, пусть гражданская; дети, хоть и не свои, — их судьбы и следы теряются в позднейших десятилетиях российской истории, к сожалению, вместе с бумагами, вместе с архивом генерала.

Ничего не сумели сохранить и племянники, а также внучатые племянники Ивана Васильевича, причастные к культуре и словесности (труды одного из них, Леонида Сабанеева, известны сегодня тысячам любителей природы, охоты и рыбной ловли: замечательные, до сих пор непревзойденные книги «Охота в России», «Рыбы России»).

Генерала нет, и майора нет, хоть он и есть. Остальное — дело историческое.

ЭПИЛОГ

Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна...

Тому же, кто *задержался* на празднике жизни,— нет блаженства.

Один из самых увлекающих и в то же время бесполезных споров — что стало бы с историческим деятелем, если бы — прожил много дольше, посетил другие времена.

10 февраля 1925 года, в 88-ю годовщину смерти Пушкина, на его последней квартире (Мойка, 12) сошлось немало людей. Знаменитый литературовед академик Нестор Котляревский, тяжелобольной (осталось жить три месяца), собрался с силами и прочитал странный доклад: «Чем бы стал Пушкин, если бы не погиб в 1837 году, а продолжал жить хотя бы до конца царствования Николая I и до 1860-х годов?»

Академик, как всегда бывает в подобных случаях, невольно наделил великого поэта некоторыми своими чувствами и настроениями; в докладе говорилось о том, «как тяжело жилось бы Пушкину и какие ожидали бы его душевные драмы!». Котляревский воображал Пушкина «в звании камергера, со звездой Анны I-й степени», который должен был бы лечь «между молотом все более и более недоверчивой и суровой власти и наковальней созревающего общественного мнения»; конечно,

поэт «взволнованно радовался бы реформе 1861 года, но вскоре разглядел бы на горизонте грозовые тучи». Наконец, Пушкин нелегко перенес бы «отрицание его поэзии молодыми людьми, уверенными в том, что все истины в их кулаке зажаты».

Котляревский находил, что все же хорошо для Пушкина всего этого не знать...

Академику горячо возражал один из героев нашего повествования — Павел Елисеевич Щеголев: «Пушкин пришел бы к революционно-демократической идеологии в духе Белинского и его последователей».

Вот как спорили о Пушкине в 1925-м.

Что было бы, если бы...

Что было.

Ученый и писатель Владислав Михайлович Глинка опубликовал ряд интереснейших работ о российской военной истории, в частности об Эрмитажной галерее 1812 года.

Однажды в своей ленинградской квартире он разложил рядом фотографии той галереи и портреты генералов более поздних, николаевских, среди которых были и персонажи 1812 года, но только сильно постаревшие.

Герои Военной галереи, победители Наполеона, глядели лихо, дерзко — каждый неповторим: у одного ус закручен, у другого — своевольные бакенбарды, третий весел и задорен, четвертый угрюм и курнос...

Свободные, самостоятельные, яркие личности.

Николаевские же генералы — все почти на одно лицо: единообразный зачес, тусклый взгляд, готовность к беспрекословному исполнению. Положим, в жизни было и не совсем так, но любопытно, что художники знали — какова официальная мода...

Вздрогнув перед николаевскими генералами, вернемся в Военную галерею.

Приглядимся к старинным знакомым, участникам нашего рассказа — более всего, конечно, к Сабанееву.

Лицо непочтительное; «слуга царю», но обязательно (если только не в ярости) — «отец солдатам»; готов искоренять непорядок, но не желает *вынюхивать* заговор; непокорного майора арестует и готов съездить в Таганрог — «хриплым голосом» за него просить...

Вряд ли ужился бы с Николаем, даже получив награды, повышения: все равно — не свой, не Желтухин, не Бенкендорф. Не нравится ему «учебный шаг, хорошая стойка, быстрый взор, ружейная скобка против рта, параллельность шеренг, неподвижность».

«Нам, русским, хлеба не надо: мы друг друга едим и тем сыты бываем».

Владимир Раевский и Иван Сабанеев вместе разбили Наполеона; а 40 лет спустя, в Крымской войне, Наполеон III и его союзники возьмут верх из-за отсутствия в армии офицера Раевского и генерала Сабанеева.

Нужно ли доказывать, что это метафора; что Раевскому к началу войны — около шестидесяти, а Сабанееву было бы за восемьдесят? Однако смысл метафоры ощущали многие современники, если один из них, отнюдь не самый либеральный, утверждал, что «граф Бестужев никогда бы не отдал Севастополя» (то есть декабрист-моряк Николай Бестужев, если б не сидел в Сибири, то непременно вышел бы в адмиралы, в графы и сражался бы как следует вместе с другими Бестужевыми, Муравьевыми, Раевскими). Недаром Москва 1850-х годов с пылким энтузиазмом выбрала вождем объявленного ополчения 80-летнего Ермолова: понятно, это был прежде всего акт оппозиции, недоверия к николаевским генералам...

Но разве не было истинных храбрецов в Севастополе?

Разумеется, были, и, наверное, не меньше, чем в прежние времена. Однако мало быть храбрым, необходимо быть свободным, способным, инициативным. На одного Нахимова, Корнилова, Истомина приходились десятки военных «николаевского разлива» с одинаковыми тусклыми выражениями лица: многие из них умели умереть, но куда хуже умели побеждать. Поэтому нахимовым было в 10—20 раз труднее, чем их отцам. Старшие действовали в 1812-м среди большого числа себе подобных, в Севастополе же требовался неслыханный подвиг — одному тянуть за десятки.

Николай I, убрав из армии раевских и сабанеевых, за их грамотность, за характер, внешний вид, выражение глаз, — этот царь постепенно плодил лишних людей, ту общественную категорию, которая была почти совсем неизвестна до 1830-х годов.

Прежде — не было лишних, все были «при деле», били французов и турок, строили крепости, прокладывали дороги, писали книги, продвигали науку.

Денис Давыдов (один из сабанеевых), умирая в 1839 году, пророчествовал, что изгнание со службы способных людей добром не кончится, и сказал, что за все расплатится Россия, сотни тысяч ни в чем не виноватых...

Трагедия Раевского была бы не столь сильна, если б губили его только Аракчеев и ему подобные; куда страшнее и печальнее, что тут постарались и Сабанеев, и Киселев, и Александр I.

Одни далеко не худшие люди съедают других — «хлеба не надо...».

Владимир Федосеевич Раевский, «первый декабрист», — человек феноменальной энергии, оптимизма, мужества. Однако, при всем огромном уважении к этим качествам, автор книги не стал бы писать еще одну биог-

рафию, удлиняя и без того немалый список печатных работ о «тираспольском узнике».

Сегодня, в конце XX столетия, для нас, для многих, Раевский прежде всего — участник *главного разговора.*

О будущем страны; о российском счастье и его цене.

Прислушиваясь к молдавскому диалогу двух поэтов — «Оставь другим певцам любовь» и «Это не в моем духе, в духе крепости...»; наблюдая, как Сабанеев съедает Раевского, а потом готов просить за него царя, — но поздно...; читая тягостное, безнадежное — «Как истукан немой народ...», после чего вдруг несокрушимая уверенность, что «Воспрянет он...», — присутствуя при всем этом, мы легко находим массу российских продолжений, аналогий.

Революционеры, идущие на восстание, глядят как на врагов, в лучшем случае жалеют, презирают сторонников «малых дел»: мы хотим освободить всех сразу и быстро — они же отдают способности строительству заводов, плотин, железных дорог; мы, бунтовщики, знаем, кто друг и где враг, кто эксплуататор и кто эксплуатируется, — у тех же, кто решительно не верит «кровавой цене» прогресса, — у них, *просветителей*, вроде бы обе стороны равны, и вот что порою пишется о заговоре, революции:

Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

(Пушкин)

Смеясь, урча и хохоча,
Тварь восстает на палача.

(Хлебников)

В комиссарах дух самодержавья,
Пламя революции в царях.

(Волошин)

Вспоминается, к слову, история о трех братьях, российских разночинцах, родившихся в 1880-х годах.

Старший — весьма опытный дореволюционный подпольщик, красный командир гражданской войны, один из решительных лидеров индустриализации, коллективизации, — гибнет в 1937-м.

Младший, близкий старшему своими способностями, темпераментом, энергией, сражается за белых, отступает из Крыма, спивается, голодает, умирает то ли в Париже, то ли в Харбине.

Средний же брат — делец, спекулянт, циник (впрочем, только через него кое-какие вести от младшего приходили к старшему и обратно); говорили, что в 1937-м нарочно попался на спекуляции, чтобы просидеть несколько лет по уголовной статье, выйти, уцелеть. Обоих братьев пережил на десятилетия, умер сравнительно недавно...

Еще и еще подобные примеры: в конце 1930-х в камере Казанской тюрьмы эсерка спрашивает разрешения у своих «старших», можно ли принять что-либо от коммунистки: «старшие» запрещают... Председатель ВЦИКа Свердлов и его родной брат, офицер (потом генерал) французской армии Зиновий Пешков, знать не желают друг друга.

Спите себе, братцы, — все начнется вновь,
все должно в природе повториться:
и слова, и пули, и любовь, и кровь...
Времени не будет помириться.

(Окуджава)

Грустно.

Есть ли хоть какой-то просвет в этом «раевско-сабанеевском» тупике?

Есть, клянемся, что есть!

Он заключается в том, что обе враждующие, друг

друга не слышащие стороны — все же не безразличны, не равнодушны, не стары смолоду, но молоды и в дряхлости.

Этого, конечно, довольно мало для оптимизма и энтузиазма, — но все же, все же...

И как тут не вспомнить Андрея Платонова, завершая наше повествование его недавно опубликованной строкой:

«Отчего так хорошо на свете, когда ничего тут нету хорошего и все дела известны?»

Эйдельман Н. Я.

Э30 Первый декабрист: Повесть о необыкновенной жизни и посмертной судьбе Владимира Раевского.— М.: Политиздат, 1990.— 399 с.: ил.

ISBN 5—250—00837—2

Э $\frac{0503020300-263}{079(02)-90}$ 148—90 **ББК 84Р7 + 63.3(2)47**

НАТАН ЯКОВЛЕВИЧ ЭЙДЕЛЬМАН

ПЕРВЫЙ ДЕКАБРИСТ

ПОВЕСТЬ О НЕОБЫКНОВЕННОЙ ЖИЗНИ И ПОСМЕРТНОЙ СУДЬБЕ ВЛАДИМИРА РАЕВСКОГО

Заведующий редакцией *В. Е. Вучетич*

Редактор *А. П. Пастухова*

Младший редактор *И. А. Ляпина*

Художник *А. Д. Бегак*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Е. Ю. Куликова*

ИБ № 5174

Сдано в набор 06.04.90. Подписано в печать 10.08.90.
Формат 70×108 1/32. Бумага офсетная книжно-журнальная.
Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 18,11. Усл. кр.-отт. 19,08. Уч. изд. л. 18,01.
Тираж 200 тыс. экз. Заказ № 126. Цена 1 р. 30 к.

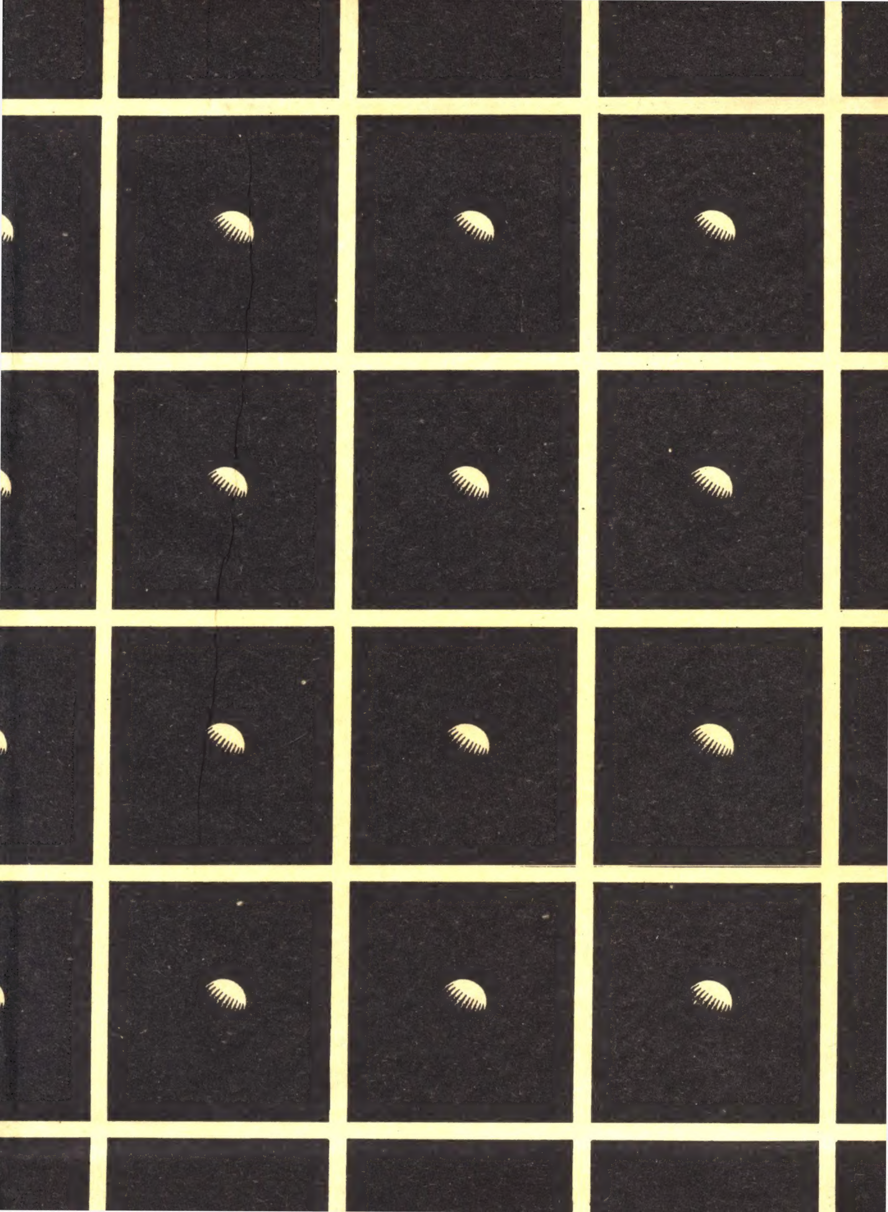
Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

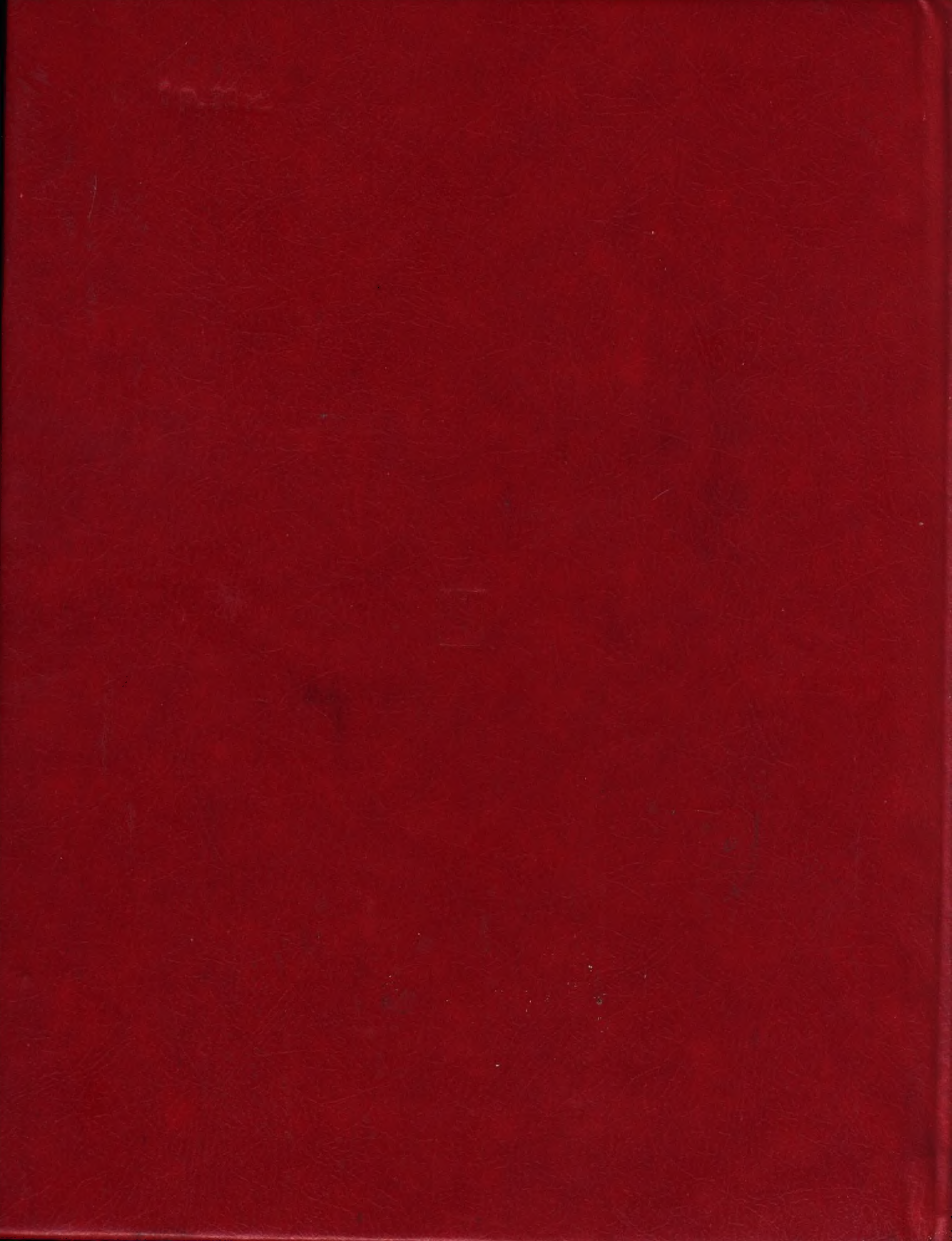
Типография изд-ва «Уральский рабочий». 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

ной
.—

)47

9.





НАТАН ЭЙДЕЛЬМАН ПЕРВЫЙ ДЕКАБРИСТ